

LE MESSAGER

# ВЕСТНИК

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО  
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

101

102

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

№ 101-102    TRIMESTRIEL    III-IV - 1971

# ВСЕРОССИЙСКОМУ ПАТРИАРХУ ПИМЕНУ

великопостное письмо.

СВЯТЕЙШИЙ ВЛАДЫКО!

Камнем гробовым давит голову и разламывает грудь еще не домершим православным русским людям — то, о чём это письмо. Все знают, и уже было крикнуто вслух, и опять все молчат обреченно. И на камень еще надо камешек приложить, чтобы дальше не мочь молчать. Меня таким камешком придавило, когда в рождественскую ночь я услышал Ваше послание.

Зацемило то место, где Вы сказали, наконец, о д е т я х — может быть, первый раз за полвека с такой высоты: чтобы наряду с любовью к Отчизне родители прививали бы своим детям любовь к Церкви (очевидно, и к вере самой?) и ту любовь укрепляли бы собственным добрым примером. Я услышал это — и поднялось передо мной моё раннее детство, проведенное во многих церковных службах, и то необычайное по свежести и чистоте изначальное впечатление, которого потом не могли истереть никакие жернова и никакие умственные теории.

Но — что это? Почему этот честный призыв обращен Вами только к русским эмигрантам? Почему

только тех детей Вы зовёте воспитывать в христинской вере, почему только дальнюю паству Вы остерегаете „распознавать клевету и ложь“ и укрепляться в правде и истине? А нам — распознавать? А наши м детям — прививать любовь к Церкви или не прививать? Да, повелел Христос идти разыскивать даже согую потерянню овцу, но всё же — когда девяносто девять на месте. А когда и девяносто девяти подручных нет — не о них ли должна быть забота первая?

Почему, придя в церковь крестить сына, я должен предъявить свой паспорт? Для каких канонических надобностей нуждается Московская Патриархия в регистрации крестящихся душ? Еще удивляться надо силе духа родителей, из глубины веков унаследованному неясному душевному сопротивлению, с которым они проходят доносительскую эту регистрацию, потом подвергаясь преследованию по работе или публичному высмеиванию от невежд. Но на том иссякает настойчивость, на крещены младенцев обычно кончается всё приобщение детей к Церкви, последующие пути воспитания в вере глухо закрыты для них, закрыт доступ к участию в церковной службе, иногда и к причастию, а то и к присутствию. Мы обкрадываем наших детей, лишая их неповторимого, чисто-ангельского восприятия богослужения, которого в зрелом возрасте уже не наверстать, и даже не узнать, что потеряно. Перешиблено право продолжать веру отцов, право родителей воспитывать детей в собственном миропонимании, — а вы, церковные иерархи, смирились с этим и способствуете этому, находя достоверный признак СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ в том. В том, что мы должны отдать детей беззащитными не в нейтральные руки, но в удел атеистической пропаганды, самой при-

митивной и недобросовестной. В том, что отрочеству, вырванному из христианства, — только бы не заразилось им! — для нравственного воспитания оставлено ущелье между блокнотом агитатора и уголовным кодексом.

Уже упущено полувекое прошлое, уже не говорю — вызволить настоящее, но БУДУЩЕЕ нашей страны как же спасти? — будущее, которое составитя из сегодняшних детей? В конце концов истинная и глубокая судьба нашей страны зависит от того, окончательно ли укрепится в народном понимании ПРАВОТА СИЛЫ или очистится от затмения и снова засияет СИЛА ПРАВОТЫ? сумеем ли мы восстановить в себе хоть некоторые христианские черты или дотеряем их все до конца и отдадимся расчетам самосохранения и выгоды?

Изучение русской истории последних веков убеждает, что вся она потекла бы несравненно человечнее и взаимосогласнее, если бы Церковь не отреклась от своей самостоятельности, и народ слушал бы голос ее, сравнимо бы с тем, как например в Польше. Увы, у нас давно не так. Мы теряли и утеряли светлую этическую христианскую атмосферу, в которой тысячелетие устоявались наши нравы, уклад жизни, мировоззрение, фольклор, даже само название людей — КРЕСТЬЯНАМИ. Мы теряем последние черточки и признаки христианского народа — и неужели это может не быть ГЛАВНОЙ заботой русского Патриарха? По любому злу в дальней Азии или Африке русская Церковь имеет свое взволнованное мнение, лишь по внутренним бедам — никогда никакого. Почему так традиционно-безмятежны послания, нисходящие к нам с церковных вершин? Почему так благодущны все цер-

ковные документы, будто они издаются среди христианнейшего народа? От одного безмятежного послания к другому, в один ненастный год не отпадает ли нужда писать их вовсе: их будет не к кому обратиться, не останется паствы, кроме патриаршей канцелярии?

Вот уже седьмой год пошел, как два честнейших священника, Якунин и Эшлиман, своим жертвенным примером подтверждая, что не угас чистый пламень христианской веры на нашей родине, написали известное письмо Вашему предшественнику. Они обильно и доказательно представили ему то добровольное внутреннее порабощение — до самоистребления, до которого доведена русская Церковь: они просили указать им, если что неправда в их письме. Но каждое слово их было ПРАВДА, никто из иерархов не взялся их опровергнуть. И как же ответили им? Самым простым и грубым: наказали, за правду — отвергли от богослужения. И ВЫ — не исправили этого по сегодня. И страшное письмо двенадцати вятичей так же осталось без ответа, и только давили их. И по сегодня всё так же сослан в монастырское заточение единственный бесстрашный архиепископ — Ермоген Калужский, не допустивший закрывать свои церкви, сжигать иконы и книги запоздало-остервенелому атеизму, так много успевшему перед 1964-м годом в остальных епархиях.

Седьмой год, как сказано в полную громкость — и что же изменилось? На каждый действующий храм — двадцать снесенных и разрушенных безвозвратно, да двадцать в запустении и осквернении, — есть ли зрелище более надрывное, чем эти скелеты, достояние птиц и кладовщиков? Сколько населенных мест по стране, где нет храма ближе ста и даже двух-

сот километров? И совсем без церквей остался наш Север — издавнее хранилище русского духа, и, предвидимо, самое верное русское будущее. Всякое же попечение ВОССТАНОВИТЬ хоть самый малый храм, по однобоким законам так называемого ОТДЕЛЕНИЯ, перегорожено для делателей, для жертвователей, для заещателей. О колокольном звоне мы уже и спрашивать не смеем — а почему лишена Россия своего древнего украшения, своего лучшего голоса? Да храмы ли? — даже Евангелие у нас нигде не достать, даже Евангелие везут к нам из-за границы, как наши проповедники везли когда-то на Индигирку.

Седьмой год — и хоть что-нибудь отстоено Церковью? Всё церковное управление, поставление пастырей и епископов (и даже — бесчинствующих, чтоб удобнее высмеять и разрушить Церковь) всё так же секретно ведется из СОВЕТА ПО ДЕЛАМ. Церковь, диктаторски руководимая атеистами, — зрелище, невиданное за Два Тысячелетия! Их контроль отдано и всё церковное хозяйство и использование церковных средств — тех медяков, опускаемых набожными пальцами. И благоленными жестами жертвуются по 5 миллионов рублей в посторонние фонды — а нищих гонят в шею с паперти, а прохудившуюся крышу в бедном приходе не на что починить. Священники бесправны в своих приходах, лишь процесс богослужения еще пока доверяется им, и то не выходя из храма, а за порог к больному или на кладбище, надо спрашивать постановления горсовета.

Какими доводами можно убедить себя, что планомерное РАЗРУШЕНИЕ духа и тела Церкви под руководством атеистов — есть наилучшее СОХРАНЕНИЕ ее? Сохранение — для кого? Ведь уже не

для Христа. Сохранение — чем? ЛОЖЬЮ? Но после лжи — какими руками совершать евхаристию?

Святейший Владыко! Не пренебрегите вовсе моим недостойным возгласом. Может быть не всякие семь лет Вашего слуха достигнет и такой. Не дайте нам предположить, не заставьте думать, что для архипастырей русской Церкви земная власть выше небесной, земная ответственность — страшнее ответственности перед Богом.

Ни перед людьми, ни тем более на молитве не скажем, что внешние пути сильнее нашего духа. Не легче было и при зарождении христианства, однако оно выстояло и расцвело. И указало нам путь: ЖЕРТВУ. Лишенный всяких материальных сил — в ЖЕРТВЕ всегда одерживает победу. И такое же мученичество, достойное первых веков, приняли многие наши священники и единоверцы на нашей живой памяти. Но тогда — бросали ль в а м, сегодня же можно потерять только благополучие.

В эти дни, коленно опускаясь перед Крестом, вынесенным на середину храма, спросите Господа: какова же иная цель Вашего служения в народе, почти утерявшем и дух христианства и христианский облик?

*Александр Солженицын*

Великий пост,  
Крестопоклонная неделя,  
1972

№ 101-102

III-IV-1971

# LE MESSENGER

*périodique de l'Action Chrétienne des Etudiants Russes*

Редакционная коллегия:

Франция: К. А. Ельчанинов, В. А. Водов, проф. прот. Алексей Князев,  
И. В. Морозов.

Америка: Архиеп. Сильвестр Монреальский и всея Канады, проф. прот.  
Александр Шмеман, проф. прот. Иоанн Мейендорф, М. Гизетти, О. Раевская.

Ответственный редактор: Н. А. Струве.

91, rue Olivier-de-Serres, Paris-15°. Tél. : 250-53-66

## ВЕСТНИК Р.С.Х.Д.

### ПОВЫШЕНИЕ ПОЛИСНОЙ ПЛАТЫ

В виду  
вынуждены

Во Фр

с

В Ам

во

Abonnement

Prix du nu

Во Франции

C.C.P. Paris

Adresse de la

91, rue Olivier-de-Serres, Paris-15°. Tél. : 250-53-66

# LE MESSENGER

# ВЕСТНИК

## РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

К СТОЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ

### О. СЕРГИЯ БУЛГАКОВА

(1871 — 1971)

Статьи, свидетельства, материалы  
к биографии, из неизданного.

- Неизданные стихи А. Ахматовой.
- Венок сонетов А. Радыгина
- Из романа «Чевенгур» А. Платонова.
- Воспоминания о. П. Флоренского.
- Блок после Двенадцати В. Вейдле.

Судьбы России - Библиография - Хроника

БИБЛИОТЕКА-ФОНД

«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬ»

МОСКВА, НИЖНЯЯ РАДИЦЕВСКАЯ 2

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК 400430

№ 101-102

TRIMESTRIEL

III-IV - 1971

---

---

*Приезжайте, приглашайте друзей*

на  
*Общий Съезд Р. С. Х. Д.*

20 - 21 - 22 мая 1972 г.

## КРЕСТ - СИЛА БОЖЬЯ

*Архим. Симеон* : Крест в личной жизни каждого

*Оливье Клеман* : Крест и современный мир

*Прот. А. Шмеман* : Крест в литургическом опыте Церкви

*Никита Струве* : Крест в западной и восточной святости

Библейские кружки. Обсуждения.

LA ROCHE-DIEU, BIÈVRES (в 7 км от Парижа)

---

---

© Copyright Le Messenger. 1971 Paris.

ОТ РЕДАКЦИИ

### К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОТ. СЕРГИЯ БУЛГАКОВА

(1871-1971)

В номере отмечается столетие со дня рождения великого русского мыслителя и богослова, отца Сергия Булгакова. Называя его великим мы не вдаемся в преувеличение. Необычайна была его личность, стремительная, дерзновенная, одухотворенная. Показательна была его судьба, предвосхитившая, быть может, судьбу всего русского народа, — от церкви к безбожию, и от безбожия к церкви. Величествен его богословский подвиг. О. Сергий Булгаков не только построил стройную систему, он избавил раз и навсегда русское, вернее, православное богословие от школьности, рутины, от робости и духа боязни, вернув ему ту царственную свободу, которая была присуща патристическим векам. Больше того: он укоренил богословие в опыте церковной жизни, сохраняя при этом свободу богословского мнения.

Не случайно, творчество Булгакова вызвало столь ожесточенное противление. Осуждения и прещения, в духе римской инквизиции, посыпались немедленно до всякого широкого, свободного, всецерковного обсуждения, до испытания Духом Святым. Прежде всего испугались: как можно так дерзать, обновлять богословие, как можно утверждать, что ряд вопросов еще не разработаны по существу.

Нападки на о. Сергия Булгакова имели и вне-богословские причины. Ведь в свое время никто не думал запрещать или анафематствовать систему М. Тареева, куда более спорную. Нападая на Булгакова, Москва и «карловцы» били прежде по русскому Западно-европейскому Экзархату, чей дух свободы, над национализмом, над политикой, был им совершенно чужд.

Просвещенный митрополит Евлогий позволил о. Сергию Булгакову закончить свой богословский подвиг, но разобщенность

эмиграции, её разделенность на враждующие фракции, мало благоприятствовали спокойному и свободному обсуждению системы. Для этого требовалось и время. Вдохновив очень многих на богословский труд в разных областях, о. Сергей Булгаков, после смерти, был сравнительно быстро забыт.

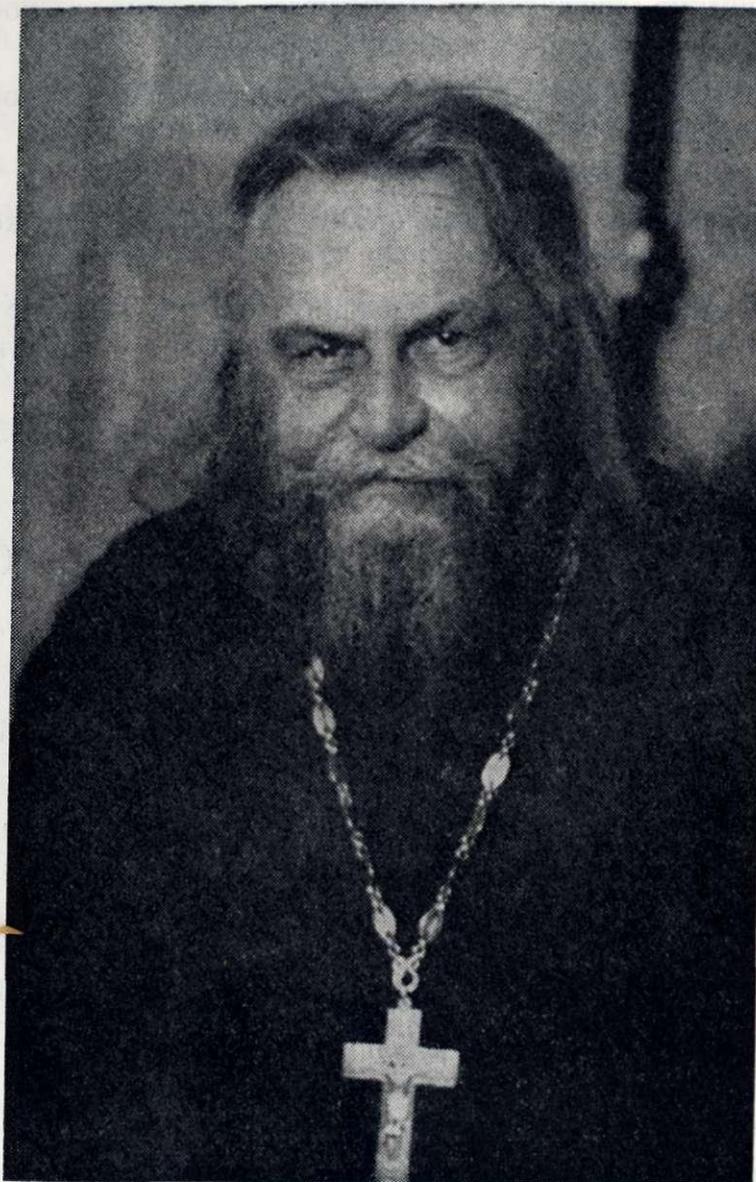
Испытание богословия о. Сергея Булгакова возобновляется, вернее начинается в наши дни, когда книги его постепенно проникают на родину, постепенно входят в церковное сознание. Это испытание будет длительным (по вине обстоятельств) и сложным (сообразно богатству Булгаковской мысли). Трудно предрешить в какой мере Церковь признает его богословие своим, что в нем удержит, и что отбросит.

Но уже сейчас можно сказать, что, как современный Ориген (выражение о. Луи Буйе), о. Сергей Булгаков кое-что изменит в строении и составе православного богословия. Цельность видения, одухотворенность, укорененность в Таинстве и Слове Божиим, огненность и дерзание, на каждом шагу возносящие научно обоснованную мысль о. Сергея до богосозерцания, не пройдут без следа. После о. Сергея Булгакова, к Макарию уже не вернешься. После о. Сергея, богословие больше не может быть прикладным занятием, пользоваться суконным языком, довольствоваться малым. О. Сергей вознес богословие на свойственную ему горную высоту. В одном этом уже — его великая заслуга.

Никита Струве

## ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА ЖИЗНИ

О. СЕРГИЯ БУЛГАКОВА \*)



Отец Сергей Булгаков

(\*) Эта канва была составлена Л. А. Зандером и напечатана им в небольшой брошюре памяти о. Сергея Булгакова изданной в 1945 г.

- 1871 16 июня рождение. Отец его — Протоиерей Николай Булгаков; мать — Александра Косминишна, рожденная Азбукина.
- 1881 Поступление в 1-й класс Ливенского Духовного Училища.
- 1884 Окончание Ливенского Духовного Училища и поступление в Орловскую Духовную Семинарию.
- 1888 Оставление Орловской Духовной Семинарии и поступление в 8-й класс Елецкой гимназии.
- 1889 Окончание Елецкой гимназии.
- 1890 Поступление на юридический факультет Московского Университета.
- 1894 Окончание Московского Университета и оставление на два года по кафедре политической экономии и статистике для приготовления к профессорскому званию.
- 1895 Начало педагогической деятельности (преподавателем политической экономии в Московском Техническом Училище).
- 1896 «О рынках при капиталистическом производстве» (1).
- 1897 Сдача магистерского экзамена.
- 1898 14 января вступление в брак с Еленой Ивановной Токмаковой. Отправление в научную командировку (в Берлин, Париж и Лондон). 17 ноября рождение дочери Марии.
- 1900 Возвращение в Москву из заграничной командировки.
- 1901 Защита магистерской диссертации. «Капитализм и земледелие» (2 тома). Переезд в Киев. Избрание ординарным профессором Киевского Политехникума и приват-доцентом Киевского Университета. 12 марта рождение сына Феодора. 21 ноября публичная лекция «Иван Карамазов, как философский тип» (2).
- 1903 «От марксизма к идеализму».
- 1905 25 декабря рождение сына Ивашечки.
- 1906 Переезд в Москву. Избрание профессором политической экономии Московского Коммерческого Института и при-

(1) Здесь приведены годы издания только важнейших книг о Сергия. О статьях и менее важных трудах см. библиографию.

(2) Здесь не приведены даты бесчисленных лекций и других выступлений о Сергия. Данная лекция приведена как имеющая особое значение в его духовной биографии.

- ват-доцентом Московского Университета. Избрание во 2-ю Государственную Думу (от Орловской губернии).
- 1909 27 августа смерть Ивашечки.
- 1910 Добровольное оставление Университета в связи с историей, связанной с министром народного просвещения Л. А. Кассо.
- 1911 «Два града» (2 тома). 11 мая рождение сына Сергея.
- 1912 Защита докторской диссертации. «Философия хозяйства» ч. I.
- 1917 «Свет Невечерний». Избрание ординарным профессором политической экономии Московского Университета.
- 1918 Избрание членом Всероссийского Церковного Собора (от Высших учебных заведений г. Москвы). 11 июня (Духов День) рукоположение (в Даниловом монастыре епископом Феодором Волоколамским). Избрание членом Высшего Церковного Совета. «Тихие думы».
- 1919 Переезд в Крым. Профессура (политической экономии и богословия) в Симферопольском Университете. Работа над «Трагедией философии» и «Философией имени».
- 1921 Утеря профессуры в Симферопольском Университете по причине священства.
- 1923 1 января. Высылка из России. Константинополь. В апреле переезд в Прагу. Избрание профессором Церковного права (и богословия) Русского юридического факультета в Праге. В сентябре участие в I съезде Русского Студенческого Христианского Движения в Пшерове (3).
- 1924 В июле поездка в Париж на I съезд РСХД во Франции в Аржероне.
- 1925 Переезд в Париж. Назначение профессором Богословия и деканом Православного Богословского Института в Париже. В августе поездка в Сербию на III съезд РСХД в Хоповском монастыре. «Петр и Иоанн — два Первоапостола».
- 1927 В августе участие в I всемирном христианском съезде по вопросам «Веры и Церковного строя» в Лозанне. «Купина Неопалимая», «Друг Жениха».

(3) Начиная с 1923 г. о. Сергий участвует в многочисленных съездах Р.С.Х.Д., Англо-Русского содружества, Лиги православной культуры и т. п. Из них указаны только те, которые имели какое либо особое значение в жизни о. Сергия.

- 1928 В январе участие в 1 англо-русском религиозном съезде и начало Содружества имени Св. Мученика Албания и Преп. Сергия . «Главы о Троичности».
- 1929 Участие в съезде комитета продолжения Лозанской конференции в Малоя (Швейцария). «Лествица Иаковля».
- 1930 Участие в съезде комитета продолжения Лозанской конференции в Мюррен (Швейцария).
- 1931 «Икона и иконопочитание». «Агнец Божий».
- 1932 «Orthodoxie» (4). «О чудесах евангельских».
- 1936 В апреле участие в англо-русском богословском съезде в Мёрфильде (Англия). С 29 сент. по 6 ноября поездка в С.Ш.А. на конвенцию епископальной церкви и для чтения ряда лекций. «Утешитель».
- 1937 Июль, участие во II всемирном христианском съезде по вопросам «Жизни и труда» в Оксфорде. Август, участие во II всемирном христианском съезде по вопросам «Веры и церковного строя» в Эдинбурге. «The Wisdom of God». (5)
- 1938 Участие в общеправославном съезде богословов в Афинах.
- 1939 20 марта — первая операция рака горла. 4 апреля (страстной вторник) — вторая операция рака горла. Потеря голоса.
- 1943 14 июня присуждение степени доктора церковных наук honoris causa Православным Богословским Институтом.
- 1944 В ночь с 5 на 6 июня (Духов День) — кровоизлияние в мозг. 12 июля кончина. 15 июля отпевание в храме Богословского Института и погребение на русском кладбище Ste-Geneviève-des-Bois.
- 1945 «Невеста Агнца».

(4) В оригинале вышла в 1964 г.

(5) Русский текст ждет издателя.

## СТАТЬИ

Прот. Александр ШМЕМАН

### ТРИ ОБРАЗА

«Чужой среди своих, свой среди чужих...»

о. С. Булгаков, «Автобиогр. заметки»

#### 1.

Приступая к этим отрывочным «юбилейным» заметкам об о. Сергии Булгакове, я должен сразу же оговорить, что я никогда не был «софианцем» и не принадлежал, да по возрасту, пожалуй, и не мог бы принадлежать к кругу его близких учеников и последователей. Но мой выпуск Парижского Богословского института был последним, прослушавшим полный курс его лекций, на протяжении четырех лет я видел его почти каждый день — в церкви, в аудитории, иногда, очень редко — на его квартире, в «профессорском» домике Сергиевского Подворья. И, таким образом, я один из свидетелей тех последних, предсмертных его лет, когда лишенный голоса, с вырезанным горлом, читал он лекции уже каким-то почти неслышным клекотом и так очевидно для всех сгорал в светлом пламени конца, отрешенности, ожидания близкой смерти. Я помню его похороны светлым июльским днем, когда все собрались у его гроба — и друзья и поклонники и богословские противники и совершалось последнее шествие его вокруг храма и, затем, по ступенькам вниз, с горки преп. Сергия, на которой прожил он последние двадцать лет своей жизни.

И все же я вряд ли собрался бы, вряд ли решился бы писать о нем если бы не поразило меня в эти юбилейные дни то, что без всякого преувеличения можно назвать трагедией о. Сергия. Ведь вот, сто лет прошло со дня рождения и более двадцати лет со дня смерти того, кого, как бы ни относиться к его творчеству, нельзя не признать одним из самых замечательных людей последнего трагического полувека русской истории, а имя его окружено почти полным молчанием. Там, в России, оно под самоочевидным за-

претом. Здесь, за рубежом, на протяжении четверти века, отделяющей нас от его смерти, не появилось, за исключением книги его ближайшего ученика Л. А. Зандера, ни одной серьезной о нем работы, ни одного настоящего разбора его учения. Повидимому для одних он уже сброшенный со счетов истории, осужденный и разоблаченный «еретик», а другие, занятые своим, попросту забыли о нем и им он неинтересен и чужд. Когда то, защищаясь от обвинений, казавшихся ему поспешными, поверхностными, о. Сергей с горечью писал о «деле всей своей жизни» и утешал себя верой в будущее свободное и серьезное обсуждение своего богословского творчества. И вот, спрашиваешь себя, неужели этой его вере суждено оказаться тщетной и дело всей его жизни действительно не заслуживает ни внимания, ни обсуждения? Допустим даже, что его учение «еретично» и достойно осуждения. Но ведь и об еретиках писали и пишут, и ни один из них не был осужден без досконального и добросовестного разбора его учения. А, с другой стороны, те, кто, занятые своим, забыли о нем и снисходительно игнорируют его, неужели не сознают они, что не будь в свое время таких людей как о. Сергей, не было бы и их, как не было бы и того воздуха, которым они дышат? Неужели даже теперь, имея за спиной более чем полувековой опыт духогасительства, обскурантизма и фанатизма, мы все еще не понимаем, что хотя бы одной из причин этой страшной русской трагедии было то, что всегда у нас осуждений было больше чем обсуждений, разрывов и отрицаний больше чем стремления понять, «принципиальной» узости больше чем духовной щедрости и доверия? Пускай иным эта непримиримость, этот надрывный максимализм в утверждениях и отрицаниях, все эти «коль рубить так уж с плеча» кажутся чуть ли не главным качеством «русского духа». Что касается меня, я не могу не видеть в этом одного из источников того «большевизма», что все-таки не совсем уж случайно завладел Россией и который так легко из «красного» может превратиться, и часто превращается, в «белый». (1) Противостать этому долг каждого, кто понимает,

(1) см. напр. в «Русско-Америк. Церк. Вестнике», 1971, 7-8, письмо в редакцию Архиепископа Сильвестра о книге, в которой, в числе разных других клеветнических небылиц об о. Сергии, утверждается, якобы со слов «очевидца», что о. С. «имел самое туманное представление о преп. Серафиме Саровском». Эта, чисто большевистская по духу своему ложь распространяется человеком, очевидно не прочитавшим ни одной строчки о. С. Б. и идет из недр церковной группировки, претендующей на монополию в деле «спасения России от большевизма». И если бы это был единичный факт! Страшно становится при одной мысли о таком «спасении».

что подлинное спасение России не в сведении счетов, не в упрощенстве и фанатизме, а в трудном и медленном подвиге собирания всего того на нашем сложном и трагическом пути, «что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала» (Филип. 4,8), в возврате к тому высокому исканию, к тому алканию и жажде правды, одним из носителей которых так очевидно был о. Сергей, к тому начавшемуся, было, в России великому «обсуждению», что оборвано было тупым гонением духоненавистников. Отсюда, это мое малое свидетельство об о. Сергии, желание поведать то небольшое, что сохранила о нем моя память.

## 2.

В последнее время до нас все чаще доходят сведения о том, что интерес к о. Сергию (как и к другим представителям русского духовного ренессанса) растет у тех, удивительных и, повидимому, неистребимых «русских мальчиков», которые там, в России, в советском безвоздушии, взяли на себя героический подвиг восстановления русской духовной традиции, возвращения в подлинную Россию. К ним обращены и им посвящены эти строки. Ибо я тоже был «русским мальчиком», только эмигрантским. И это значит тоже, хотя и по другому — **чужим** окружавшей меня действительности, тоже обреченным искать **своего**: — того, чем можно было бы подлинно жить, чему можно было бы по настоящему отдать себя, в чем можно было-бы найти себя. И вот я помню, как, шестнадцати или семнадцати лет, я прочел почти случайно две, хотя и совершенно разные, но в равной мере «пленившие» меня книги — «Купину неопалимую» о. Сергия Булгакова и «Пути Русского Богословия» о. Георгия Флоровского. Я, наверное, очень мало что понял в них тогда, как не знал и того, что написаны они «идейными врагами». Но я твердо знаю, что именно благодаря этим двум книгам, именно в ту памятную весну, нашел я свое и себя и стал на тот путь, который, несмотря на все трудности, искушения, испытания и падения, составляет единственный смысл моей жизни. Что дал мне тогда о. Сергей? Дал тот огонь, от которого только и может возгореться другой огонь. Дал почувствовать, что только тут, в этом прикосновении к Божественному свету, к его исканию и созерцанию — единственное подлинное назначение человека, та «почесть горшего звания», к которой он призван и предназначен. Окрылил своим горением и полетом, своей верой и радостью. Приобщил меня к чему то самому лучшему и чистому в

духовной сущности России. И я уверен, что то же самое дает он и тем, кто открывает его сейчас, открывает там, где отрицается и преследуется сама память о духе.

Я не собираюсь писать богословского разбора того или иного учения о. Сергия, ибо не считаю себя для этого компетентным. Но, кроме богослова и мыслителя, был еще человек, которого я помню и которого запомнил гораздо лучше, чем его лекции. От них почти ничего не осталось в памяти и, может быть, как раз потому, что я смотрел на него гораздо больше, чем слушал его. Мне уже тогда казалось, что сам он, его личность, его духовный облик интереснее и важнее, чем то его учение, приведению которого в стройную и «научную» систему он отдал всю свою жизнь. Я уже тогда смутно чувствовал, что больше нежели эта система и это учение, останется то, что около них, за ними, что просвечивает сквозь них и иногда сияет небесным светом и обжигает огнем, но чему «система» как то почти мешает. Вот Кант или Гегель сказали, мне кажется, все то, что они хотели сказать и именно так, как хотели и ничего не прибавят к этому свидетельства людей, знавших их или подробности их биографии. А в отношении о. Сергия, я уверен, это не так, хотя правоты этого своего ощущения я, конечно, не мог бы доказать «научно». О нем писали и говорили, что он «еретик». Но смотря на него, следя за ним или, по слову В. В. Вейдле о нем — «любуюсь» им, я всем своим существом чувствовал: нет, этот человек не еретик, а, напротив, весь светится самым важным, самым подлинным, что заключено в Православии. А, вместе с тем, читая его, пытаюсь следить в толщенных его фолиантах, за сложной диалектикой «Софии Божественной» и «Софии тварной», «ипостаси» и «ипостасности», я так же сильно чувствовал: — не то, не так, не о том, хотя, конечно, не мог и не дерзнул бы выразить этого чувства с той «легкостью необыкновенной», что присуща расплодившимся в наше время «ересемахам». И я знаю, что эту двойственность ощущал и переживал не я один, что для многих она составляла своего рода загадку о. Сергия. Я верю, что настанет время, когда этой загадке, когда месту о. Сергия в истории русского богословия и, шире, русской культуры, будут посвящены полновесные труды. В ожидании этого времени, остается только приложить усилия к тому, чтобы остались от о. Сергия не только его труды, но хоть немного и от опыта его личности, от незабываемой для каждого, кто испытал ее, встречи с ним на своем жизненном пути.

### 3.

Когда я думаю об о. Сергии, мне на память приходят всегда, и прежде всего, три его образа или облика. Видел я его, как я уже сказал, часто и на протяжении многих лет, а вот, всякий раз, что вспоминаю его, именно эти три облика с необычайной живостью встают перед моим мысленным взором.

Первое воспоминание относится ко времени еще до моего поступления в Парижский Богословский Институт. Почти еще мальчиком, учеником французского лицея, я часто ездил на Сергиевское Подворье. Это был период увлечения монашескими службами, строгими напевами, всем тем «прекрасно-неотмирным», что так легко пленяет юношеское воображение и что цвело в те годы на Подворье, благодаря действительно великому «уставщику», покойному М. М. Осоргину. И помню, как каким-то осенним, дождливым вечером я бегу к вечерне со станции метро, по шумной и весьма пролетарской Крымской улице. Освещенные кафе, лавочки, возвращающаяся с работы беднота, шум, крики торговцев, электрические огни, расплывающиеся по мокрым тротуарам. И в этой толпе и суете внезапно вижу медленно идущего о. Сергия, погруженного в глубокое раздумье, явно не видящего ничего кругом себя. Черная священническая шляпа, скромная ряса, крест, длинные седые волосы, распущенные по плечам... Почему всегда возвращается это воспоминание? Я не подошел к о. Сергию, не поздоровался, не заговорил с ним. Даже и гораздо позднее мне всегда казалось невозможным, почти непристойным, побеспокоить его, обратить его внимание на меня, свести с тех высот, на которых он, так очевидно для меня, всегда пребывал. Тогда же, в тот вечер, я и знаком то с ним не был и мало что знал о нем. Знал, что он что то очень знаменитое, замечательное, недоступное. А увидел просто русского священника, хочется сказать — сельского батюшку. И думается, подсознательно поразил меня именно этот контраст между тем, что я смутно знал о нем: большой мыслитель, бывший марксист, средоточие каких то напряженных обвинений и споров — и тем что увидел. Ибо в том то и дело, что, чем больше узнавал я о. Сергия, тем яснее понимал, что облик этот был совсем не случайным, а, напротив, органическим выражением глубочайшей его сущности. О. Сергия невозможно себе вообразить ни в «синодальном» великолепии — скажем, в митре или с каким нибудь там «крестом с украшениями», ни в пластически-сакральном облике византийского извода, ни — и это, может быть, самое важное, облеченным в нечто **свое**, особенное, индивидуальное, подчеркивающее и выра-

жающее его особенность, исключительность и т. д. Невозможно не в силу какого нибудь особенного смирения о. Сергия, равнодушия к внешнему, к наградам и т. д. Внешности о. Сергей придавал несомненно большое значение, и столь же несомненно знал свое место. Нет это действительно и органически был его образ, он сам, и это в эпоху распада стиля, когда многие в Церкви, не находя, не имея органического стиля, начинали впадать в «стилизацию».

Все это я говорю, да и запомнил наверно потому, что чаще всего в связи с именем о. Сергия произносилось слово «модернист». Между тем, я абсолютно убежден, что самой основной, самой глубокой духовной и психологической чертой о. Сергия был как раз предельный «анти-модернизм», то, что он сам с явным удовольствием называл своей «почвенностью». Враги о. Сергия вечно изобличали его в «интеллигентщине», ставили под подозрение его возвращение в Церковь, противоплавали ему другую, будто бы недоступную ему — интеллигенту, бывшему марксисту и профессору политической экономии — «подлинную церковность» и «истинное православие». Примечательно, однако, что эта травля о. Сергия — в отличие от серьезной богословской критики — исходила преимущественно от тех, кто сам недавно обрел эту пресловутую «почву» и кто, поэтому, испытывал патологическую потребность и самого себя и других безостановочно уверять в своей «истинной церковности» и «подлинном православии», отождествляя их, главным образом, с обличением всевозможных «уклонов» и «ересей». Все это, впрочем, неудивительно и банально. «Кающийся интеллигент» легко становится черносотенцем и мракобесом. Раненый революцией и вырванный из привычной жизни человек ищет в Церкви, прежде всего, «быта» и «почвы», кажущихся ему единственной защитой от хаоса и распада. Между тем ничего от «кающегося интеллигента» как раз и не было в о. Сергии. Сын, внук, правнук, пра-правнук священников, выросший и духовно сложившийся в церковном быту, о. Сергей был чистейшим аристократом левитской крови. Свою почву он носил в себе, носил и тогда, когда на время ушел в «страну далече», не изменив, впрочем и тогда своему горнему устремлению и первородству духовного в себе. Ему не нужно было искать и находить ее. Вернувшись в Церковь, он не в каком нибудь переносном, а в буквальном смысле, вернулся домой и став священником, вступил в свое, исконное, врожденное. Отсюда, конечно, и та его «сыновья свобода» в Церкви, которую признал в нем и его богословский противник, о. Георгий Флоровский и о которой так часто понятия не имеют новоиспеченные ревнители «истинного православия».

Почвой же о. Сергия было, конечно, русское православие. Само собой разумеется, что словосочетание это не догматического порядка, ибо догматически, вероучительно русское православие ничем не отличается от породившего и вскормившего его православия византийского, вселенского. Вряд ли можно отрицать, однако, что у русского народа (как, впрочем, и у других православных народов) было и есть свое «переживание» этого общего православия, свое особое восприятие его и свои «ударения» в нем. Я отнюдь не разделяю тех крайностей, до которых дошли в своих определениях «русского христианства», хотя и каждый по своему, А. В. Карташев и Г. П. Федотов. Не подлежит, однако, сомнению, что существует внутри вселенского православия особый русский тип его, исторически сложившийся, хотя и не легко определяемый. Это почти неуловимое, от слов и определений тускнеющее и увядающее, сочетание всего того, что Федотов называл «кенотизмом» («в рабском виде Царь небесный...») с радостным, подлинно пасхальным «космизмом», с какой то почти нежностью к творению Божьему. То, что каждый русский интуитивно чувствует и любит в белом, радостном образе «убогого старца Серафима», что совершеннее всего воплотилось в русской иконописи и храмостроительстве, в русском церковном пении, в русской «рецепции» византийского богослужения; то, наконец, что вне всякого сомнения составляет последнюю и таинственную глубину русской литературы... Тут, повторяю, не следует ничего преувеличивать и заострять, но не следует тоже и преуменьшать.

О. Сергей не был, конечно, узким националистом. После Революции, как он сам писал, ему «нестерпимым сделалось всякое безответственное славянофильствование». И достаточно прочитав восторженные, почти экзальтированные страницы, посвященные им «храму всех храмов» Православия — св. Софии Константинопольской, чтобы почувствовать подлинно-вселенское вдохновение его веры. Открыт он был ко всему подлинному, всему истинному и на Западе. И все же ясно, что из всех исторических воплощений Христианства кровно и органически любил он воплощение русское. Я останавливаюсь на этом потому, что тут, мне кажется, можно и нужно искать хотя бы один из ключей к его творчеству, один из тайных его «двигателей». Оно вырастает на глубине из стремления этот русский опыт церкви и церковности, опыт, полученный еще в целостном раю детства и с такой нежностью описанный им в его «Автобиографических заметках» — изложить, объяснить, оправдать. И тем самым, преодолеть и засыпать ту пропасть, что отде-

лила Церковь от русского сознания, отлучила от своей собственной глубины, от своих природных корней, русскую интеллигенцию. Это отлучение о. Сергей познал на собственном опыте. И этот опыт ухода и возвращения в потерянный рай, но возвращение уже во всей полноте знания — куда и к чему он вернулся, и составляет первооснову его творчества. В истоках своих оно — апологетическое. Оно направлено не только во внутрь — к церкви, но и во вне — к миру, тоскующему по целостной вере и потому служащему «богам чуждым», но ищущему того последнего всеединства, последней целостности, которую созерцает о. Сергей именно в русском православии, как — одновременно — и «данность» его, но и «заданность»... Вот откуда, мне кажется, сочетание в его образе некоего «почвенного» русского священника с безостановочным полетом мысли, с неутолимым желанием поведать о том, что — какую глубину, какую красоту, какую всеобъемлющую истину — находит блудный сын, вернувшийся в отчий дом.

#### 4.

Второе воспоминание, навсегда врезавшееся в память и снова, думается мне, не случайно. Всенощная на Сергиевском Подворье под Вербное Воскресенье. Длинная, торжественная архиерейская служба со множеством служащих, с пением на два хора, один лучше другого, с выпеванием стихир «с канонархом», так что действительно «доходит» каждое слово изумительных песнопений этого праздника. Уже много часов длится это бдение, уже достигло оно того момента, знакомого церковным людям, когда перейдена черта усталости, исчезло ощущение времени и можно еще и еще стоять так часами, не замечая их. Вот начинается пение хвалитных псалмов, этого завершительного, торжественного аккорда в каждой праздничной утрени. Вот после «стихир на хвалитех» открываются царские врата и два лика, сойдясь посредине храма, начинают, медленно и проникновенно, последнее — «прежде шести дней Пасхи прииде Иисус во Вифанию и приступиша к Нему ученицы Его, глаголюще Ему — Господи, где хочещи уготоваем ти ясти пасху; Он же посла их, идите в преднюю весь...» И вот навсегда, на всю жизнь запомнилось мне лицо, лучше сказать — лик о. Сергия, на которого, стоя близко от него, я должно быть случайно взглянул в этот момент. Никогда не забуду его, светящихся каким то тихим восторгом глаз и слез его и всего этого устремления вперед и ввысь, точно, действительно, в ту «преднюю весь», где уготовляет Христос последнюю Пасху с учениками своими.

Почему так хорошо запомнил я эту минуту? Потому, думается, что воспоминание о ней невольно возвращалось ко мне всякий раз, что читал я и слушал обвинения о. Сергия в «пантеизме» и «гностицизме», в стирании грани между Богом и тварью, в обожевлении мира и т. д. Я не знаю, насколько все это можно объективно вывести из текстов о. Сергия, ибо, повторяю, настоящий, серьезный разбор его писаний еще не начинался, сам же он с негодованием эти обвинения отвергал. Но я знаю, что воспоминание это возвращалось потому что обвинения эти так очевидно противоречили тому что, по всей вероятности, поразило и всегда поражало меня больше всего в о. Сергии: его «эсхатологизму», его всегдашней, радостной, светлой обращенности к концу. Из всех людей, которых мне довелось встретить, только о. Сергей был «эсхатологичен» в прямом, простом, первохристианском смысле этого слова, означавшем не только учение о конце, но и ожидание конца. Конечно, на словах мы все исповедуем веру во второе пришествие Господа, в конец мира, мы все ежедневно повторяем: «да придет царствие Твое». Но сколько христиан действительно ждет Господа и живет этим ожиданием? Сколько христиан не просто, скажем, «примирились» со смертью, а претворили ее в светлое таинство встречи с Господом, в путь «истее причащаются Ему в невечернем дни Царствия»? Есть конечно, во всякую эпоху, а в нашу особенно, всевозможные «апокалиптики», возвещающие светопреставление, одержимые всевозможными страхами, угадывающие «времена и сроки», о которых, согласно Писанию, не знают «ни ангелы, ни Сын». Но не о них речь, ибо ничего общего не имеет эта апокалиптическая и мрачная паника со светлой верой первохристианства. О ней мы читали в книгах о ранней Церкви, но как мало ее в нашей современной церковности. В богословских учебниках эсхатология давно уже свелась к учению о «мздовоздании», в благочестии к домыслам о «загробной участи усопших». А о. Сергей действительно жил ожиданием Господа, был не только сознательно, но именно светло и радостно обращен к смерти и для него все в этой жизни уже светилось светом грядущего Царства. И Вербное воскресенье он так переживал именно потому, что для него (как и для Церкви) оно было праздником эсхатологическим, вспышкой в этом мире, «уверением» на земле, вечного Царства Божия... «Эта царственная слава — пишет он — быстро прекратилась, подобно тому как скоро погасло и Фаворское сияние, и за ней начинается неделя страстей Христовых. Вход Господа в Иерусалим явился лишь ознаменовательным предварением будущих свершений, лежащих за страданиями и воскресением. Однако, не

совершилась бы вся полнота Богоявления, нам во Христе бывшего, если бы на земле не сверкнули лучи славы Его в преображении, и не показано было бы явление Царства Его в Царском Его Входе. Последний явился пророчеством о грядущем...» (Агнец Божий, стр. 444).

Я не знаю, совместимо ли такое эсхатологическое устремление с «пантеизмом». Но всем существом чувствую, что невозможно оно без личной, всеобъемлющей любви ко Христу. Ибо только любовь ждет и живет ожиданием. Только любовь побеждает страх смерти. Только любовь исполняет веру, как «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11,1). И именно эта любовь ко Христу струилась из образа о. Сергия и она, конечно, поразила меня за той Вербной всенощной. Не случайно каждая из больших книг его последней трилогии заканчивается первохристианским призывом: «ей гряди, Господи Иисусе». Не поняв этого, не ощутив этой пронизанности эсхатологическим ожиданием всего творчества о. Сергия, невозможно, я думаю, ни правильно понять, ни правильно оценить его богословской мысли. Прибавлю к этому, что в возрождении эсхатологии, не как отдельной «темы», а как измерения и вдохновения присущих христианскому богословию в целом, всем его «темам», я вижу одну из главных заслуг русской религиозной мысли. Вдохновение это, как я уже сказал, почти совсем выветрилось из православного богословия в эпоху его западного, схоластического пленения. Это не значит, что все в русском «эсхатологизме» одинаково приемлемо, что все в нем свободно от преувеличений, односторонности, даже двусмыслицы. Однако в самом возврате к чему то исконному в христианстве, без чего оно становится пресным и неглубоким, нельзя, мне кажется, не видеть явления огромной важности для Церкви.

## 5.

Третье воспоминание об о. Сергии, третий его образ, относится уже не к одному только моменту, не к одной запомнившейся встрече. Это воспоминание об о. Сергии у престола, служащим Литургию. В те последние годы из-за болезни, из-за отсутствия голоса, служил он только ранние литургии. Служил, из-за аппарата, заменившего горло, в очень легких, белых облачениях. Что мне запомнилось здесь? Скажу сразу — не «красота» его служения, ибо, если под красотой разуметь ритмичность и плавность движений, нарочитую торжественность, «умение», то служил о. Сер-

гий как раз, пожалуй, «некрасиво». Кадить как то так никогда и не научился. И было во всех его движениях что то угловатое и порывистое, что то именно не плавное и не ритмичное. Но, говоря об его служении, вспоминая его, невозможно обойтись без неуклюжего и тяжеловесного церковно-славянского выражения: *служи, о. Сергий, действительно литургисал*. Что то было в его служении, в самой его угловатости и порывистости, первобытное и стихийное, что то от древнего жреца или ветхозаветного первосвященника. Он не просто совершал традиционный во всех своих мелочах «отстоявшийся» обряд. Он до конца, до предела растворялся в нем и впечатление было такое, что Литургия служится в первый раз, падает с неба и возносится от земли впервые. Хлеб и чаша на престоле, огонь свечей, кадильный дым, эти руки воздвигнутые к небу: все это было не просто «службой». Тут что то совершалось со всем мирозданием, что то предвечное, космическое — «страшное и славное» — в славянском значении этих богослужебных слов. И, мне кажется, не случайно писания о. Сергия так часто уснащены и как бы утяжелены литургическими славянизмами, сами так часто начинают звучать как богослужебная хвала. Это не стилизация. Ибо богословие о. Сергия, на последней своей глубине, именно и прежде всего «литургическое» — раскрытие опыта, данного в богослужении, передача той таинственной «славы», что пронизывает его, того «таинства», в котором оно укоренено и «эпифанией» которого оно является. Явление Бога, но потому и мира в его Божественной первожданности, Божественных корней творения, предназначенного к тому, чтобы Бог наполнил его и стал «всяческим во всех». Мне думается, хотя и тут что могу я «доказать научно»? — что именно реальность, несомненность этого литургического опыта, первичного в жизни о. Сергия, как бы «подтолкнула» его к исканию новых слов и определения и что тут, а не в книжных или идейных влияниях, настоящий источник «софианства». Как бы ни «строил» потом это понятие о. Сергий, ни определял его богословски, ни возводил к «Софии», первичен и подлинен здесь опыт — сугубо православный! — богослужения, литургии как «неба на земле», как откровения «софийности»: преображенной «доброты», красоты творения. И потому и лучшие страницы его не те, где он пытается «определить» свою в сущности неопределимую, «безыпостасную» Софию, а те, что отражают свет и радость его богослужебного опыта и видения.

Из этого опыта и видения, которыми он действительно, целостно и безраздельно жил, о. Сергей задумал построить законченную и всеобъемлющую богословскую систему. И вот, пусть простит мне он, если я, столь многим ему обязанный, действительно недостойный развязать ремень у его обуви, по совести все же скажу, что в этом его желании «системы» я вижу как бы некое его падение. Мне кажется, что тут о. Сергей поддался своего рода «искушению». Читая его произведения, в особенности поздние, наиболее систематические, мне часто хотелось ему мысленно сказать приблизительно то, что, в чеховской «Дуэли» говорит добряк врач Самойленко самоуверенному идеалисту-систематику фон Корену: «это вас, дорогой о. Сергей, немцы испортили». В эту «немецкую», западную «систематичность» как главное условие «научности», русская интеллигенция уверовала зато совсем по-русски — с безудержным, восторженным максимализмом, сделала из нее почти какого то идола. Между тем понятие «целостности» с одной стороны, систематичности с другой, вряд ли синонимы. Богословие Отцов Церкви, например, целостно, «кафолично», и в этом его вечная и непреходящая ценность, но вряд ли можно вывести из него гладкую и окончательную «систему». Как будто напротив: чем «целостнее» опыт, из которого рождается мысль, чем глубже видение, тем меньше поддаются они «систематизации», тем очевиднее происходит в ней «редукция»: упрощение, огрубление и даже извращение опыта. Может быть поэтому не породил православный Восток никаких догматических «систем», подобных «сумме» Фомы Аквината и не канонизировал, как западные вероисповедания, особой категории «символических книг». Но в о. Сергии сочетались, и до конца не сливались, как бы два человека: один — «опытный», тайнозритель Божественной славы и радости, раскрывающихся в Церкви, и другой — «ученый», профессор — стремившийся это тайнозрение не только поведать, и не только объяснить, но и т. ск. «без остатка» изложить в философски-богословской системе, с языка «доксологического» перевести на язык дискурсивный. Отсюда и своего рода «стилистическая» неудача о. Сергия: эти два языка у него не сливаются и не претворяются в единый язык, в некое органическое свидетельство. Убеждает и покоряет опыт, светящийся в его писаниях, но как часто не убеждают — а вызывают сомнения и даже возражения, слова и определения. И тут, мне кажется, и лежит путь к разгадке «загадки» о. Сергия, его жизненной и творческой трагедии.

Трагедия эта, в конечном итоге, в том, что система его (именно «система», а не бесконечное богатство всего того, что она «систематизирует») не соответствует его опыту. Если, употребляя его же слова, «софийный» опыт его не только глубоко-православен, но, как я сказал уже в начале, являет что то самое важное, самое глубинное в опыте Церкви, то «София», как философски-богословское «оформление» этого опыта **не нужна**, и не нужна, прежде всего, самому богословию о. Сергия. Она воспринимается, как это ни звучит странно, как какой то чуждый и именно надуманный элемент в его писаниях, как объяснение и «оправдание» того (почитание Божией Матери и Иоанна Предтечи, Богочеловечества и эсхатологии и т. д.), что не только в таком объяснении не нуждается, но что сам же о. Сергей уже и явил и объяснил. Ибо все то, о чем он пишет, что составляет тему и вдохновение всего его творчества: светлый и пасхальный космизм православия, тайна Богочеловечества, верность Православия «добро зело» творческого акта, победное ожидание и предвкушение Царства Христова, все это не «нуждается» в Софии или в «душе мира», как не нуждается православная интуиция свободы в «изначальной свободе» Бердяева. Для всего этого «достаточно» пресветлой и радостной тайны Пресвятой Троицы — Отца, Сына и Духа. Для всего того, что хочет защитить, отстоять, провозгласить и явить о. Сергей в ответ на вопрос, который «змеящимся шепотом стелется по земле: чей же мир, Богочеловека или человекобога, Христов или антихристов», что с такой пророческой силой, духовным горением и, часто, богословской гениальностью раскрывается в его творениях, не нужно «Софии» ибо «достаточен» Христос, Божья Сила и Божия Премудрость, «достаточен» Дух Св., Утешитель, «достаточна» Церковь, Невеста Агнца, и никто в наши дни не убеждает в этом лучше и сильнее, чем сам о. Сергей.

Потому, мне кажется, речь не может идти ни просто о **принятии** системы о. Сергия, ни просто об ее **отвержении**. Я уверен, что когда наступит время спокойного и глубокого церковного ее обсуждения, Церковь в конце концов, как бы «перепишет» на бело его учение. Она с любовью и благодарностью примет в нем все то, что поистине раскрывает последние глубины ее опыта и что с такой силой веры, надежды и любви прогремело в мире, тонущем в демонической скуке и тупике своего «секуляризма», своего отпадения от Бога. И, как не раз делала она это и в прошлом, она «элиминирует» из учения о. Сергия все то, что, в сущности, затемняет его, делает именно **его** системой, а не еще одним славным и непреходящим свидетельством об истине. Сам же он, я не сомневаюсь в этом,

останется в памяти Церкви тем, чем он действительно был: — пророком и тайнозрителем, вождем в некую горную и прекрасную страну, в которую всех нас звал он всем своим обликом, горением, духовной подлинностью.

## 7.

Я не знаю, да и никто не знает, что будет с Россией. Но, вспоминая о. Сергия и, вместе с ним всю ту удивительную плеяду, которая не случайно же просияла в России одновременно с нарастанием русской катастрофы, в одном нет у меня сомнений. В том, что у русской культуры, у России как духовной судьбы, нет иного пути как в Церковь.

У каждого народа, в конце концов, только одно призвание. Он может, конечно, отказаться от него и продолжать существовать. Он может достичь благополучия и сытости, благоустройства и могущества — «на страх врагам»... Но и к нему относятся тогда евангельские слова: «какая польза ему если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» Призванием души России — русской культуры — было ответить на один вопрос: что такое «культура», в чем смысл ее и содержание, после Христа, после Боговоплощения, после Пятидесятницы? Христианский Запад от вопроса этого в какой-то судьбоносный момент своей истории отказался, просто «снял его с повестки» и, в сущности, только в этом отказе и отречении и обличали его русские мыслители и писатели, начиная с Чаадаева и Хомякова. Провозгласив, в своей земной и расчетливой мудрости, «автономию» культуры, разумно и самоуверенно разграничив сферы «религии» и «культуры», Запад не знал, да и сейчас еще не понимает, что тогда-то и началось то внутреннее разложение и религии и культуры, зловещими признаками которого наполнено наше время.

Русская же культура вопрос этот приняла и сделала его действительно вопросом духовной судьбы самой России. И ничего не меняет в этом ее теперешнее падение, ибо в том-то и раскрывается оно как именно **падение**, что никакой другой культуры создать оно не смогло, а создало беспрецедентную по своим размерам, бездарности и пошлости «анти-культуру». Ничем другим в своем падении русская культура стать не могла. И потому само это падение, сама эта «анти-культура», служат лучшим доказательством того, о чем всем своим внутренним огнем и напряжением свидетельствовала та, другая, подлинная, русская культура. Уже больше нельзя обманываться: пустота, ложь и подделка советской «анти-культу-

ры» совсем не только от отсутствия «гражданских свобод», от грубого насилия и террора. Та же самая пустота, подделка и ложь все очевиднее начинают проступать и там, где царят еще «гражданские свободы» и обеспечена полная «автономия» культуры. Ибо по настоящему, дело, конечно, в том, что самой то этой «автономной» культуре все очевиднее **нечего** и не о чем сказать, нечего воплотить. Разница же только в том, что в той стране, которая раньше называлась Россией, это «нечего» вдобавок приказывают облекать в нестерпимо елейную-оптимистическую ложь, а на Западе культуре никто не мешает со все большим техническим совершенством свидетельствовать о собственном разложении.

Но разве не было предсказано и провозвещено все это в России устами русских писателей и мыслителей? Разве на последней своей глубине не была подлинная русская культура именно пророчеством и предостережением? Разве взлеты ее, но также и неудачи и крушения, не от подспудного, всю ее пронизывающего знания, что в мире, в котором был Христос, нельзя ни жить, ни творить так, как если бы Его не было? Как если бы не был обожен в нем человек и вознесен к Богу? Как если бы не сходил в тот таинственный третий час Дух Утешитель и не изливался дождь благодати на землю? Как если бы после Боговоплощения и Распятия, Пасхи и Вознесения не стала невозможной, страшной, подлинно самоубийственной всяческая «автономия»?

И вот то, что подспудно, может быть, с самого начала вдохновляло русскую культуру, то — под самый конец, когда уже неизбежно нарастала катастрофа, стало темой и вопросом самой русской мысли, и в ней возрождающегося, от своих западных, схоластических пеленок освобождающегося, православного богословия. И, конечно, самое важное и глубокое в этом возрождении это то, что на главный и самый страшный соблазн нашего времени — на соблазн развоплотить Христа, отнять от Него Его мир, русская религиозная и богословская мысль ответила творческим, вдохновенным исповеданием Церкви. Должно быть, тут нужно было бы разъяснить, что под Церковью разумеется здесь не то, что связала с этим словом расцерковленная русская интеллигенция и в чем, как это ни звучит странно и прискорбно, слишком часто убеждали ее сами «церковники», своим равнодушием к культуре, если не открытым и упрощенным ее отрицанием. Я не делаю этого, потому что, в сущности именно это и сделал о. Сергий, именно об этом его творчество, его призыв, его свидетельство. Потому что сам он вернулся не к «христианству» вообще, не к расплывчатому

христианскому идеализму и гуманизму, а к Престолу, на котором вечно «исполняется» таинство Боговоплощения и снисходит тот огонь, о котором томился Христос когда он возгорится. И вернулся не для покоя или бегства, а для того, чтобы этим огнем просвещать и возвращать ко Христу вечно отпадающий от Него и забывающий о Нем, мир. Нет, конечно, не для культуры и не о культуре Церковь. Но только от ее огня родилась та единственная по своей глубине и свободе, правде и человечности культура, распад которой, отречение от которой на наших глазах расчеловечивают мир. Не для культуры Церковь. Но только Церковь может сделать ее целостным ответом человека Богу на Его дар, наполнить ее истинной, добром и красотой, жить без которых она не может...

И потому, если еще есть будущее, есть путь у русской культуры, куда же ей еще идти? Опять, еще раз, на Запад? Но то, что было на Западе от этого огня, уже давно стало своим и кровным. А после Достоевского и Толстого, «открывать» Кафку и сюрреалистов, Беккета и «новый роман», «формалистов», «структуралистов» и прочих фокусников, право не стоит. В свою древнюю, допетровскую, допушкинскую самобытность, в самоупоение «русским духом»? Но не может, не изменив себе, отказаться русская культура от своей вселенскости, от той своей «всечеловечности», о которой много было сказано пустых и горделивых слов, но которая все же была и есть... И вот тут то, на этом распутье, и светит путеводной звездой последнее русское «пророчество» — о Церкви, как о той новой реальности, в которой тайна Царства Божьего, Царства «не от мира сего», может стать и вечно становится источником и силой жизни, творчества и спасения в «мире сем».

Пускай было в этом пророчестве много ошибок, неясностей и двусмысленности. Пусть чему то в нем, чтобы ожить и стать силой, надлежит «пав на землю, умереть». Пускай чему-то предстоит отсеяться, а чему то проясниться. В основном же оно **верно**. Верно в вопрошании. Верно в своем конечном устремлении и уповании. Об этом думаешь, об этом радуешься и в это веришь, вспоминая о. Сергия Булгакова.

Предпразднество Рождества Христова

Декабрь 1971.

Прот. Георгий СЕРИКОВ

## УЧЕНИЕ ОБ АПОКАТАСТАЗИСЕ (О ВСЕОБЩЕМ ВОССТАНОВЛЕНИИ) У «ОТЦА ОТЦОВ» (СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ НИССКОГО) И У ПРОТ. СЕРГИЯ БУЛГАКОВА

Исходной мыслью святителя Григория Нисского о всеобщем восстановлении (апокатастазисе), как известно, (1) было его учение о зле. Вслед за Оригеном Отец Отцов учил, что зло не имеет сущности, что оно есть «не сущее» (ми он), что оно есть лишь отсутствие добра. Только добро имеет самостоятельное бытие. Хотя святитель и признавал за злом объективную реальность, тем не менее он считал его происшедшим через отрицание добра и не обладающим субстанциальным бытием. (Наглядную иллюстрацию такому положению нисский епископ видел в слепоте, которая не имеет места в природе, но есть лишь отсутствие глаз).

Зло не от Бога, оно есть лишение блага, не-бытие и наступит время, когда будет только Бог (I.Кор. XV,28). Зло же, не имеющее для себя основания в Божественной воле, должно упраздниться и как кора или нарост должно спастись с доброго естества.

По всеобщем восстановлении всего в Боге уничтожится даже память о зле. Зло когда-то должно прекратиться еще и потому, что оно ограничено, а не беспредельно как Добро: идя по пути своего развития, оно должно будет когда-то дойти до такого пункта, дальше которого движение вперед станет уже не возможным и зло будет принуждено идти в противоположную сторону, в сторону добра. И таким образом за «пределом» зла следует преемство добра. Тогда будет достигнута божественная цель творения, которое было совершено «добро зело» (Быт. I,31).

(1) «Как известно», к сожалению, не многим: огромная масса православных людей ничего не знает ни о величайшем из Отцов Церкви, ни о его учении; а некоторые даже думают, что его учение об апокатастазисе «еретично» и было осуждено Церковью.

Не знаю, нужно ли тут говорить, что учение о всеобщем восстановлении всех людей в Боге, о том, что как все из Бога и Богом, так все и придет к Нему (Рим. XI,36) и что в конце концов «Бог будет все во всем» (I. Кор. XV,28), никогда не было соборно осуждено Церковью, что еще до III-го Вселенского Собора (431 г.) святитель Григорий Нисский был признан Церковью святым, а на VII-м Вселенском Соборе он был назван «Отцом Отцов».

В деле всеобщего апокатастазиса и человеческого обожения, имело исключительное значение боговоплощение, искупительная универсальная жертва Спасителя и Его воскресение. Комментируя слова ап. Павла о том, что через смерть Христа «всякое колено небесных, земных и преисподних поклонится Ему и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца» (Фл. II,10-11), — Григорий Нисский под «небесными» понимает ангельский чин, под «земными» — живых людей, а под «преисподними» — всех умерших, а также демонов и злых духов.

Святитель Григорий считал невозможным вечное упорство во зле демонов и ожесточение грешников в беззакониях. Он полагал, что нет никакого основания думать, что свободная воля твари на том свете сохранит за собою свободу пребывания только во зле. Такую мысль он считал совершенно ложной. Так что сила искупительной жертвы Христовой распространится и на злых духов, и дьявол когда-то вернется в свое первоначальное блаженное состояние и сознаёт свое бессилие.

Комментируя слова ап. Павла к Коринфянам, что когда-то «Бог будет все во всем» (I. Кор. XV,28), святой Григорий видел в них подтверждение своих мыслей о всеобщем восстановлении и о совершенном уничтожении зла «Потому что, — говорил он, если во всех существах будет Бог, то несомненно, в них не будет зла». И так как зло безусловно будет уничтожено, то никаких грешников тогда не будет. Тогда будут одни только святые. Тогда наконец завершится восстановление всей твари в ее первобытное состояние.

Всеобщее восстановление должно наступить в силу полноты творческого замысла Божественной Премудрости. Полнота эта будет ущерблена и цель творения не будет достигнута, если все творение во всей своей полноте (пліроме) действительно не примет участия в блаженстве. Всему творению необходимо достигнуть участия в Божьих благах о которых, по словам апостола Павла, — «око не видело, и ухо не слышало и которые бывают недоступны для мыслей» (I. Кор. II,9).

На адские мучения св. Григорий Нисский смотрел не только как на наказание грешников, но и как на средство врачевания их от грехов, на своего рода чистилище. Но рано или поздно очистившись от грехов, души достигнут цели и придут к Богу. Да и на всю жизнь человеческую святитель Григорий смотрел как на путь и что странствие за гробом продолжается по пути нарастающего небесного блаженства.

Подобно Оригену, св. Григорий считал, что учение свящ. Писания о вечности адских мучений, допущено с воспитательной целью. И может быть так же, как и его учитель, он полагал, что слово вечность (эон) в свящ. Писании иногда обозначает лишь большую продолжительность, а не бесконечность Божественную, вневременную.

Переходя к тому, что говорил об апокатастазисе о. Сергей, первое что нужно заметить, (2) это что в этом вопросе величайший богослов нашего времени, говоря вообще, не был оригинален, хотя многое уточнил, развил и укрепил.

Это ссылаясь на св. Григория Нисского о. Сергей учил, что мысль о бесконечности адских мук утверждала бы вечность зла и его совечность добру — что приводило бы к дуализму. (3) Но зло не имеет в себе творческой силы вечности, и не может поэтому простираться в бесконечность.

Уточняя мысли св. Григория, о. Сергей говорил, что «вечный огонь», «вечные муки», «вечная погибель» не имеют отношения ко времени (4), но суть качественные определения.

(2) м. б. к огорчению тех, кому доставляло удовольствие (здоровое или болезненное) находить в титаническом богословском труде о. Сергия Булгакова особенные, странные, необыкновенно-новые, и несогласные со всеми мысли.

(3) Примечание: — к дуализму еще более безнадежному чем дуализм персидский, где Аура Мазда (Ормузд) — светлое начало, в конце концов, все же должно победить Аримана. (Г. С.).

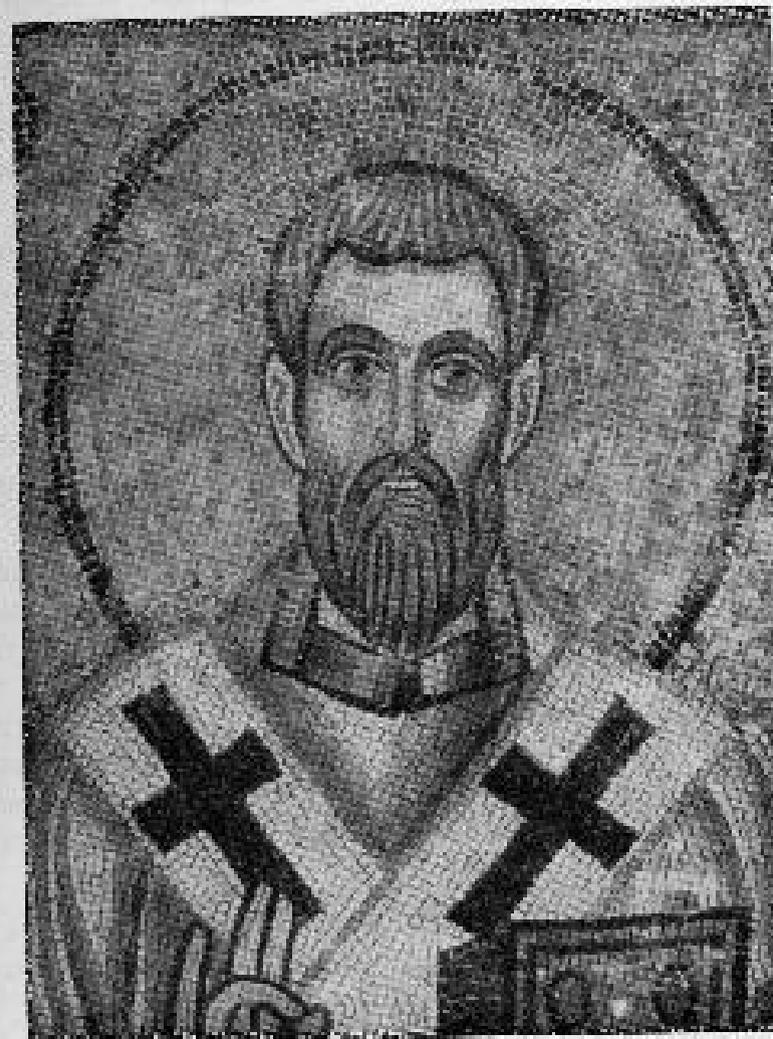
(4) Что касается слова «вечный», которое в Новом Завете употреблено иногда в качестве прилагательного к слову ад или геенна, то нужно сказать, что в Библии не всегда «вечный» эквивалентно «бесконечному». Так например, Бог дает евреям землю Ханаанскую во «владение вечное» (Быт. XVII,8), но мы знаем из истории, что эта «вечность» длилась только до диáспоры!.. Подумаем ли мы, что Слово Божие ошиблось? — Нет, не ошиблось, но «вечный» в данном случае не должно было означать «бесконечный». Другой пример: Обрезание было предписано Израилю как «вечный» завет. Однако в Новом Израиле обрезание было заменено крещением. Что же, Господь ошибся? Нет, не ошибся, но слово «вечный» не должно было и тут быть понимаемо в смысле «бесконечный»! То же можно сказать и о других установлениях и предписаниях, праздниках и посвящениях ветхозаветных (Исх. XII,14 40,15 Лев. VII,22 X,9 XVII,7 Числ. X,8 I. Пар. XVII,14 XXIII,13...), дававшихся, согласно Библии, «в постановление вечное», тем не менее обветшавших и прекратившихся.

Есть два понятия вечности: с одной стороны — религиозное понятие вечности Божией, вечности Божественных атрибутов (любви, жизни, троичности, красоты, правды, неизменности, свободы, всеведения, всеприсутствия...) вечности Царства Небесного. Эта вечность так же трансцендентна временному потоку, как Творец — творению. Эта вечность совсем не соизмерима с хронологией. Эта вечность качественной категории.

Но в Библии и в богословии иногда говорят о «вечности» в смысле именно как о хронологическом потоке, имеющем большую или меньшую продолжительность, (такую теоретическую вечность, продолжающуюся без конца, Гегель называл «дурной бесконечностью».)

Эту разность в понимании «вечности» нужно иметь в виду, чтобы не сделать ошибки: в некоторых случаях мы должны заранее отвергнуть толкование вечности как бесконечности во времени, как временного определения, но должны ее понимать как особую окачественность. Вечная жизнь в Боге, Царство Небесное и вечность адских мук не могут быть «вечны» одной и той же вечностью.

Если Царство Божие есть основа и цель создания мира, премирное его основание в Боге, то можно ли сказать, что при сотворении мира, в полноту его включено бытие ада и вечность его? Сотворен ли Богом ад, если не в непосредственной реальности, то хотя лишь потенциальности? Или же ад есть создание сатаны и ангелов его, как и подпавших его влиянию свободных тварей? И если в Мт. XXV,34 одинаково говорится о муке вечной наряду с жизнью вечной, то этим лишь определенно указывается существенная разница между обоими видами вечности. Между временем и вечностью отнюдь не существует того соотношения, какое обычно усматривается, потому что вечность есть не временное, но именно качественное определение. Такие определения как «вечное блаженство», «вечные муки», «вечный огонь» и их синонимы, вовсе не означают бесконечного времени. В них о времени просто совсем не говорится, так же как не говорится о нем у Ио. XVII,3: «Сия же жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.» В эсхатологических текстах Евангелия говорится о вечности и вечной жизни в Боге как об обращенности к Богу, пронизывающей все бытие. Это есть видение лица Божия, жизнь с Богом, в Боге и пред Богом. О хронологическом же времени в Апокалипсисе Иоанна прямо говорится, что на том свете «времени больше не будет» (Откр. X,6).



Св. Григорий Нисский  
(Михайловская мозаика, Киев XII век)

Подобно св. Григорию Нисскому, о. Сергей останавливается на универсальном значении искупительной жертвы Христа. «Не за грехи ли **всего** человечества Сын Божий вкусил Гефсиманской скорби и Голгофской смерти?! Божественная вечность этих мук не была ли сосредоточена и изжита здесь на земле во времени?» (Тут ясно, что «искупление в вечности» не означает времени бесконечной длительности, а означает бесконечную божественную его интенсивность). Как можно забыть слова Христовы: «Нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Мт. XVIII,14) и что отверженные Христом остаются все же в любви Его и объ-

емлются вселенской Его искупительной жертвой, которая для отверженных «на веки веков» есть искупительная жертва до тех пор, пока пребудет сила отвержения отверженных?!

Как святитель Нисский (и как Ориген) о. Сергей задает вопрос — распространяется ли совершенное Христом искупление на демонов?

Если ответить отрицательно, не будет ли это ограничением Божественной любви и силы искупления, которые не имеют границ? С другой стороны, имея в виду дарованную Богом твари свободу, — да еще не такую колеблющуюся и превратную как у людей, а уже определившуюся во зло как у демонов — ответив на поставленный вопрос положительно, мы этим ограничиваем свободу твари или просто даже ее устраним! (и тогда вину за зло в мире и грехопадение переносим на Бога)

Здесь о. Сергей, вслед за Григорием Нисским, рассматривает вопрос о детерминизме судеб человеческих (и вообще судеб всей свободной твари) после Второго Пришествия и Суда, а в частности и вопрос о детерминизме («вечности») ада, и, подобно святому Григорию, отец Сергей считает, что в загробном мире процесс продолжается в вечности, продолжается путь очищения от грехов и, следовательно, вместе с Отцом Отцов он думает, что таинственный адский огонь есть огонь очистительный, врачевательный. (5)

Богословскую точку зрения людей настаивающих на детерминизме ада и вечности адских мучений о. Сергей называет уголовно-пенитенциарной. С этой точки зрения отношения Бога к миру определяются началом одного лишь мздовоздаяния, вопреки прямому слову Господа: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него» (Ио. III,17), «Я пришел не судить мир, но спасти мир» (Ио. XII,47).

«Эта пенитенциарно-уголовная точка зрения наиболее уязвима со стороны теодицеи: В ней принимается, что Бог от вечности

(5) Святой Григорий Нисский говорил, что в огне горят пустые предначертания жизни, что в адском врачевании соблюдается владычественная свобода человека. «Огнем пробуждается раскаяние. За порогом смерти рассеивается греховный облик и ослабевает и истощается упорство злой воли... Рано или поздно в течение долгого времени, истребляющая сила огня истребит всякую примесь и зло. Это врачевание огнем и горькими лекарствами, может оказаться очень продолжительным, «соразмерным целой вечности» или «вечному времени». Но очищение не может не закончиться!»

своей в творение мира ввел ад и вечные муки и дал им силу бытия наравне с Царствием Божиим, уготованным от создания мира. Таким образом, последнее свершение включает в себя онтологический провал, именно в его дуалистическом характере: наряду с вечностью Царства Божия утверждается одинаковая вечность ада!» Голгофская жертва оказывается бессильной для преодоления ада — о чем, выходит, напрасно радовались ветхозаветный пророк Осия и апостол Христов, восклицая: «Где твоя, аде, победа?! (Осия. XIII,14 I.Кор. XV,55)»

При уголовно-пенитенциарной точке зрения на вечность адских мучений, софийность мира находит себе предел в антисофийности ада, в котором царит тьма крошечная при отсутствии света Божия, — темная анти-софия. Здесь изнемогают всемогущество и Премудрость Божия, но поднимает голову иной принцип бытия, которого и Бог не может обессилить, или же, что еще менее понятно, сам его устанавливает.

Сторонники уголовно-пенитенциарного мировоззрения защищают свою точку зрения на вечность ада, видя в ней «педагогическую пользу, чтобы избежать человеческой распущенности, либертинизма, безответственности и фальшивого сентиментализма. Но надо сказать, что такая педагогика цели не достигает: богословское запугивание бесконечными страданиями в адской неизменности бессильно сломить человеческие разум и совесть, не принимающие «вечную» расплату за временные, хотя может быть и очень сильные грехи.

Отец Сергей не говорит, подобно Н. А. Бердяеву, что в наше время никто больше не верит в вечность адских мучений, тем не менее, учитывая современную психологию, он сомневается в моральной пользе запугивания: «Реально для человеческой психологии не абстрактно-бесконечное, но непосредственно предстоящее, конкретное страдание. И преобладание педагогики страха в эсхатологии, которое было, может быть, соответственно и действительно в психологии веков минувших, бездейственно и скорее шокирует в наши дни. Мысль, предназначенная к тому, чтобы терроризировать души, цели не достигает. Ошеломляя ужасом сердца чуткие, парализуя в них сыновнюю любовь и детское доверие к Небесному Отцу, уподобляет христианство исламу, подменяя любовь страхом. Богословское запугивание является бессильным и неуместным как не отвечающее достоинству человека, призванного к свободной любви к Богу.

Бесспорно здесь должна быть в полной силе признана аксио-

ма, что всякое зло, в котором повинен всякий человек, должно быть им же самим, до глубины и исчерпывающе изжито даже в прощенности своей. Оно не может быть прощено даром, невыстраданно, ибо то была бы не благодать, но противоречие правде. Правда Божия непримирима к греху. Он не может быть просто попушен и позабыт, но должен быть явлен пред лицом ее. Поэтому и сама мысль о том, что можно безнаказанно избежать последствий греха, есть безумная, малодушная и ложная. Речь может идти совсем не об уклонении от Правды Божией, но о христианском ее уразумении. И надо прямо сказать, что разум и совесть не принимают учения о вечности мук, понимаемой в смысле бесконечного времени, в неподвижной его неизменности, как это обычно излагается. Провозглашая бесконечность мук, этим мы утверждали бы вечность зла и совечность его добру, вместе с непобедимой ожесточенностью грешников во вражде к Богу.

Святитель Нисский указывал еще на телеологическое основание для учения о всеобщем апокатастазисе, говоря, что Божественная цель творения людей может быть достигнута только тогда, когда человечество, во всей своей полноте, действительно примет участие в блаженстве, ибо в этом цель Премудрости Божией.

Развивая эту мысль святителя, о. Сергей выводит еще так сказать экклезиологический аргумент в пользу апокатастазиса и говорит, что хотя Суд Божий есть Суд личный и совершается над каждым человеком, но вместе с тем, он есть и Суд всеобщий, церковный, ибо человечество Христово едино, и судьба каждого связана со всеми, и за всех ответственна. «Поэтому уродливая и странная мысль, будто праведники, получив свою «награду» и в нее погрузившись, немедленно забывают о братьях своих, во аде страждущих, разумеется, не может быть допущена!» Неужели от явления Бога-Любви сердца их оледеневают в себялюбии и теряют даже ту степень любви, которую они имели друг к другу до всеобщего воскресения? Напротив, отвержение отвергнутых в известном смысле поражает и **все человечество**. И праведники страдают от ада грешников в райских своих обителях. Спасение не есть только удел каждого в отдельности, но и дело любви, молитвы, усилия всего человечества. Поэтому ад есть общая скорбь. Тут мы касаемся тайны будущего века, которая входит в наше сознание лишь как **антиномический постулат всеобщего участия в жизни рая и ада в их совместности**. Существование ада окружено не

холодом себялюбивого равнодушия, но светлым облаком попечительной любви спасенного человечества, то есть Церкви, которая во веки пребывает, как единая, святая, соборная и вселенская. В ней единое человечество не разделяется как бы на два и не примиряется с отсечением одной своей части — ада, но болезнует о ней. И хотя опять-таки нельзя этого болезнования одних о других истолковывать в смысле земного лукавства, некоей духовной даровщины, — ибо грех должен быть выстрадан и изжит, и должник не будет выпущен из темницы, пока не отдаст «до последнего кодранта», но — надо это прямо сказать, — и рая в полноте не существует, пока и поскольку есть ад, который есть как бы внутренняя для него граница.

Забвение «праведников», находящихся в раю, о грешниках, мучающихся в аду, было бы величайшим грехом, способным снова погубить в нем повинных, даже после их оправдания на Страшном Суде: этот грех состоял бы именно в том, за что отчуждены грешники — в отсутствии любви к страждущему человечеству и в нем к страждущему Христу.

Тут весьма знаменательными, дорогими и поучительными для христиан словами преподобного Исаака Сирина, — на которые обращает наше внимание о. Сергей, — будут слова о **сердце милующем**: Святой Исаак молился о возгорении сердца человеческого «о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и всякой твари: От великой и сильной жалости, от великого терпения сердце человеческое умиляется и не может вынести, слышать или видеть какого-либо вреда, или малой печали, претерпеваемой тварью. А посему и о бессловесных и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно приносит молитву со слезами, чтобы сохранились и были они помилованы...»

Учение о вечных и неизменных муках грешников — основанное будто бы на невозможности покаяния за гробом — находится в явном противоречии с действенностью церковной молитвы об усопших, ибо принятие молитвенной помощи уже предполагает встречное движение душ усопших в соответствии с общим фактом действенности духа, которому свойственно непрерывное продолжение жизни и новые самоопределения.

И Страшным Судом не прекращается изменчивость тварного бытия и временность его не заменяется «неподвижной вечностью» божественной, но им начинаются новые времена, уже не хронологические, новые «века веков», с новым становлением. Этого не

хотят понять сторонники криминальной эсхатологии, для которой «вечные муки» есть применение соответствующей статьи кодекса о наказаниях через одностороннее определение суда, заранее устраняющее возможность оздоровления, прощения и восстановления.

Мы тут, в краткой статье, не можем касаться демонологии о. Сергия в связи с вопросом о всеобщем восстановлении, это потребовало бы большого и детального рассмотрения замечательных страниц, написанных им о метафизической пустоте и сáмости Денницы, оканчивающейся его раскаянием; скажем лишь, что, по мысли о. Сергия, это может совершиться в силу тварности сатаны, который не может перестать быть творением Божиим. Ему остается присуща сила реальности, которая не может быть замещена или уничтожена произволом ни от чего не зависимой дьявольской сáмости. В бесконечном числе кругов вечного самоповторения в пустоте, из которого состоит жизнь сатаны после изгнания из мира, оказывается включенным столь же бесконечное число раз повторяющееся сознание своей сотворенности, как причастности к бытию, сила которого есть бытие Божественное.

Победа над дьяволом требует и предполагает упразднение смерти и ада в творении, но тем самым его конечное от них освобождение и спасение. Речь может идти лишь о временах и сроках для этой окончательной победы над адом и сатаной.

Наша вера не может принять в качестве последней истины о Боге-Творце, что Он сотворил мир, предназначенный в своей части (сколь бы мала или велика она ни была) к вечной гибели или отвержению, отданной в удел абсолютного зла, от которой отвернется и сам Сотворивший ее!

Зло связано с тварной свободой как один из ее модусов. Свобода твари есть величайший дар Божий и царственная его привилегия. Но вместе с тем свобода твари не стоит в онтологическом противоречии с Божественным замыслом творения, который, очевидно, не может включить в себя вечной гибели, предназначенной хотя бы для части творения. Таковая, если ее допустить, означала бы фактическую его неудачу, и даже не в одной только части, но и в целом, которое не мирится с этим ущербом так легко, как мирятся с ним партизаны вечности ада.

Остается принять, что **конечные** судьбы мира в путях Божиих остаются независимы от тварной свободы при всей ее неустрашимости в путях их свершения. Здесь имеет место некая **свободная**

**необходимость:** онтологическая непреложность основания и модальное многообразие свободы в жизненном его выявлении.

Кончая эти краткие заметки о мыслях нашего учителя, мне хочется напомнить слова апостола Павла касательно границ человеческой свободы: «Я преклоняю колени мои — пишет апостол Ефессянам — пред Богом, от Которого получает Имя всякое отцовство на небесах и на земле, чтобы дал Он по богатству славы Своей быть могущественно укрепленными Духом Его во внутреннем человеке так, чтобы вселился Христос в сердца ваши чрез веру, и вы были укоренены и утверждены в любви, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, **что** широта, и долготы, и высота и глубина, и познать превосходящую познание любовь Христа, чтобы вы были исполнены всей полнотою Божией. А Тому, Кто, по силе действующей в нас **имеет власть (свободу) сделать больше, безмерно больше всего того, о чем мы просим или помышляем**, Ему слава в Церкви и во Христе Иисусе во все роды во веки веков. Аминь.» (Еф. III, 14-21)

---

Архимандрит ЕВФИМИЙ

---



### RELATIO RELIGIAE

Один человек через призму сознания другого. Но так, ведь, всегда бывает: то, что фиксируется в мыслях, в словах, всегда есть отношение. Отец Сергей — большой человек, большого жизненного пути, как и больших, состоявшихся уже о нем, отображений. Но, по самой памяти о нем, в данном случае не безотносительно к величине, по движению сердца, хочется сохранить о нем личностный оттенок.

Военный беженец 1920-го года, в 1923 году непрощенный стипендиат Чехословацкого Государства я вместе со многими другими оказался той рыбкой, которая попала в невод Р.С.Х. Движения. Впервые на Сазавском Съезде, и на следующем за ним я был захвачен движением-полетом очень сведущих людей, людей высокого призвания, рассеянных, как бы даже, растерянных прошедшей Российской бурей. И в этих съездах была неожиданность Встречи, совершающееся новшество, новотворение. И тут не нужно говорить о каких-то лекторских или организаторских приемах со стороны старших и больших. Нет, — было их — к нам обращение — вопрошание. Искалась почва сердец для внушений живых. Эти съезды были сами по себе — чудесное, непреднамеренное, новообразовательное. Этот наряд и заряд Встречи, это чудо поднимающих общений продолжалось немногие дни, для того, чтобы продолжаться будильно в буднях кружкового общения — изучения, которое само по себе было таким округлым, ладным для нахождения самого себя. И если съезды непреднамеренно умели запечатлеть свое дневание церковноисповедной и тайнодейственной печатью, то и кружок (Брненский) имел себя у сердца батюшки (отец Алексей Ванек, чех).

Многих избранных, не буду называть их, я встретил на порогах Христианского Движения, но не ошибусь назвать перво-первым Отца Сергия Булгакова.

Движение и было моим первым Университетом, который тогда благополучно надстраивался, наслаивался на моем, тогда основном по раннему избранию души, образовании техническом. Через десять чешских лет, в 1933-ем году, — безработный инженер, я — на Подворье Сергиевом, в ведении и ведении о. Сергия. Этот второй мой Университет, забрав меня целиком, со знаком «Единого на Потребу», не помешал мне, в учебное же трехлетие (курс был тогда трехлетний) совершить мутацию: после первого курса был я посвящен в диаконы, на втором курсе стал я иеромонахом, на третьем — настоятелем у монахини Марии, что и стало затем моим третьим Университетом: не приходское, ежедневное служение в храме самодельном, у монашек, пожизненное, составило мою священническую благую судьбу.

Трехлетие 1933-1936 при всей своей образующей напряженности было для меня вполне скоротечным, и не ставило меня в линию избрания какого-либо из предметов изучения для ученой специализации, но научный интерес во мне, сорокалетнем, упражненный знанием теоретико-техническим, как свойственное мне и мое собственное, настораживал меня в отношении всего знания академического. Так выходило, что специальности А. В. Карташева и Г. П. Федотова без труда для меня помещались в пределах гуманитарного знания, что не относилось уже к их историософским построениям. Помещать же экзегезы Священного Писания и соотносящиеся им богословские предметы в пределах гуманитарного знания, как потом в моих построениях оказалось и показалось, и совсем бессмысленно. Но, если Священное Писание есть Конструкции, вернее, — если оно священствуется в Богом созданной Конструкции, исполненной Меры и Цены; если Священное Предание есть Конструкции, а Богослужение в нем действуется Конструктивно; если в Учении Отцов есть Конструктивные построения, и, в основной линии: Константиново Храмосзательство, видение Креста, Иерархии Ареопагитик, и по следу их — Исааков, Исаака Сирина, Ангел, а затем, передача в русское последование, Софийные Храмы и назревающая, затем, русская Святоотечность; — то, для всех этих «если» русская Софиология и есть это «ТО»: — то, что нужно для разумения, что честно перед Лицом Бога. Итак, — охватывая десяток исследований позднего отца Сергия, что же я ему скажу.

Вы возглавляли гуманитарную богословскую школу и Вы вели главный ее предмет, догматику, в пласте гуманитарного знания. — А это не есть ли ложе Прокрустово, отрубаящее и саму голову Догмата. Вы, в числе трех: отец Павел, Вы и А. Ф. Лосев, перед самой бурей, в предустановление победы над ней, дали Научение Истины, — Вы с ними — Учители Церкви, представители русской Святоотечности.

Говорят, что отец Сергей не только сознавал, но и мучился неспособностью своей к формальному знанию. Для громадной всеисчерпывающей содержательности своих исследований он находил только объем и литературную форму. Но этот недостаток имел сторону выгодной достаточности: делал отца Сергия проповедником: неформализованная содержательность живой мысли, при движении его богатого в Боге сердца доходила до умов и сердец: был отец Сергей славен.

Интересно, и важно сказать, что отец Павел, в знаменитом своем труде, в содержательной его цельности тоже остался при литературно-гуманитарном его исполнении и вызвал восхищение даже «патрологов»; математическую же оснастку привел только для решения двух частных проблем. Очевидно, что и физика его была только знанием окологлобальным для Богословия. Только один А. Ф. Лосев дал Дедукцию, табличную показанность Действования Трех в Софийном Четвертом, при меональном начале и в одежке Языка.

Любя отца Сергия, в это последнее его жизненное десятилетие заимствуясь от него в содержании, я восхожу к этой ранней страничке, там в России, когда три кита софиологической мысли имели свой взаимодополнительный голос. Когда издалась Философия Имени Лосева, престала, там в России, эта голосность. Издалась, просунулась в печать, при великих купюрах, при неупоминании слова Бог и слова Ангел, небо. И вот, этот момент Лосевского последнего вскрика в Софиологии, живой и в удушении, и есть для меня вершинка Учительного Действа. Три действателя, три кита патрологии отечественной, святоотечности учительной. Жив восьмидесятилетний Лосев (на два года старше меня) таится в основном своем Учительстве, имея алиби учительства в рамках античной философии, дозволенной. Такое же ли алиби имеет учитель основного Богословия. Хотел бы я видеть это пособие для учащихся «на батюшку», а, главное, чтобы о нем подумал сам Лосев! Не слежавшийся ли патрологический сухарь, программиро-

ванный «по предмету» изучения, опробованный в пометании старого патрологического двора. И — главенствующая академия, в профессурах, доцентурах творящая увековечение того, сфабрикованная труположность кого, яко бы для мирового парада, помещена у стены Кремля.

Сознательно я существую в функции семика книг отца Сергия: Большая Трилогия, малая трилогия и Петр и Иоанн — первоапостолы. Они для меня всегда имеемая и умеемая наполненность содержания, самозаконно-творческая, самобытная. Но нужно, при этом, сказать, что это имеемое и умеемое содержание не имеет оформления числословного и языкословного. Тут во мне говорит инженер, вся сила научного устремления которого целит в конструктивную сторону софиологического охвата, в со-с-Троение.

Во первых, — Дом Премудрости, а затем уже Сама, обитающая в нем, Премудрость. Момент видения — раньше момента ведения. И когда в годах выходила та или иная книжка отца Сергия, прочитав ее, я откладывал и говорил: вот тут все сказано о том, что не дано в форме Все. Познавательный мой примитив говорил: увидев, — скажи, сказав, — покажи. Вся моя работа — показ всего того, что у отца Сергия было — сказ. И этот сказ взят от него целиком. Кажется нет другого человека, который больше чем я, был бы благодарен отцу Сергию. Его мыслительное, смысловое присутствие в богословском содержании и меня делало доскональным в показании. Конечно моя благодарная душа имеет к нему и упреки, в основном они касаются, как уже сказано, к области представления, а не мышления.

Главным моментом кинезиса Софийной конструкции является сочетание двух представлений: представление Триады, как таковой, и представление Тетрады Творения. Построение Лосева в последовании его семи энергем есть последование Тетрадное, в определении которого, конечно, участвует и Троице-Личный и троично-Софийный принцип. В Философии Имени, уже не Лосева, а Философии Имени самого отца Сергия обнаружилось, что отцу Сергию не дано было представление Тетрадности бытия. Он всецело был под знаком Триады, и он массивовал Триадное содержание, там, где было тетрадное расположение. Две главных неудачи:

в Философии Имени — спор с Кантом,

в большой Трилогии — смещенность ее в отношении Действий Лиц в Тетраде.

Если для меня «Ф. И.» Лосева была книгой символической, то дó нее и на первом месте стала Критика Чистого Разума. Тетрада Канта — это тетра триад 12 категорий. Установив с несомненностью (взяв из школьной логики) тройственность суждений в каждой из сторон тетрады, он тотчас же оговаривается, что никогда не будет известно, почему определена-определяет троичность. И чем больше Троицы он не видел, тем отчетливее выступала Тетрада: слепота Канта была благодетельной для науки: она дала: вещь вообще, вещь в себе, четверицу терминов, определяющих-определенных Богом и соответственную — для Ничто: — истиннейшее узрение при слепотствовании в его обосновании, при отсутствии малейшего луча Откровения.

Весь в осияниях Откровения не увидел отец Сергей этого Демонстратива Кантовой науки, средостение знания, и из остающихся двух отличностей Канта: антиномии и идеи (еще и паралогизм) и он и отец Павел и Лосев размножили только антиномии (потеряв строгость вывода Канта).

В середине книги Философия Имени отец Сергей делает прямое нападение на «схемы» Канта (еще его, Канта, отличие), т. е. применимость, примеримость, примиримость представлений пространства и времени к понятийным сказуемым (категориям-12). Орудием нападения он берет триаду, характеризующую предложение, — подлежащее, сказуемое, связка, напрягая ее до значения Триады Перводогмата, т. е. в Ролях Отца и Сына и Святого Духа, и сейчас же удваивает, говоря: суждение-предложение, что уже есть тетрада в Тетраде. Это — случай удивительного двоеположения субъекта, один раз в связи с объектом, другой раз — предикатом. Один раз творимая земля определяется Деяниями Неба во Отце «иже на небесах», в другой раз — совершение совершенств неба совершается творящей Землей в Духе и Деве. Таким образом, нападение отца Сергея оказывается беспредметным, и проявление его неведения Тетрады, нагромождая триадные толкования, сминает конструкции. И исключительный служитель Премудрости, во сто процентов создавший Ее содержание, не оказывается в Доме Премудрости. На путях больших мировоззрений возникают и большие недоразумения.

Цельное представление с необходимостью включает и Триаду и Тетраду, и, в конце концов, именно Тетрада несет на себе многие, но вполне счетные, отметки Триады, а в заключительном Субституте три пункта Софийного Закрепления: один, третий, в

третьем Небе — Саму Богородицу (о Величии Которой, кроме церковных прославлений, нужно спрашивать только у отцов Сергия и Павла), как Софию Третьего Неба, Софию Вспасаленой Земли, в Ней, Богородице, уже осиявшей Новотворением и Новым Именем.

В среднем Небе, небе Посредника, Христовом, Софии Крестной Небе, Субститут Жертвы Отдания и Питающей Взятости Тела и Крови.

И, наконец, в Первом Небе и во-первых, Огненного Ангела, Софию Неба, Исаакова Ангела, о котором он говорит: «Горнии чины в бытии — простираются от чина в чин, пока не достигнут к единству паче всех великого и могущественного Главы и основания твари. Главою же называю не Творца, но Стоящего во главе чудес дел Божиих. (слово 17)».

И еще: «Низшие учатся у тех, которые проникают на них и имеют более света; и таким образом, учатся один у других, восходя постепенно до той единицы, которая имеет учителем Святую Троицу.

И самый опять первый чин утвердительно говорит, что не сам собою учится он, но имеет учителем посредника Иисуса, от Которого приемлет и передает низшим (18). Стопроцентную, яко бы, у отца Сергия выраженность богословского содержания приходится убавить: нет у него этого Исаакова (Новгородского) Ангела. Тем более, нет его и у патрологов анти-софиан, возражавших отцу Сергию.

Это и ставит вопрос о смещении у о. Сергия трилогии большой в отношении поместности Действий Трех Лиц в Тетраде. Малая трилогия — без смещения:

Отец, — Первое Небо, — Лествица Иаковля,  
Сын, — Второе Небо, — Друг Жениха,  
Дух Св. Третье Небо, — Купина Неопалимая.

Для большой: —

Отец, — Первое Небо, —  
Сын, — Второе Небо, — Агнец Божий,  
Дух Св. — Третье Небо, — Утешитель, аппендикс об Отце.  
— Третье Небо, Невеста Агнца.

1-ое Небо — нет тома, посвященного Институции Отца в Творении, тем более нет Его Софийной Субституции Ангелом Ототчим.

2-ое Небо — есть том об Агнце Божиим, Который уже по самому Своему Воплощению и Жертве дан не только в Институте Сына, но и Субституте Софийном, Насыщенном.

3-ье Небо — есть том — Утешитель, в Институте Духа, но и с Конститутом Церкви, в Нисхождении на Апостолов, нужно думать и на Деву, как бы Она и ни была облагодатствована в Благовещении.

— есть том — Невеста Агнца, Дева в Субституте Духа, ставшая Софией (по терминологическому преимуществу в ряду: —

Святая Сила, НАД, Святой Мир, НАЕ, Святая Премудрость, НАС), по Успении Своем, по Воскресении Своем ставшая в Пасху Сына в Телe Своем, Виновница Тела Сына, по преимуществу над Сыном, унесшим Свое Тело в Вознесении, ставшая Пасхой Всовершенной Земли усийно, субстантно, субститутно. Она больше Пасха, чем Сын. И Она больше София, чем Ангел и Причастность. И это и Ее Личный Ангел и Ее Личный Сын.

Но Конститут Церкви есть не только в Небе Духа и Девы. Дополним перечисление в Евхаристических категориях: —

«Сотвори» — обращение к Отцу в Его Небе, т. е. не без субститута Ангелом («иже Херувимы»), и в Конституте служебности Апостола Петра.

«Есть Тело, есть Кровь...», — установительно субституирующие слова Институирующего Сына в Конституте служебности Апостола Павла.

«Преложив», — в Институте Духа, в Субституте Девы, в Конституте Апостола Иоанна. /«Изрядно о Пресвятей»/ «Се сын Твой»/.

Ради полноты Конститута Церкви, седьмая после двух трилогий книга отца Сергия должна бы называться: Петр, Иоанн и Павел — Первоапостолы. Два из них имели «на горе» на себя и

на себе отображение Преобразившегося Господа, третий получил его «на пути». И они Священнописано и Священнодейственно образовали Три Источничествования Троеличия, Кон-Суб-Институт Откровения Церкви в Телe и Крови Жертвы, отверзшей Софию Божественную, НΘΣ.

Другое замечание:

Отец Сергий был так много содержателен, так существенно обилен в своем Богословствовании, что видя Тетраду, руководствуясь представлением Тетрады, вы можете из его собственных строк сконструировать этот недостающий том его Большой трилогии.

Отцов отдел Тетрады — это в лучах-путях действий Троеличия — развитие, строящее разворачивание ангельских иерархий, низвергающих творимый Шестоднев Моисея. И вот, — Лестница Иакова и толкование Шестоднева у отца Сергия прекрасны, значительны неповторимо.

Да, отцу Сергию можно возражать, нужно возражать горячо, от сердца. Но, сколько я знаю, этих возражений не было в доцентском порядке, в виде диссертации. Наука школы, как таковая, всегда есть что-то такое, что определяется оценкой — очень хорошо. Научная диссертация — очень хорошо, сам представитель Ордо — очень хорошо, научный журнал — очень хорошо. Отец же Сергий был и Ордо и СверхОрдо, и доцент не решается строить свою карьеру на его критике. Отец Сергий защитил себя своей творческой значительностью, своей, как я это утверждаю по горячему, в горячей современности, — Святоотечностью.

Учитель Церкви — над учителем школы.

Мои же собственные построения — школьны, сугубо школьны, но новошкольны (для гуманитарных умов, конечно отвращающе схоластичны). И это — в притык и в упор построениям отца Сергия, отца Павла, А. Ф. Лосева.

Живы мы еще, — свидетели последнего жизненного десятилетия отца Сергия. Бывал он гостем нашей монашеской группы. И было у него какое-то удивленное, увеличенное внимание к нашим малым делам и обстоятельствам. Некоторые монахини знали его еще в Крыму в начальный период его священнического служения. «Это вам будет не по зубам,» услышала в Кореизе одна из них, тогда молодая послушница, просившая у него книгу Доброто-

любие. И вот за ней четыре десятка лет добротолубного делания, узнанного сердцем блага.

И другая и третья — знали его еще в Крыму, и там и в Париже были в его окружении, и в его благом влиянии, для них незабываемом. Умирал он на руках троих монахинь тяжелым, долгим умиранием, не без момента яркого просияния (как это бывает и у других). И в нашей священнической линии произносилось прошение, кажется, им же составленное, об ускорении часа смертного.

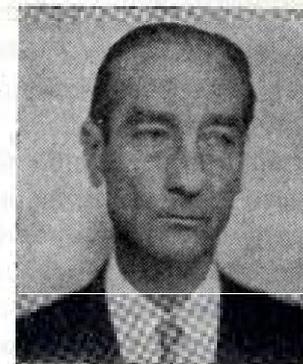
Большое Человеческое Величит Бога: » «И больша сих со-творите».

В днях Богоявления 1972 год

---

К. Я. АНДРОНИКОВ

---



### «РЕВНОСТЬ ПО ДОМЕ ТВОЕМ»

Уже больше знаешь людей умерших, чем живых, две стороны «диптиха» не равны: многозначительно длиннее черной помяник. Но несколько имен и в нем горят красными письменами. Самое блестящее среди них: отец Сергей.

Все же, запрос «Вестника» берет врасплох: «Если Вы знали лично о. Сергия, какую роль сыграла встреча с ним в Вашей жизни, и в развитии Вашей мысли знакомство с его произведениями; и как Вы расцениваете теперь его творчество?» На два первых вопроса, пожалуй, ответить могу без нарочитого размышления, поскольку речь идет о личном восприятии, в моем существе, и оно глубокое. А на третий вопрос? (Да еще он задается за две недели до выхода номера). Тут я по-детски растерян и чтоб не остаться безголосым на призыв, могу только намекнуть, в беспорядке поспешности, на то, что мне представляется неотразимо ясным и ярким в творчестве Булгакова, как его будут называть не только историки (прошлого), но и все богословы (занимающиеся вечным, настоящим и новым в Церкви).

А что светлее всего держится, как пламя, в памяти, это во-первых личность отца Сергия. От его лица, а потом уже от его трудов, словесно подтверждающих и развивающих этот бытовой огонь, стало ясно, что подлинный жизненный путь человека — подвиг и пророчество в действии; что для писателя, поэта, философа это означает подвиг и пророчество мысли и слова в свободе, т. е. служение истине, сиречь — **жизнь в Церкви. Без Бога Слова**, мир действительно «прогорк» (как раз обратнo тому, о чем порой горевал Розанов) а я, в этом горьком миру, лишь пузырь

или призрак, бродящий по поверхности безликого, бессмысленного и далеко не тихого океана.

При всей надлежащей скромности, следует-ли, во имя пассивной «объективности», отрывать от своих «субъективных» восприятий и собственной биографии мысль о крупнейшем человеке и о его творчестве первостепенной важности в нашей истории. Именно потому, что о. Сергей Булгаков — **чрезвычайный субъект**, т. е. деятель современности, думать о нем требует прежде всего определения, хотя бы очертания, личного отношения к нему, реакции на него, на то, что он **дал и задал**, от чего именно в глубокой степени зависит и своя собственная принадлежность к жизни и заданию времени и, по возможности, свое участие в них, не как неодушевленный предмет, количественный элемент социальной статистики, а как сознательное, ответственное и действенное, хотя бы и маловажное лицо.

Говоря об истории, я конечно имею в виду ту подлинную историю, о которой размышлял о. Сергей, где свершаются судьбы мира, т. е. обещание и воля Божия о Царстве Своем; иными словами, историю христианства; точно — Церкви, осуществление которой метаисторично, эсхатологично.

И это первый урок о. Сергия (однако, тут-же себя спрашиваешь: где первый, где второй, где последний? Такая порядковая шкала имеет смысл только для постепенности разума и его «синтаксиса», а не для духа и «жизни жительствоющей»). Этим и объясняется принципиальная невозможность свести, «редуцировать» живое лицо и живую мысль к какой либо сокращенной схеме, которая цельно выражала бы истину о человеке и о его деятельности на земле, в пространстве и времени. Чтобы их поистине постичь, нужно не извлекать из них систему, а в них вживаться). Но поскольку даешь себе задание философствовать, т. е. описывать истину, на что посвятил себя Булгаков, то приходится подчиняться законам дискуссии, рационального изложения по мере исследования и по степени мышления; и о. Сергей, неизбежно последовательно, строил систему. Но все его **априорные** положения, т. е. истины веры, на которых основывал и из которых выводил систему, — на лицо, все на первом, на единственном «плане» тайны единосущия, **омоусиоса**, следуя в этом гениально разработанной центральной интуиции своего лучшего друга и сподвижника, о. Павла Флоренского: Истина и, следовательно, источник всякого умствования — Пресвятая Троица. «Догмат Троиединства является... неизбежным основанием всякой философской мысли... Истина о Свя-

той Троице, взятая в ее полноте, является единственно возможным основанием гармонической философской системы. Таким образом устанавливается связь между философией, как естественной проблематикой человеческого разума, и догмой, как богооткровенным ответом на нее» (**Трагедия Философии**).

Итак, скажем условно, что первый урок Булгакова, это, что «история мира совершается на небе и на земле и под землею» (**Апокалипсис**). Вся вселенная, пространственная и за-предельная, временная и вечная, вся совокупность человек и бесплотных, живых и мертвых, все существа по сю- и по ту-сторонние творят и развивают, или тормозят и искажают историю творения, которая протекает между началом, т. е. изгнанием из Царства, и неизбежным концом, т. е. окончательной оценкой и восстановлением в Царстве, «его же не будет конца». Настоящее дело в том, что «мир создан Богом как Церковь в своем основании и своем совершении». Следовательно, «судьба мира есть история Церкви» (**Очерк учения о Церкви, Путь, 1/7**).

Из этого изначального положения вероисповедной истины, Булгаков так наглядно и логично показывает, что «в христианстве зарождается новое чувство жизни, что человеку не надлежит убегать из мира, но что Христос приходит в мир на брачную вечерю Агнца, праздник **Богочеловечества**» (**Агнец Божий**).

На этом поприще, пройденный Булгаковым жизненный путь еще более важен и, может быть, плодотворен, чем его философское и богословское наследство. О последнем будут спорить (хотя и не так легко будет оспаривать) — до сих пор никто за это не взялся. Единственная проделанная попытка была направлена на осуждение, со стороны враждебной фракции иерархической власти, но оказалась грубым недоразумением, не только не состоятельной, а буквально безграмотной: большинство аргументов несли в себе-же доказательство того, что их авторы Булгакова не читали или не домыслили; несомненно, самые «щепетильные» места не так легко освоить, если не вчитаться во **все** богословие Булгакова, в частности в страницы, в которых он подробно объясняет почему и как он богословствует (**Свет Невечерний, Догмат и Догматика, Трагедия Философии** и т. д.). А о его жизненном подвиге следует размышлять с благоговением. На этом пути он был пророком и свидетелем. На этих степенях библейского звания и церковного делания он стоит и останется. А труды его — иллюстрация, выражение во вне внутреннего умственного делания. «Ты был апостолом в твоей жизни, мы дерзаем это сказать... Ты был

христианским мудрецом, ты — учитель церковный в чистом и возвышенном смысле слова. Ты был просвещен от Духа Святого... которому ты посвятил свой ученый труд. Он претворил в твоей душе **Савла в Павла**. (Митр. Евлогий: Слово перед чином отпевания о. Сергия).

Уместно, ибо точнее всего, прибегнуть именно к образам Писания (которые почему-то всегда стесняются применять к людям, кроме как к давно отошедшим в прошлое святым, тогда как именно к нам обращены и должны служить мерилom), чтобы напомнить о биографическом пути о. Сергия: он вышел из священнической среды непрерывно дававшей иереев (с времен царя Алексея Михайловича), действительно вышел в мир, как блудный сын; однако не продав всей доли своего наследства, лишь припрятав талант. Но ему был дарован не один: веру он зарыл, как раб, но сохранил любовь к истине и ревнивую надежду ее открыть, как волхв. И как «подлинный Израилтянин, в котором нет лукавства», он посвятил свою ревность исканию. И показал себя праведником. Честно и отверженно ища правды здесь, сейчас, он с кафедры проповедует и в кабинете пытается доказать благополучно безбожное и марксистское царство хозяйства. Но сам процесс его «объективного» оправдания требует проверки не только на фактах, но и испытанием беспощадной логики, т. е. проверки философии Маркса и материализма философией-же. Со страданием, Булгаков должен склониться перед очевидностью: не только факты никак «не клеются», но сама диалектика ума доказывает, что от здания экономического материализма, помимо его уважительного морального пафоса (т. е., к тому-же душевного, а не материального), остаются одни развалины и что Маркс — не живой властитель умов и истории, которому должно служить, а труп, вокруг которого сгущаются сомнительные «орлы».

Не менее известно, как, с вновь обретенной верой, но, на этот все решающий раз, не в частичную правду, а в Абсолютную Истину, Булгаков возвращается в Отчий дом, чтобы стать «верным рабом» Господним, т. е. свободным и творческим наследником непреходящего Царства. Булгаков становится не только служителем, но и ярким учителем Церкви.

Этот путь души человека — от тьмы стихийной утопии самодовлеющего материального устройства земли к христинскому мирозерцанию и созиданию, от подчиненного смерти мира антихриста к жизни в Церкви при деятельном ожидании Второго Пришествия, — и есть пророческий путь, начертанный для русской интел-

лигенции одним из самых передовых и духоносных личностей среди такой поразительной кучки ее представителей, воззавших и услышанных «из глубины». Впрочем, в сию минуту истории, стало достаточно ясно, что этот горный путь должен быть пройден не только русской интеллигенцией, да и вообще не только интеллигентами, не теряя надежду даже на то, чтобы продолжать и развивать нашу культуру и наш мир, а то и просто сохранить их и донести до положенного, нам неизвестного времени, т. е. их **спасти**.

Лично, в моем молекулярном отрезке мирового времени, какую роль имело соприкосновение, а потом живое сношение с **религией**. «Религия есть жажда божественного, неутоленная, но утоляемая, зов земли к небу и ответный голос с неба. Не всем дано в одинаковой мере знать в своем личном опыте оба полюса религиозного переживания: зов и ответ. Многие знают муку религиозной жажды гораздо сильнее, чем радость ее утоления» (Тихие Думы).

Париж, 1941-й год. Война. Оккупация. Пылание внешней истории и жуткий холод, растерянное терзание личной жизни. От официальной военной повинности освобожден, подпольная борьба — не по нутру, обреченная на ложь пустых идеологий и маскировку просто не соразмерную с результатами. Да и не в **этом** дело, «только это, а не то». Неумолкаемый вопрос всех духовных подростков: кто ты, куда и за кем идти, за что? Литература — эстетична, но и пуста без философии; последняя — бесплодна, когда не дает содержания жизни; наука — суха до пустынности, нет в ней ответа ни на одно «почему» и ни «кого» в ней нету. Будучи по всей вероятности духовно не очень одаренным молодым человеком, я лишь присутствовал на службах, богословской «проблематикой» почти не волновался, да и мало что о ней знал, еще меньше сознавал пути церковные. И все-же, все-же, несмотря на лепет чтеца, на поразительную редкость последовательности в проповедях, на патоку хорового сладко-пения, растворяющего и без того не ясные слова, на отсутствие всякого истолкования умственного или мистического содержания, на всю эту внешность обряда и церковнослужителей, вызывающую скорее «эмоции» и «настроение», чем вдохновение, — из этой гармоничной совокупности, в присутствии прозорливых икон, сочилось куда-то в личную глубину что-то дивное, необходимое, незаменимое, намекающее на самое главное, на «единое на потребу» теперь искомое, но все же непонятное.

Было вполне логично пойти спросить «глаголы жизни» и дорогу в этот светло-туманный Китеж там, где специалисты этого дела естественно должны были эти глаголы объяснять и ключ вручать: в духовной школе, с трепетной надеждой обрести посвящение, чуть-ли не святость.

Парижский Богословский Институт до того славился, что вызывал опасение у ортодоксальных церковных людей и недоуменную улыбку среди светских (впрочем, по своему, не менее благочестивых, чем те). Поступление в духовную академию рассматривалось первыми чуть-ли не как монашеское пострижение, бесповоротный уход из мира, а последними — не то как дворянская блажь, не то как интеллигентское самодурство.

Так, ища **арканы** и гностических эонов, застенчиво поднялся я по распластанным ступенькам холма Свято-Сергиевского Подворья, казавшегося грозным, как обитель, и мудрым, как лес; и боком переступил порог секретарского присутствия. Попал в запыленную библиотечку. Оказалось что дело состояло в том, чтобы «грысть гранит науки», по суровым словам профессора Карташева, т. е. зубрить предметы вовсе не мистической программы курсов. Извольте включиться в череду зубривших и зубрящих студентов, в большинстве уже поседевших, голодных, под угрозой ссылки на работы в Германию, и сидящих в голых, кроме иконы Паламы, и, как у себя дома, холодных помещениях.

И вот курс об Откровении Иоанна, знаменательная последняя академическая работа о. Сергия (что тогда знать не могли). В комнатухе с засаленными оконцами и книгами, на скрипящих стульях, вокруг хромого столика, за которым восседает не большой Моисей Микел-Анджело. Не голосом, а каким-то исступленным хрипом (ему вообще запрещено врачами говорить), с припертым дыханием через трубку, вонзенную в горло, где она дергается и он ее теревит, Булгаков, с ошеломляющей простотой и с проникновенным жаром ликования, трактует о тайне, о Церкви, о Троице; но и научно-критически разбирает текст. Немедленно ум и сердце слушателя загораются: «можно сказать, что способность к радости является одним из важных мерил духовного состояния» (**Тихие Думы**).

Какую роль «сыграли тогда в моей жизни и мысли знакомство с его личностью и непосредственное проникновение в его творчество, и как их оцениваю теперь?» Итог можно будет наметить только на смертном одре, да скорее еще после, только тогда, когда будут налицо все данные, как и для всякого человека, вклю-

чая и самого себя. А пока набросаю просто пунктиром, как бы на лад импрессионистов, наиболее яркие, вдохновляющие черты этого великого, примерного и **цельного** человека, поневоле беспорядочно, без приоритетов, и по преимуществу его-же словами.

«Бог есть — поет небо, земля и мировые бездны. Бог есть — откликаются бездны человеческого сознания и творчества» (**Свет Невечерний**). Все богословствование и состоит в размышлении над этим «есть», в изучении и описании этих «бездн», в их взаимоотношении. «**Бог и мир**»: так точно суммировал целеустремленность Булгакова его внимательный и проникательно любящий спутник, Л. А. Зандер, давший такое заглавие своей двух-томной полнейшей и яснейшей толковой хрестоматии трудов о. Сергия.

Если Бог — Творец всего бытия, а человек — микрокосм (т. е. он возглавляет и «рекапитулирует» вселенную, а не наоборот, не она его поглощает), онтологическая связь между ними, бытийный корень мира и познаваемый сущий на небе как и на земле — Тот, «Им же вся быша», Который из Троицы воплотился и открылся: Богочеловек. Этот догмат, по существу, является таким образом основой и условием **сине ква нон** всякого богословствования. О. Сергий с поразительной последовательностью это излагает и распространяет на все догматы. Они именно имеют **богочеловеческий** характер, как и Логос из которого исходят. «Догмат не есть столько формула сознания и знания, ибо свидетельствует о непостижимом для нас, сколько указывает на путь, истины и цели религиозной жизни. В него **вживаются**, и жизнь в Церкви есть не что иное, как это вживание в догматы, приобщение к тайнам божественной жизни... Но догмат имеет и философский смысл» (**Трагедия Филос.**).

Отсюда «должны быть связаны между собою алтарь» — литургическая, молитвенная деятельность в созерцании тайны — «и рабочая келлия богослова, вдохновения которого, в глубочайших своих первоисточниках, должны исходить от алтаря» (**Догмат и догматика**). Если стоит здесь подчеркнуть самые живительные уроки о. Сергия, опять таки в цельности жизни и мысли, то это — «аскеза труда и научный долг», в чем он был безупречен (до того, что его даже в этом упрекали поспешные читатели или переводчики, вроде меня). И не сам-ли он обретал перед престолом евхаристии названия своих произведений?

Но, как и Богочеловек, догматы «не связывают творчества в его свободном вдохновении, но его определяют, как данная, хотя и сокровенная, истина» (**Догм. и догматика**). И это его

незабвенный урок о смысле творчества в Церкви, по завету Христа: «Делайте, ибо Я делаю!» Кто из учеников о. Сергия не помнит его одновременно восторженное и перед Преданием смиренное слово: «Дерзайте!» И его излюбленные цитаты, в которые он приглашал вживаться: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос!» (Гал. 5,1); а по поводу аскезы и долга свидетельства: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ» (I Птр. III,15).

И жизнью и писаниями, о. Сергий действительно «давал отчет» в реальности своего посвящения Истине. Продолжение догматического, церковного творчества, «после семи вселенских соборов, должно явиться живой связью между ними и современностью» (**На путях догмы**). Нет ни одной «темы», ни одного бытового явления, которые не подлежали бы христианскому осмыслению и освещению, по возможности освящению, поскольку они принадлежат подлинной, церковной истории человечества.

В личной и общественной жизни, он — профессор, пастырь, исполнитель священных таинств, исповедник, друг. В глубине своего «я» он переносит победно «жестокие» испытания, для него вероятно самые тяжелые, которые такой человек мог выстрадать и не погибнуть. «Огненного искушения не чуждайтесь», страшно и ему сказал Апостол Петр, а Павел (впрочем не менее страшно) утешает: «верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». После искуса интеллектуального (крушение кумира под напором своей собственной беспощадно честной мысли), сердечное испытание: изгнание из самого задушевного для его плоти, крови и культуры, из родины, и наблюдение за осквернением ее святыни; потом, физическое и психологическое: он, человек слова и проповедник, преподаватель и совершитель богослужебных возгласов, лишается голоса, утонченно, — он следит в зеркале, как ему бережно вырезают голосовые связки. Наконец (а может быть было и другое?), мистическое: он испытывает, сродно с Мотовиловым, но не аналогично ему, плотское и душевное умирание и крестную оставленность Богом.

В выражении своего творчества, Булгаков также перенес тяжелое испытание. «Все христианство стоит перед великими и новыми задачами... все христианство по новому сознает необходимость общецерковного единения и его ищет... Мы свободны в своем богословствовании, и наша свобода есть церковная свобода, верных и любящих сынов Церкви, а не взбунтовавших рабов. Мы хотим свободной преданности Церкви, верности ее преданию,

но верности творческой», исповедовал он на актовой речи Парижского Богословского Института (**При реке Ховаре**). И кто с ним и большей частью благодаря ему не убежден, что «пришло время для православного уразумения истории догматов, в качестве догматической диалектики, в которой раскрывается для богословской мысли церковная истина»? (**Агнец Божий**). На этом подвиге, о. Сергий тоже подвергается догматически-духовному соблазну и искушению: его заподозривают в ереси.

По этому поводу Вселенского Собора не будет, потому что и ереси никакой нету: сам автор достаточно растолковал, что его богословствование — личное размышление о догматах, на них основанное, но их не переопределяющее. Кстати сказать, напомним, что, на булгаковском философском языке, Богочеловечество выражает догматическую общность Бога и человека и что Премудрость, пресловутая «София», подобно Богочеловечеству, — соответствует интуиции русской религиозной мысли (см. Соловьева и Флоренского, основанная на Ветхом Завете), которой о. Сергий пользуется и которую развивает, чтобы дать отчет о необходимой общности и одновременно о непостижимой и непроходимой разнице между Творцом и творением. София, Божественная и тварная — мистико-философское понятие или категория, позволяющая связать апофатическое богословие и абсолютную тайну Пресвятой Троицы с философией и относительной тайной человека и космоса. Софиология, таким образом, должна рассматриваться, в смысле философии мира, как экклезиология. После Булгакова, я просто не вижу, как можно было бы, рано или поздно, обойти эту категорию богословия при толковании проявления и откровения «Божественной плеромы», которую о. Сергий и называет «Софией» (уже в **Траг. Филос.**).

Оставим это до времени, чтобы просто отметить исключительную, пребывающую ценность Булгакова в том, что он именно с догматической точки зрения, т. е. православно церковной, разбирал все темы, входящие в его мировоззрение: от человеческого земного обрабатывания (**Филос. Хозяйства**) до **О чудесах Евангельских** и ангелологии (**Лестница Иаковля**), от Пикассо (**Труп красоты, Тихие Думы**) и Моцарта и Сальери (там же) до **Иконы и иконопочитание** и светлых праздников (**Радость церковная**), от Религии человекобожия (**Два Града**) до тайны Отца (**Утешитель**) и Премудрости Богочеловечества (большая трилогия), от **Трагедии Философии** до **Апокалипсиса**. И т. д.

Помимо содержания этих трудов, подчас гениального, живи-

тельно величие автора в наглядном доказательстве **смысла творчества**, уже упомянутого, не как раб, который «не знает, что делает господин его», а как освобожденный Истиной «друг», по слову Сына Божьего. И это есть потрясающая «демонстрация» о. Сергия, экзистенциальная и философская, литургийная и опытная. «Церковь есть жизнь, творчество, порыв» (**Два Града**). Тут-же он цитирует известную Речь на обеде в память Мицкевича Вл. Соловьева: «Церковь, как и отчизна, как и библейская «жена юности», должна быть для нас внутренней силой неустанного движения к вечной цели, а не подушкой успокоения». В этом и заключается мужественный призыв о. Сергия: «Дерзайте!», не к гордости и самочинству, а к богословскому служению православия. В наш век вселенского кризиса христианства, стало теперь для всех достаточно ясно, что Православие и, более определенно, его русское восприятие, переживание и толкование, следуя Отцам Церкви, и после веков внешнего зимования, сохранило непорочным Христово учение и способно именно **догматически** его развивать и о нем творчески свидетельствовать. «Новые задачи должны быть разрешаемы, а не устраняемы... Не невежеством и обскурантизмом надо служить религии, которая величайшим, непрощаемым грехом считает «хулу на Духа Святого» (**Тихие Думы**). И Булгаков, вместе со своими соратниками Логоса доказывает, что в наше время, Православие духовно и умственно **свободно** изыскивать и раскрывать это «новое», органически, без перебоев ни растерянности в побегушках за миром, связывая его с «прошлым», чтобы находить и выявлять в нем «вечное». «Христианство существует только в живом, конкретном церковном предании, а вне его остается лишь наука о христианстве, да пережитки старого» (**Тихие Думы**).

Это с особенной силой завещает нам Булгаков, на основании всестороннего церковного **опыта**, нам указывая на полноту его, где абсолютно все является **религией**, отношением между Богом и миром. Тут по всей вероятности коренная черта и глубинное свойство о. Сергия. Приходит на память, что он, например, говорил и писал об иконографии, где «мир предстоит Богу» в деисусном ряде; или, что нет существенной разницы между мыслителем и молитвенником и не должно бы быть между молитвою и действием в мире.

Конечно, все это по существу не ново, это известное учение Отцов, уже Евагрий говорил: кто молится, тот богослов, и обратно; и т. д. Но дело в том именно, что речь идет о **вечном** и что

весь труд мыслителя на земле состоит в том, чтобы это вечное находить и раскрывать для себя и для братьев церковных при наитии Духа Святого, на созидание Тела Христова, в исполнении совершенного Богочеловека. Как раз в продолжение такой живой и развивающейся последовательности — главная характеристика о. Сергия, именно как догматиста, опытом и мыслью исходящего из Предания и устремленного к царственному свершению Парусии (в чем состоит и суть Евангелия). «Те творческие задачи, которые встают перед современным человечеством, должны быть постигаемы в свете грядущего преображения мира, как задания религиозного творчества, как исполнение заветов Христовых» (**Невеста**).

Если-же, наконец, осмеливаться давать оценку творчеству Булгакова «теперь», одна из его самых «актуальных» заслуг, мне кажется, — откровение о существе, **смысле** и **деле** Церкви. Она не просто «сакраментально-иерархическая организация... а исполнение предвечного плана Божия в отношении к творению, его спасения, освящения, прославления, обожения, ософииения. Церковь в этом смысле есть самая основа творения, внутренняя его цель-причина» (**Невеста**). Поскольку спасаемый Христом мир и есть Церковь, процесс его преображения совпадает с историей Воплощения и вхождением в Царство: «цель истории ведет за историю, к жизни будущего века, а цель мира ведет за мир, к новой земле и к новому небу» (**Свет Невечерний**).

Это мистическое и богословское созерцание самых древних Отцов, исходя от Откровения Иоанна и оставшееся удивительным достоянием именно Православия (несмотря на то, что Апокалипсис выпал из богослужебного обихода, как будто в обряде Церкви стесняется провозглашать тайну о себе самой), в наше время стало, благодаря Булгакову, неотложной частью нашего свидетельства и как бы условием нашей исторической реальности, поскольку мы способны постичь и «нести», что Церковь есть «тайнство всех таинств, всетайнство... сама Церковь, как Богочеловечество, сущее Боговоплощение и Пятидесятница Духа в их пребывающей силе. И это всетайнство, как неимеющее для себя границ, совершается в мире и человечестве, над всем миром и над всем человечеством, и притом всегда, ныне и присно и во веки веков» (**Невеста**).

(Святки 1971-1972 г.)

## ПАМЯТИ О. СЕРГИЯ БУЛГАКОВА.

Выражаю «Вестнику РСХД» свою глубокую признательность за то, что на его страницах имею возможность воздать честь памяти о. Сергия Булгакова и свидетельствовать перед широким кругом читателей о том, чем я ему обязан. Познакомился я с о. Сергием в 1926-м году в Ницце, где я тогда жил и куда он тогда приезжал для служения в соборе и прочтения публичной лекции. Но по настоящему я с ним сблизился с 1938-го года, после моего поступления в Богословский Институт. Поступил я в Институт окончив западную светскую школу. Пафос этой школы, как известно, — ставить под вопрос все общепринятые положения, в частности, и в особенности, религиозные, ради посильного искания разрешения всех проблем исключительно собственным умом для созидания научно-философского мировоззрения. О. Сергей Булгаков поразил нас, своих студентов, смелостью своей проблематики во всех областях богословия. Его одаренность, как мыслителя, его незаурядная философская культура, его богословский и научный опыт сочетались у него с глубокой церковностью и с несомненной харизмой служения у алтаря. Он показал, что знание о Боге может, при известных условиях, стать знанием Бога. Собственным примером он явил, что богомыслие может стать одним из привходящих моментов религиозной жизни. Он пробудил во мне богословское призвание и направил меня по научно-богословскому и по пастырскому пути.

Любовь к слову Божию, как и полученная мною от него любовь к богословской проблематике, заставили меня стать ветхозаветником. В те годы, когда я начинал свое собственное преподавание в Богословском Институте, Ветхий Завет подвергался историко-рационалистической критике. В широких же православных кругах тогда было утрачено всякое представление о религиозном значении Ветхого Завета и об его ценности для христианской проповеди. По заветам о. Сергия я и решил заняться этим вопросом, как наиболее тогда злободневным и насущным. По его же настоянию я стал исследовать православное учение о Божией Ма-

тери, ибо его заветной мечтой было — показать протестантскому миру религиозную необходимость церковного почитания Пресвятой Богородицы.

Занятия над Священным Писанием по новому показали мне подлинный буквальный смысл ряда библейских мест. Они заставили меня поставить под сомнение некоторые библейские обоснования общей богословской системы о. Сергия. Тем не менее, никто не учил, как он, так правильно ставить богословские вопросы, так учитывать богословские трудности, подлинно вникать в богословские проблемы и любить богословскую мысль. После о. Сергия схоластические методы и приемы, утвердившиеся одно время в православном школьном богословии, стали совершенно невозможными. Все православные богословы наших дней, даже несогласные с учением о. Сергия, но хотящие богословствовать из полноты церковной жизни, исходящие из Предания, как живого опыта богопознания, осуществляющегося Святым Духом в Церкви, являются, по существу, его последователями.

Вечная ему память у Господа и постоянная ему благодарность у всех, кто ищет возлюбить Бога всею своею крепостью и всею разумением своим.

31-ХІІ-1971.

Протоиерей Алексей Князев.

\*) Редакция **Вестника** послала ряду богословов, лично знавших о. Сергия Булгакова, просьбу написать несколько слов, свидетельствующих о влиянии, которое имели на них личность и творчество великого богослова.

## IN MEMORIAM

(Перевод с французского)

До того как познакомиться лично, я была знакома с отцом Сергием Булгаковым по его трудам и его участию в Экуменическом Движении. Не через него я познакомилась с учением и молитвенной жизнью православной Церкви, но его книжка «Православие», \*) изданная в 1932 году, в прекрасном французском переводе, была для меня верным путеводителем в вешние годы моей встречи с Церковью.

Даже если бы о. Сергей не написал ничего другого кроме этой книги, ею одной он заслуживал бы большой признательности и благодарности со стороны православных людей моего поколения и французской культуры.

Вместе с Николаем Александровичем Бердяевым, и больше чем последний, — который как-то выделял себя немного из церковной среды — отец Сергей Булгаков представлялся нам самым выдающимся представителем исповедания живой и свободной веры, в единстве и преемственности с Отцами Вселенской Церкви.

Глубоко вкорененный в традицию русской религиозной мысли, тем не менее отец Сергей обладал универсально-кафолическим прозрением Православия, в самом настоящем смысле греческого слова *kat'holon*.

Этим объясняется его глубокое личное участие в экуменическом диалоге, несмотря на то, что умонастроение и дух протестантских пионеров Экуменического Движения был ему довольно чужд.

На экуменических собраниях, будучи в высшей степени искусным диалектиком, о. Сергей с необыкновенной силой защищал традиционные позиции православной веры, в частности в области мариологии, — позиции в большинстве случаев неприемлемые для его протестантских собеседников. (\*\*) Все же он им представ-

(\*) Ed. Alcan, Paris 1932. Réimpression Ed. Balzon, d'Allonnes & C<sup>o</sup>. Paris 1958.

(\*\*) См. об этом: «The Incarnation and the virgin birth.» в сборнике статей Булгакова изданном недавно Содружеством св. Албания и преп. Сергия в Лондоне.

лялся и добросовестным противником и, вместе с тем, другом — рыцарем Истины, оживленным пророческим духом.

Что касается личной, оригинальной стороны мыслей отца Сергия, то есть его софиологии (находящейся под влиянием Владимира Соловьева), то она меня хотя и привлекала к себе, но, вместе с тем, вызывала некое беспокойство и сомнения, о чем я высказывалась однажды в статье Религиозно-Философского Обозрения. (\*).

Свидетельствуя о творческой, свободной мысли внутри церковного Предания, софиология мне представлялась достойной внимания и уважения. Тем более, что в своем глубоком побуждении она соответствовала реальному духовному опыту, засвидетельствованному Церковью: — интуиция о божественных (софийных) силах, сокрытых в творении, видение Фаворского света, благодатно и таинственно уже преображающего человеческую природу и естественный мир.

В противовес однобокого утверждения божественной трансцендентности (которое в ту эпоху торжествовало в протестантском богословии Карла Барта), утверждения, недооценивающего естественный мир и человека, хотя и сотворенных Богом, но делающего их абсолютно Ему чуждыми — учение о Премудрости как о извечно любимом объекте Троической любви, не означало ли существенной мысли о божественном призвании твари?

Хотя, с другой стороны, объективируя и рационализируя тайну, ощущаемую духовным опытом, и как бы нарушая этим равновесие церковного целомудренного молчания и евангельской простоты за счет умозрительных построений, не вводит ли софиология — спрашивала я себя — гностического соблазна умствования? Или, как в ту же эпоху об этом вопрошал о. Лев Жиллэ: «Лучезарной и радостной софиологической концепцией не умаляются ли в каком-то смысле и идея Божественной недоступности и идея (абсолютной) непримиримости с Князем мира сего, и трагичность жизни сладчайшего человека Иисуса, окончившейся крестными страданиями и смертью»?

Но несмотря на эти вопрошания и недоумения, какие мы тогда имели, осуждать мысли отца Сергия, без того чтобы он мог объяснить и защититься, мне казалось и бесплодным и глубоко несправедливым. К такому заключению в конце своей жизни пришел и осуждавший в молодые годы софиологию Булгакова Владимир

(\*) E. Behr-Sigel, La sophiologie du père Serge Boulgakoff, Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse, N° 2, 1939.

Лосский. Он сказал, что софиологическая проблема могла и должна быть заново рассмотрена и введена, как неотъемлемая часть, в православное богословие.

Наступила война. беспорядочное бегство, тяжкие годы немецкой оккупации. Это трагическое время было для меня и временем очищения и обращения к отцу Сергию в самом главном, что я в нем узнала другого — менее интеллектуального и бесконечно более личного.

Вернувшись в Париж после «Исхода» 1940 года, как-то вечером (это был сентябрь), я — одинокая и растерянная — поднялась на Сергиевскую горку в надежде найти там живую душу. Я постучалась к о. Сергию. Он открыл дверь и ласково принял меня. Он посоветовал мне, — до того как я отправилась бы к мужу в «запрещенную зону» — исповедаться и причаститься. Так началась наша личная связь и переписка, длившаяся в продолжение войны.

Заклученная со своей семьей в «запрещенной зоне», я лишь редко могла бывать в Париже, но регулярно получала от о. Сергия слова дружбы и духовного укрепления, а также редкие сведения, которые доходили до него, через Швейцарию, о наших общих друзьях, находившихся за границей и с которыми нас разделял железный занавес немецкой оккупации. Это было той «влагой», которой, по слову М. Метерлинка, достаточно, чтобы озеленить боярышник, оросить былинку и оживить птицу. И чтобы наполнить венчик, где пчела собирает мед, нужно ведь совсем немного воды!»

Так во дни ареста матери Марии Скобцовой, «в скорби и жалости», равно как и в надежде, не приобщались ли мы тому, что стоит по ту сторону страданий настоящей жизни.

В последний раз я увидела отца Сергия в начале лета 1944 г. за несколько месяцев до конца войны. Это совпало с рождением моего сына. Совсем уже больной, тяжело ушибленный операцией горла от рака — что и привело его к смерти — о. Сергей мог говорить слова, которые с трудом можно было повять.

Но расставаясь с ним я сохранила в сердце его лучезарную, нежную улыбку и благословение, данное им широким жестом руки мне и моему ребенку, которого я тогда носила в себе.

Как я и предчувствовала, мы не должны были с ним больше встретиться.

1. Никого я в жизни не повстречал, кто произвел бы на меня большее впечатление, кого бы я выше оценил и чья память была бы мне дороже, чем память о. Сергия. Никого не повстречал, кого бы мог с ним и сравнить.
2. Труды его, для меня, неотделимы от его личности, но личность отделима от трудов, и она мне больше дала, глубже во мне запечатлелась, чем труды.
3. Думаю, однако, что русская богословская мысль — и мысль вообще — когда оцепенение ее кончится, мимо трудов этих не пройдет; а если пройдет, себя обеднит и свое будущее искалечит.

В. Вейдле

18 дек. 1971

Я не могу не откликнуться хоть кратко на чествование памяти отца Сергия Булгакова. В нем было большое горение духовное и большая сила веры, и этим своим пламенем духовным он часто зажигал души других. С большой благодарностью вспоминаю то большое впечатление, которое я получил от частых встреч с ним когда я был еще молодым студентом Московского Университета, а он прив.-доцентом Московского Университета и профессором Петровской Академии под Москвой. Он был ревностный и деятельный участник замечательного Кружка ищущих христианского просвещения, в котором руководящими лицами были кроме него также В. А. Кожевников, кн. Е. Н. Трубецкой, Ф. Д. Самарин, еп. Феодор и др. и который я часто посещал в 1907-1912 гг.

Помню горячность его христианской веры и силу его слова. Его софиологическое богословие я не разделял, считая его несколько слишком эмоциональным и вместе с тем рационально-схоластически окрашенным, к тому же и произвольным. Но его горящий интерес к великому обетованию а также и преображению твари через подвиг Христов я, конечно, высоко ценю и высоко чту, хотя и не в этом — неубедительном для меня — булгаковском «софиологическом» выражении.

Он многим указал путь ко Христу. Он у многих раскрыл глаза на действие Слова Божия в мире и истории. Имя его займет почетное место в истории русской духовной жизни и духовной культуры как ревностного и пламенного служителя и проповедника Воплощенного Слова.

Н. Арсеньев

Я уже могу считать себя необыкновенно счастливым человеком, что милостию Божиею мне довелось быть в условиях самого близкого общения с такими корифеями Русского Ренессанса как протоиерей профессор Сергей Булгаков, С. Л. Франк, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский и другие. Каждый из них в своем роде гигант, великан и заслуживает самого пристального внимания, а его творчество — детальнейшего анализа.

Но среди них особенным блеском звезды первой величины сияет автор «Света Невечернего», «Двух Градов», «Моцарта и Сальери» — не говоря уже о гениальнейшей трилогии — «Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца» — и других творений, как например небольшой по размеру, но блестящей по содержанию книжечки «О чудесах евангельских».

Считаю себя также необычайно счастливым, что Господь привел меня быть коллегой о. Сергия Булгакова по Православному Институту Св. Сергия в Париже, где я имел честь и радость преподавать многие годы под его началом. И вот теперь, когда на склоне лет предаешься сладостным воспоминаниям об этих лучших годах моей жизни — сердце бьется полнее и сластнее, чем когда-либо — и не веришь себе, что такое счастье и такая радость были — согласно слову поэта

Не скажешь ты с тоской — их нет,  
Но с благодарностию — были!

И при этом никак не можешь забыть, что через посредство о. Сергия Булгакова довелось мне иметь общение с о. Павлом Флоренским — учителем и вдохновителем о. Сергия.

С творчеством о. Сергия я познакомился в первый раз в бытность мою еще молодым пятиклассником Киевской I Гимназии, ибо тогда (в 1905-1906 гг.) о. Сергей был молодым приват-доцентом Киевского Политехнического Института: тогда же о. Сергей прогремел на всю Россию серией своих превосходных лекций о Чехове и рядом статей, которые впоследствии вошли в состав великолепнейшего сборника «Тихие Думы».

Залы, в которых читал в Киеве о. Сергей, были переполнены. Содержание и стиль этих лекций, равно как и их успех показывает, что действительно свершался некий крутой поворот от жалких и бедных идей 60-х и 70-х годов, даже полный разрыв с ними

ради роскошной и многообещающей зари новых дней. И это несмотря на то, что официально о. Сергей Булгаков (тогда приват-доцент политической экономии) и многие его слушатели пребывали в стане народников и марксистов. Но именно тем важнее было быть свидетелем совершившегося и неизбежного переворота «от марксизма к идеализму». И тогда же «Вехи» покупались нарасхват (в них одной из лучших статей была статья о. Сергия), а сочинения Ленина (псевдоним — Владимир Ильин) вызывали гомерический хохот своей отсталостью, некультурностью и глупостью.

Самым сильным и глубоко — *de profundis* действующим во всем духовном облике о. Сергия в эпоху моей первой встречи и первого знакомства с ним (в Берлине в 1924 г.) был его общий, благостный стиль православного священника-протоиерея. В нем, как некогда во Владимире Соловьеве (в котором было много от священника — «левита»), — и вот именно этот стиль священника-левита влек к нему сердца с неведомою силой.

Конечно, с первых же слов, какие бы он ни произнес на кафедре, с первых же шагов общения с ним переживался прежде всего священник-левит, которому дана власть вязать и решить, свершать литургию, чувствовался человек, который однажды пройдя огненную преграду, отделяющую церковь от мира, уже воистину стал для мира иным и может благодатью священства ему от Бога данной уводить за собою в ограду огня. Такие священники по непосредственному чувству почившей на них благодати священства — очень редки. Они — драгоценны. И к ним относятся немногочисленные коллеги о. Сергия — весьма редкие единицы. Такова же была сила его проповеднического и духовнического дара. И именно — мы твердо в этом уверены — так удивителен был его богословско-метафизический и философский гений, что от Господа был дан ему широчайший и глубочайший опыт иерейского служения. Тот, кто имел радость присутствовать на его служениях или быть его духовным сыном, — тот никогда не забудет этого и унесет это счастье «по ту сторону» огненной преграды. А сколько было грозы в его иерейской благодати, грозы, прогонявшей всякого рода темные силы.

Отец Сергей не позволял никому легкомысленного и небрежного обращения со святыней. А это — самое главное. В святыне — все, и святыня — все. Отсюда и его богословский гений. В

богословии — благоговение благочестие — это все. И о. Сергей обладал этим всем, не вотще приняв благодать священства.

И в наше время никто (за исключением старца Алексия Мечева), никто так высоко и так благоговейно не нес над своей главой «кивот и крест — символ святой», как именно отец Сергей Булгаков.

Быть может, именно по этой причине постиг он в такой глубине две таких величайших церковных ценности, без которых Церковь не стоит в наших сердцах — молитвы и чуда.

Вл. Н. Ильин.

Прот. Георгий СЕРИКОВ

## РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ОТЕЦ СЕРГИЙ БУЛАКОВ

Если бы меня, как одного из старейших (и, увы, уже престарелых) членов Движения спросили о том, что с моей точки зрения было и есть самого дорогого и незабываемого в отце Сергии для Движения, то парадоксально, но правдиво я должен был бы ответить: — его молодость, его свежесть, его весенний дух всякого возрождения, его модернизм (новаторство), его окрыленность, его творческий динамизм, его вангельский протестантизм, его духовность, не приемлющая никакой косности, рутины и однобокой «ветхозаветности»,... и все это удивительно сочетавшееся с любовной, сыновней преданностью к «почве», к корням, к отцам, к «преданию старины», к быту, к исконному и родному Православию.

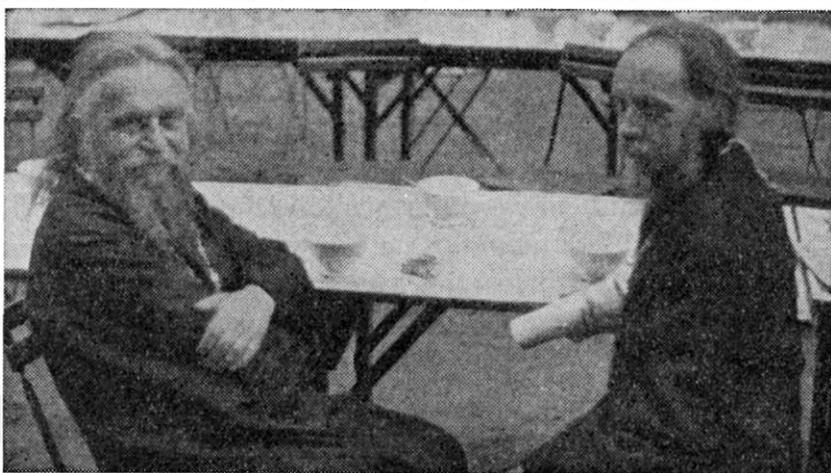
Если для движущихся бесшумным председателем, организатором и «папашей» был дорогой «Вас-Ва» (будущий протопресвитер отец Василий Зеньковский), если их священником, «батюшкой» и молитвенником, со своими незабываемыми, глубокими черными глазами, был смиренный и гнущийся отец Сергей Четвериков, то вдохновителем и окрылителем Движения всегда — с Пшеровой, Хопова и Аржерона до самой своей смерти — был отец Сергей Булгаков.

Через него, в его лице, как в основном вдохновителе и руководителе двух движений — Русского Студенческого Христианского Движения в эмиграции и предреволюционного Религиозного Возрождения в России — оба движения сроднились, чтобы не сказать слились.

Через отца Сергия Булгакова наше Р.С.Х.Движение так же сроднилось со всемирным Движением Экуменическим, и было (вплоть до недавнего вступления в него родной, подсоветской Церкви) единственным голосом русского православия, звучавшим во всеуслышание инославных христиан. Движенцы, тысячами своих делегатов участвовавшие на экуменических съездах мира всегда имели радость сознавать, что с ними и во главе их находится такой светоч религиозной мысли как Булгаков.

Через отца Сергия, бывшего одновременно и духовным руководителем Движения и главой свято-Сергиевской Духовной

Академии в Париже, эти две религиозные сестры, почти однолетки, любили друг друга и чувствовали себя членами одной родной семьи — даже если и не иметь в виду того, что многие члены студенческого Движения были вместе с тем и студентами Сергиевской Академии, а многие профессора последней были учителями и ответственными руководителями кружков и съездов Движения.



Отец Сергий Булгаков и о. Сергий Четвериков  
(на Съезде Р.С.Х.Д.)

Это соединение в одном лице отца Сергия и возглавителя Религиозного Возрождения начала века в России, а потом и в эмиграции (в Движении студенческой молодежи), соединение в одном лице и участника знаменательного в истории Русской Церкви Собора 17-го года, восстановившего патриаршество на Руси и вместе с тем участника и возглавителя всех наших религиозных съездов молодежи за границей,

это соединение в его лице и авторитетного голоса Православия пред христианским миром на всемирных экуменических съездах и его руководящая роль в движении к Православной Церкви русского студенчества за границей,

это соединение в одном лице и величайшего русского богослова, бывшего профессором **единственной** в мире православной русской Академии в Париже (во дни революционного лихолетия на Родине), с руководством светской организации «христианских мальчиков и девочек»,

все эти соединения в одном лице отца Сергия знаменательны и символичны для характеристики его религиозного пафоса, его основной глубинной идеи **«БОГ И МИР»**.

Значение отца Сергия в том, что по образу Халкидонского соединения в своем богословии он соединял духовное с телесным, религиозное со светским, трансцендентное с имманентным, апофатическое с катафатическим, метафизическое с историческим, вечное с временным, абсолютное с относительным, онтологическое с экзистенциальным.

**«БОГ И МИР»** — было для отца Сергия не только грамматическим предложением, но символом соотношения религиозной сущности вещей — причем, замечательно то, что в этом предложении **«БОГ И МИР»** отец Сергий обращал свое внимание не только на оба подлежащих, но так же и на союз **«И»**. В этом он был софиологом. (\*)

Большое значение для движенцев — бывших детьми русских политических эмигрантов — имел тот факт, что их религиозный вождь богослов и духовник, сам пришел к Церкви «из страны далекой», из той идеологической страны, флюидами которой была отравлена и разрушена многострадальная Родина их отцов-эмигрантов. Критика интеллигентской нерелигиозности, засвидетельствованная в трудах пришедшего к Церкви бывшего марксиста (\*\*), была весьма веской и убедительной в устах говорившего *en connaissance de cause* профессора политической

(\*) Кстати сказать — а об этом только и можно сказать «кстати», «между прочим», не выделяя, не акцентируя *pars pro toto*, не делая из мухи слона — что существует объективно-православная софиология, а есть, и вполне законно (с православной точки зрения) может быть субъективное «софианство», которые не следует смешивать одно с другим. В то время как софиология есть неотделимая часть объективно-православной теологии, «софианство» есть один из допустимых для православных теологов теологуменов. К сожалению, и в силу своего собственного литературного темперамента, не достаточно отделявшего субъективные мысли от объективных, и, главным образом в силу невежества, недоброжелательности и косности мышления некоторых современников, это различие объективного от субъективного не всегда делалось читателями Булгакова! Но спросим себя: во избежание соблазна для «малых сих», нужно ли Православной Церкви брать пример от католиков, которые, боясь, чтобы простые, неосведомленные читатели не приняли теологумена за официальную, католическую теологию, завели у себя знаменитый *index*?!

(\*\*) «От марксизма к идеализму», «Два града», «Свет невечерний»...

экономии Булгакова, т. е. человека прошедшего самолично через огонь и воду скепсиса. Вообще, Русское Религиозное Возрождение характерно тем, что участники его, в большинстве случаев, были людьми пережившими обращение ко Христу, а не получившими свою веру по наследству.

Хотя политикой Движение не занималось и было всегда «аполитичным», тем не менее социальный вопрос, как входящий частично в религиозную проблематику, конечно интересовал и не мог не интересовать членов религиозного Движения. И об этом много поучительного могли сказать молодым движенцам такие люди, как прошедшие через соблазн марксизма Бердяев, Франк и Булгаков.

13-го июня 1944 г. Движение осиротело. Ушел из временной жизни его незабываемый священно-вдохновитель и пророк. Появилась новая смена движенцев и с нею пришли новые интересы и встали новые практические задачи, но дух Движения, дух религиозной свежести, весенней энергии и пламенной православной веры не оскудеет в Движении до тех пор, пока жива будет в памяти личность и духовное обаяние его вождя.

И если Движению суждено будет иметь какое-то значение для Православной Церкви в будущем (история это покажет), то это будет не без связи с приснопамятным отцом Сергием Булгаковым.

## МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

### ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЖИЗНИ

(М. О. Гершензон. «Письма к брату»)

...но помешал Булгаков, который пришел в 9 1/2 ч. Приехал в ажитации специально для того, чтобы посоветоваться насчет того, какую цену поставить на своей книжке. Он написал этой зимой, необыкновенно быстро, книжку в 16 1/2 листов (правда маленьких) о рынках при капиталистической форме производства, начал печатать ее 10 янв. и сегодня подписал уже последний лист. Издает Водовозова, и у них идет борьба великодуший: она хочет заплатить ему 800, и тогда, чтобы у нее не было убытков, за книжку надо назначить 1 р. 25 коп., что непомерно много. Мы целый час считали и пришли к заключению, чтобы он взял только 600 р. и книжку пустил по 1 р. 25 коп. Еще вопрос пропустит ли цензура. ...Булгаков только сейчас ушел, а мне давно пора спать. Его, на-днях, вероятно, утвердят, как преподавателя политич. экон. в техническ. институте.

28 янв. 1897 12 3/4 ночи

Вторн. 7 час. Сейчас получил письмо от Булгакова, письмо, которым я буду гордиться и которое переписываю вам, как лучшую характеристику этого замечательного ума и редкого сердца.

«Дорогой М. О.! Здесь были Калмыкова с Семеновым и мы вместе пытались привлечь к журналу имена многих «славных русских лиц», но почти везде получили нос. Имя одного из славных еврейских лиц — Гершензона — с дозволения последнего отдал для пропечатания и на обложке в качестве сотрудника (рецензента и автора статей). Если, паче чаяния, Вы забрыкаетесь, черкните. — Сейчас уезжаю в Ливны до пятницы. Один брат безнадежен здесь, у другого, кажется, та же болезнь там. Вот что: позондируйте почву у Виноградова, согласится ли он дать свое имя на обложку журнала? Предоставляю все Вашему такту; в случае его благосклонности, обращусь к нему официально от имени Нов. Слова. Предполагается сделать попытку привлечь ряд имен, напр., М. Ковалевского и под. Конечно, эти имена не будут выражать направление, но для большой публики известного сорта они важны. Нужно будет поговорить с Петрушевским и К. Хотя они почти безнадежны в качестве рецензентов или авторов статей

по экономич. истории. — О результатах переговоров с Виногр. которые, пожалуйста, не откладывайте в долгий ящик, черкните мне немедленно.

Про себя и писать не хочется: настолько тошнехонько. Консилиум подтвердил безнадежное состояние этого брата, и я еду домой ангелом смерти за родителями и не знаю, не безнадежен ли и второй брат. Обнимаю Вас. Ваш Булгаков».

А сам едва держится на ногах, лихорадочный румянец на щеках, лихорадочно работает, точно торопясь выразить побольше перед близкой смертью. Пока здоров, но наследственность — алкоголизм и туберкулез.

15 - 20 апреля 1897 г.

...Сейчас приходил Булгаков, принес свои «Рынки»; они вчера выпущены цензурой и за ночь ему сброшюровали 3 экз. — один отдал жене, другой мне, третий Михайловскому. Дрожит, как в лихорадке. У него, кажется, голова кружится от избытка удач. Сегодня обедаю у него.

Воскр. 25 янв. 1898 11 часов утра



Слева направо: Е. И. Булгакова, Сергей Н. Булгаков, отец, брат и мать с детьми С. Булгакова Федором и Мариєю. Ливны 1904 г.

## ИЗ ПЕРЕПИСКИ о. СЕРГИЯ БИЛГАКОВА с Л. А. и В. А. ЗАНДЕР

Муж и я встретились с о. Сергием вскоре после его высылки из России и приезда за границу. В начале 1923 г. он прожил некоторое время в Константинополе перед своим переездом в Прагу. Как я жалела впоследствии, что не удалось в то время поговорить с ним о его посещении храма Айя-Софии! О впечатлении своем он написал заметку в своей записной книжке, которая была напечатана в посмертном издании 1946 г. (\*) Как и о. Сергей я почувствовала в Айе-Софии нечто “свое” и не раз заходила туда помолиться, когда жила с родителями в Стамбуле. Но о. Сергия я увидела впервые, еще не будучи с ним знакома, в другом храме, св. Николая Чудотворца (в Харбие), разрушенного турками после вступления в город Кемаля (\*\*).

Я состояла в сестричестве, несла дежурства при храме и находилась в нем, когда, быстрыми шагами, вошел в него, не взглянув на меня, незнакомый священник и прошел прямо в алтарь, хотя службы в это время не было. Через некоторое время, он так же быстро вышел, точно погруженный в свои думы. Поразило меня тогда сочетание какой-то окрыленности его движений и строгости, почти суровости, его лица. Вероятно это мимолетное посещение церкви произошло перед самым его отъездом в Прагу. В это время в Праге уже находился мой будущий муж (о чем я тогда не знала, т. к. встретились мы с ним, после шести лет отсутствия сведений друг о друге, только в конце 1923 г. в Париже), Лев Александрович Зандер, только что тогда приехавший из Дальнего Востока. Он, еще по Петербургу, слышал об С. Н. Булгакове, читал его статьи, вышедшие в России до революции и, встретив его в Праге, сразу же обрел в нем своего духовного руководителя, которому он верно служил всю свою жизнь.

Я же “по настоящему” встретила с о. Сергием на студенческом съезде в Аржероне в июле 1924 г., а 8 августа того же года он меня с Львом Ал. обвенчал в Клармарской церкви, построенной трудами друга о. Сергия, кн. Григория Ник. Трубецкого и настоятелем которой был тогда мой отец, о. Александр Калашников.

Осенью 1925 г. о. Сергей с семьей и мы с мужем обосновались в Париже, где, к тому времени, был создан Богословский Институт. О. Сергей был приглашен занять в нем кафедру богословия в связи с чем, в последующие годы, ему пришлось вынести много несправедливых нападок из-за несогласия с его “теологуменами” инакомыслящих, часто даже не читавших его произведений, а судивших о них только по наслышке. Вскоре в Институте начал преподавать и Л. А. Зандер и на нашей квар-

(\*) Прот. Сергей Булгаков. Автобиографические заметки. (посмертное издание). Предисловие и примечания Л. А. Зандера. ИМКА-Пресс, Париж 1946.

(\*\*) В том же 1923 г. и в том же храме служил в Духов день мой отец (о. Александр Калашников) после своего рукоположения.

тире о. Сергей собирал профессоров Института и людей интересующихся богословием для проведения семинаров, посвященных богословским вопросам. Со времени этих встреч и бесед с о. Сергием, стала все более укрепляться наша дружеская и духовная связь с ним. Как мы с мужем, так и мои родители и сестра Наташа избрали отца Сергия нашим духовным отцом, а он, в свою очередь, назвал моего отца своим "аввой" и регулярно ездил к нему исповедываться.

Во время нашего трехлетнего пребывания в Прибалтике (где Л. А. Зандер вел миссионерскую работу среди молодежи) и летних каникул мы часто переписывались с о. Сергием и переписка эта длилась почти двадцать лет, до самой смерти о. Сергия в 1944 г. После его кончины мне передали многие, трогательно им сохраненные, письма от нас, кроме тех, носивших духовнический характер, которые мы его просили уничтожить. Также и мы хранили его письма, и теперь, на склоне своих лет, я предполагаю возможным частью этой переписки поделиться с теми, кому дорог образ о. Сергия, скрывавший под, иногда, суровой внешностью, нежную, чуткую и отзывчивую душу. Для этой переписки он жертвовал своим драгоценным временем и называл свою переписку с духовными детьми "эпистолярным богословием".

6/19 - IX - 1928

Дорогая дочь Валентина!

Был очень тронут Вашим милым и добрым письмом и благодарю за него. Спасибо Вам за описание Вашего переживания. Вам, вероятно, известно, что мы с Л. А. молились в это время в Успенском приделе. Что мне сказать в ответ на Ваши любящие обо мне мысли? Зная, что и в грязной луже отражается солнце, внемлю тому отражению, которое Вы видите. И скажу, что, во-первых, Вы, вероятно, правы в том, как мало во мне отцовства, всяческого, и духовного, но, во-вторых, Вы все же поразили меня тем ведением Отчей Ипостаси, которое Вам дано было в мгновение. Я вообще впервые встречаюсь с религиозным опытом такого типа, и, конечно, стараюсь им назидаться.

Конечно, Отчая Ипостась есть не только Отцовство, но и Начало, которое в Себе не открывается (а лишь в Сыне и Духе), оставаясь трансцендентным, однако есть Отец, прежде всего Единородного Сына, а затем и всякого блудного сына к нему приходящего. Для меня всегда бывает некоторое торжество при возгласении (перед Отче наш) «небесного Бога Отца» и первых слов молитвы Господней.



о. Сергей Булгаков в Крыму. 1918 г.

Светлая Среда 29 г.

...Те соображения относительно женского служения в отношении к ангельскому я могу принять лишь в том условном и ограниченном смысле, в каком Вы его и сами выражаете, — жена как помощница, ибо не добро быть человеку **едину**. Для того, кто остается один в человеческом смысле, ангел является выводящим из единства... Впрочем, об этом я достаточно говорю в книге. Я сделал свое дело и теперь уже перехожу к другим мыслям и задачам. До сих пор не чувствую, чтобы книга была особенно замечена, да этого не ждал и не притязал. Но я имею несколько совершенно замечательных по пламенности писем, которые свидетельствуют, как касается их сердец ангельский мир, но и сами эти люди, по своему, тоже замечательные. Ваше письмо я отношу к числу этих англологических документов. Спасибо Вам.

Мы закончили в этом году софиологический семинар. Не знаю, будет ли он повторяться и продолжаться. Едва ли. Но я не имею оснований быть им недовольным. Были острые вопросы, иногда высекались какие-то искры, вообще чувствовалось пламя

догматической жизни. По нынешним временам за это надо благодарить Бога.

Очень я воодушевлен по обычаю поездкой в Англию на конференцию. Всякий раз у меня от нее вырастают крылья, которые затем куда-то, конечно, исчезают...

Сегодня на прогулке, чрез зеленую сетку ветвей, так прозрачно было присутствие ангелов, эту красоту блюдущих и творящих...

29 - XII - 1929

Дорогие мои Валя и Лева,

...В нашей академической жизни все относительно благополучно, но все стало сложнее и труднее, хотя может быть и благодатнее, потому что Владыка несет с собой начало не закона, а благодати, перед которым мы чувствуем себя сморщенными законом... что и это начало «благодати» не в состоянии расшатать. Но, конечно, невозможно учесть, насколько положительного вносит присутствие человека, у которого доброта граничит, с одной стороны, со святостью, а с другой, с безответственностью. Я лично всегда чувствую себя постыженным первым и нередко искушаемым вторым. На софийные темы долго не приходилось разговаривать, но Владыка иногда заходит на мой имяславческий семинар (Владыка ведь имяславец, хотя это и соединяется у него со софиоборством). Семинар состоит в том, что я прочитываю большую часть своей книги об Имени Божиим, причем она оказалась лучше и более поддающейся демонстрации чем я думал...

8 - VIII - 1933

Дорогая Валя, я еще не поблагодарил тебя за твои приветственные строки ко дню преп. Сергия...

...У меня такое чувство, что он — наш, нашего духа. Может быть, это духовное самомнение, может быть негоже мерить великих святых нашим аршином, но ведь и делаем это непрестанно. Но невольно хочется, во имя христианской свободы и культуры... верить, что все, о чем мы мечтаем, думаем, делаем, имеет на себе и его благословение. Ибо Угодник наш был муж свободного, творческого духа... и его послушание было самоотвергающаяся любовь и забота, а его созерцание — Св. Троица и София-Премудрость

Божия. Нужно это расслышать через века и ощутить тот источник вдохновения, которым жила от него вся Сергиевская эпоха. Из твоего письма, как всегда, звучит чистая и кроткая музыка любви и вдохновенности.

Твое видение Страшного Суда замечательно своей детскостью, без которой не войти в Царство Божие: «...перекрестила девочку и пошла...» У меня нет такой светлой наивности (когда-то я имел апокалиптический сон о конце мира, когда светила опустились над головами как... лампы, но помню самое чувство). Конечно, имею, хотя и немощное, чувство страха Страшного Суда, стыда пред Господом и всеми людьми и больше всего от недостатка любви, грехов делания и — особенно почему-то — неделания: все станут пред глазами кого мы должны были возлюбить и не возлюбили... Это как «предварительный суд» по смерти и даже самый час смертный. А вот эсхатологический Страшный Суд — он уходит все дальше и глубже — в область духовных символов...

Я здесь живу среди зеленых шатров, лугов и полей, наслаждаюсь и восстанавливаюсь. Совестно, что как будто тупею и вне жизни, в глубине реки, но вместе и собираюсь с мыслями и, если позволено так выразиться, духовно зачинаю, хотя и дается это все труднее и скуднее «в это прочее лето живота». Предаюсь созерцаньям о Духе Святом среди природы, которая есть Его царство.

...Через две недели возвращаюсь в Париж и кажется, что уже давно-давно провел в отрыве от жизни под зеленой кущей... Конечно, такое уединение дает место для молитвенного сосредоточения. Но с ним фактически спорит богословское напряжение, которое тоже принадлежит к богомыслию. Так и барахтаюсь, как и всегда, между двумя центрами, которые, конечно, суть один, но он в такой глубине, что не ощутишь...

Дорогие В. и Л.

2-VII-1935

...Конференция Fellowship (\*) была трудна... Но вдруг совершилось чудо и я почувствовал с очевидностью какая динамика в proposal об intercommunion и как все, даже в борьбе против, передвинулось.

В окончательном итоге было признано, что мы уже одно, и хотя отвергнуты немедленно практические шаги, но мы находи-

(\*) Содружество св. Сергия и св. Албания устраивало в Англии (и до сих пор устраивает) ежегодные съезды, на которых участвовали англикане, пресвитериане, католики и православные.

лись уже в состоянии **духовного intercommunion**. Я вытянул за уши подлинное значение этой идеи, которая была неосторожно выдвинута в полемике и на следующей конференции предложил **богословское** выяснение этого единства, частью уже это сделал в своей речи. Кроме того, было выражено желание, чтобы на следующей конференции было особое моление с выражением *repentance* о существующем разделении и подал пример особо составленной молитвы, читанной мною на вечерне... Так что, принципиально ворота открыты. Для меня это как «ныне отпускаеши».

8 - VIII - 1936

Дорогой Лев Александрович, только что прочел присланный Вами очерк. Он для меня нов и интересен. Конечно, мне не следовало бы читать предварительно эти страницы (в защиту богословия о. Сергия по-английски. В. З.), как меня и моего дела касающиеся, и так сказать апробировать те слова любви ко мне, на которые можно отвечать только благодарной любовью, но не отсылкой их для печати. Но, в то же время, я понимаю то громадное чувство ответственности Вашего изложения. Я благодарю Бога за Вашу верность не мне, а тому, что со мною связано — вот, что я могу сказать. Я нахожу Вашу работу превосходной в отношении к поставленной ею задаче, — открыть глаза иностранцам на смысл того, что в русской мысли сейчас происходит. И Вы делаете это с таким искусством, с таким даром простоты в изложении (недаром я Вас считал всегда педагогом *par excellence*) и (конечно, я должен здесь отвлекаться от того, что меня лично касается, это выше моей компетенции) с таким тактом, что я считаю Ваш очерк полезным вкладом в наше общее дело. Может быть он поможет и продвинуть в печатание английской софиологии.

...Вы подходите со стороны «Света Невечернего», а я теперь иду со стороны триадологии, но Вы об этом же и говорите. Polemические места достойны и сильны. Между прочим, наша фактическая православная космология есть малограмотный томизм. Это лето, в связи с ходом своего преподавания, я фактически занимаюсь томизмом. Это очень *Saure Arbeit*, но и очень поучительно как с точки зрения отрицательной, так сказать, софиологии и проблематики, так и сама по себе. И, насколько можно придать какое-либо богословское выражение среднему православному мировоззрению, это есть смесь... томизма с бартианством. Однако томизм имеет для себя право на существование хотя бы в силу

того колоссального труда мысли, который в него вложен и сверхъестественной универсальности его творца, а у нас... В сущности вульгаризованный томизм господствует и в англиканстве и есть вообще некоторая средняя линия благочестивой мысли...

28 - VIII - 1936

Дорогой Л. А., посылаю обратно Вашу статью. (\*) Она мне очень по душе пришлась и вообще такого об экуменическом движении нигде не было написано, фактически практикуется или протестантствующий интерконфессионализм, или... цинизм (боюсь, среди православных больше). Вы же поставили вопрос искренно, смело и прямо. Посвящение (хотя оно тактически и противопоказуется) приемлемо с любовью, ибо вижу здесь действительно свое: *Sergius per Leonem*, не в смысле заимствования (потому что я никогда такой статьи не задумывал), но общего вдохновения, в связи с Вашим личным, исключительным опытом. Конечно, будет вой. Но дерзайте убо, дерзайте, людие Божи.

Несколько словесных поправок, если позволите, большей частью по соображениям стилистическим...

Больше всего я возражаю против выражения «христоносец», «христоншение» (стр. 10, 11, 12). Воля Ваша, но это звучит коряво и напоминает не только орденосец или крестосец, но и другие «носцы» (помните эпиграмму на Победоносцева?)... Поэтому можно заменить: жизнь во Христе, облечение во Христа, явление лика Христова. Выбирайте сами, но, уверяю Вас, что христоншение или христофория, которое Вам дорого по мысли, для глаза и уха трудно.

Любящий и благодарный о. Сергей

Следует сделать вставку на стр. 23 об оправославлении экуменического движения, что-либо вроде моего написанного; или напишите сами.

17-IV-1939 г., Л. А. Зандер был в клинике у о. Сергия, который карандашом написал на листке бумаги:

«Можешь ли дерзать? Нельзя, если Бог не дает.»

И далее описывает свои переживания:

(\*) Об экуменизме.

«В 1925 г. я умирал, видел свет и тайну смерти, а здесь смерти не было, а была лишь тьма не-жизни, — Христово умирание с Ним: положиша Мя в рове преисподнем, в тьме и сени смертной.

Вскую оставил, — вот что было.

Физически я был, конечно, на грани смерти, но не умирая, а только превозмогая полу-человеческие страдания, без откровения, и это было самое страшное и смертное. Конечно, смерть принесла бы свою радость и свой суд, но этого не было. Странная перестановка откровений: 1939 - 1925. В 1925 тебя здесь не было. Такие были бездны богооставленности, — так раскрывались эти стороны Христовой страсти. Пасхи у меня не было... Все это я говорю не чтобы утратить, но чтобы показать торжество. «Розового христианства» не приемлю. Это я и хотел сказать тебе и всем кого люблю, как откровение.

Но как я всех любил там, даже до удивления. Помочь мне никто не мог (вскую оставил). А затем, конечно, это страшное испытание — немота. А твой образец со мной.

Я думаю: Какие бы нечеловеческие муки я испытывал, если бы был так отлучен от всего год назад, а теперь у меня мир и радость, как будто мне самому ничего не нужно... Как Наташа, мальчик? Благословляю всех. Что будет, не знаю, но отдаю себя в руки Божии. Через 4-5 месяцев, вероятно, какой-то кусочек голоса вернется, но хуже чем было не будет... Господь послал свой свет и радость такие, что большего не надо и столько любви, столько любви я вижу, в какой-то атмосфере любви живу...

от Л. А. Зандер (1939-й г.)

...«приходят успокоительные известия, что все протекает нормально. Повсюду слышна молитва о Вас, повсюду видишь какое чувство любви Вас окружает.

Вам приятно будет узнать, что Митрополит окончательно дал согласие возглавить комитет по изданию Невесты Агнца. Согласие свое дал о. Сергей Четвериков — без колебаний и сомнений — сразу. При этом он сказал мне: «...нас соединяют с о. Сергием связи более глубокие, чем могущие быть богословские разногласия». И добавил, что если разногласия и есть богословского интереса и значительности, от этого Ваши труды не теряют; что он с величайшим интересом их читает...

\*\*

от Л. А. Зандер

...Комитет составлен. В него вошли: Митрополит Евлогий, о. С. Четвериков, о. Кассиан, Fr. Curtis, м. Мария, Бердяев, Вейдле, Вышеславцев, Dobbie-Bateman, Вас. Вас. [Зеньковский], Карташев, Н. Зернов, Лаури, Лаговский, Мочульский, Пьянов, Руднев, Федоров, Андерсон, о. Цанков. Подписанная этими именами составлена листовка. Андерсон обещал эту листовку напечатать. Книга может выйти к концу года...

...Какая радость будет Вам возвращение на горку преп. Сергия из места мучения и тоски.

\*  
\*\*

Письмо отца Сергия из госпиталя В. и Л. Зандер

Благодарю Господа моего милующего нас и спасающего. Благо мне, яко смирил мя еси.

Милые мои, любимые друзья и чада, каким светом в глубокой тьме были мысли о вас, когда они проникали в затемненное сознание. Какой радостью благодатной были мне твои письма, Лева, как свет с неба, мне давал Господь такие светлы. Какой опорой для меня в трудном моем положении является ваша верность и помощь. Какой лаской приносятся твои, Валя, любовь и молитва.

Отдаю себя в руки Божии и уповаю на Него. Слава Всевышнему, слава!

1 - X - 1939

Дорогой Лева,

...Вынужденная разлученность, как это я знал и заранее, а на опыте узнаю теперь, есть одна из тяжелых особенностей нашего положения при наличии легальных препятствий к переезду и медленности почтовых сношений. Но теперь ни на что жаловаться не приходится, всем послано испытание... Я живу в природе и это, конечно, много облегчает мое здесь сидение, вместе с доброй молитвенной атмосферой и преданностью моих близких друзей. Страдаю от безкнижия, вернее начинаю страдать. Чтобы убивать время и, по неисправимой привычке, пишу (\*) и, конечно, думаю,

(\*) В это время о. Сергей писал свою автобиографию и о софиологии войны и кое-что давал нам на прочтение.

сверляще думаю о происходящем, — *sit venia verbo*, — о софийной проблематике войны, ибо на попроще софиологии «нельзя нам отступать». Пишу, конечно, без всякой мысли о практическом употреблении. Просто думаю с пером в руках, чувствую даже и необходимость самому себе как-то ответить. Я думаю, что остаюсь в этом все-таки самим собой. О завтрашнем дне своем приходится просто не думать. Такое время. В этом контексте я воспринимаю и твою дружескую заботу о поселении меня в Англии. Я не знаю, что будет чрез некоторое время в плане трехлетней войны, но пока теперь я решительно не могу принять этого плана. За него собственно говорит только один, хотя и серьезный аргумент: именно библиотечный. Но для этого нужен именно *Mirfield* с его ужасным климатом и суровым режимом (я ведь его знаю). А между тем разлученность с семьей делает это пребывание невыносимым и оставит библиотеку неиспользованной. Но, прежде всего, я нуждаюсь в медицинском уходе за горловой трубкой и, на некоторое время — просто не могу без этого физически существовать. Далее, я нуждаюсь в разного рода уходе, потому что остаюсь полубольным, в соответственном столе (при катастрофическом сейчас и пока непоправимом беззубии). Я не могу со своим вокальным серебряным аппаратом говорить по-английски вообще и с какой-нибудь надеждой на понимание в частности, и это создает очень удручающую психологию. Наконец, я не могу жить без церкви, а теперь я уже начинаю служить, даже литургию, что дает, — конечно не другим, но мне самому —, совершенно исключительную поддержку и радость. Взвешивая все это, я остаюсь здесь на волю Божию. Очень меня заботят и волнуют всякие институтские дела и особенно судьба персонала... И тем не менее я испытал большое удовлетворение от того, что Богословский институт не ликвидирован, пусть будет *exhaustion*, но не самоубийство...

\*\*

16/29 - IX - 1942

Дорогие...

...Духовное же мое гурманство опять составил твой последний этюд, который я перечитал с большим признанием и даже волнением....

Ты выразил и мое собственное чувство, говоря, что Достоевский является скорее поводом для размышлений о ому (и оми-)

усянстве, его собственная духовная зрелость не соответствует его гениальности...

...Несмелова я читал с почтением и назиданием, но интимно не был с ним связан. Светлая жертва клерикального рабства, он должен был молчать о самом для себя дорогом и существенном, об апокатастасисе, он был последователем св. Григория Нисского, то самое, до чего я «своим умом» дошел и теперь распространяюсь в Невесте Агнца без всяких *scrupules*. «Ходит птичка весело»... Достоевского я все-таки здорово забыл, а перечитывать некогда и, правду сказать, не нашел бы вдохновения, — читать так сплошь, как надо, чтобы быть *au courant*. Интересно тебе будет прочитать том К. В. Мочульского, но он задерживается печатанием. Трогаюсь ночными думами нежной души Валиной. Она (душа) ведет с миром свой собственный разговор, а он с нею. А я умею только страдать, если не о всех и за вся, конечно, то о многих и многом. Слава Богу!...

Радуюсь и люблюсь на твой, Лева, подъем творческих сил, в такой мере я его в тебе еще не наблюдал. Бог в помощь.

23-го октября Л. А. Зандер начал книгу об о. Сергии «Бог и мир».

22 - IX/5 - X - 1942

Дорогая Валя, сегодня получил твое письмо...

...Прежде всего, о житии преп. Серафима, которое я читал дважды с большим вниманием и умилением, так что и ночью и днем этим чтением в известном смысле бредил, таково было впечатление. Чувствуется, что ты вжилась в этот образ, а также и как поработала. Это относится к тому, как это сделано и что показано. Так можно и должно писать подобные вещи. Замечания же мои *ad hoc*, как я уже говорил Лева, от традиции: вне житийного обрамления выходит несколько фольклорно, ...но это, повторяю, не упраздняет литературные и духовные достоинства твоей вещи. И кроме того, это необходимый опыт на очень трудном и важном пути...

Приближается начало семестра... Я все-таки оставил за собой часть лекций и имею желание расширить свою долю участия в преподавании, насколько смогу. Очень тяжело это внутреннее бездействие, да и создает для меня ложное положение. Не нарадуюсь на этот дар Божий мне, — Алешу Князева. Передай Лева, что сегодня, уж в какой раз, снова утешался его лекциями, которые он приносит. Я вдруг с новой ясностью почувствовал, что этоот

дар Божий — двойной: Алеша и Лева, и не только как подвижничающий над изучением и изложением моего богословия, но и как мой сотрудник в создании моей богословской, хотя и не школы, но питомника. Я с полной ясностью увидел во всем таком отчетливом уразумении тончайших богословских проблем и учений не только его лучшую восприимчивость к ним, но и работу Левина семинара обо мне, столь настойчивую и длительную, и проникся благодарением тому, кто вел этот семинар.

С любовью отец духовный о. Сергей

17 - V - 43

Дорогая Валя, спасибо тебе за память и за письмо.

«Жуткость» прозрачности я понимаю как катастрофическую неожиданность и насильственность приближения смерти, через ее угрозу в бомбардировках, после которых остается духовная травма. (\*)

К сожалению, у меня нет точной памяти о былом и потому я не способен связать и нанизать его на одну нитку. Сам я этому пока биографически оставался чужд вследствие отсутствия опыта бомбардировок. А жуткость не ощущаю просто вследствие пережитой и переживаемой близости смерти в прошлом и настоящем. Но я держу взаперти такое личное чувство, мне как-то не до него. А что для меня важно, нужно и трудно, это найти и явить в себе «ей гряди», о чем, немотствуя, говорю в пасхальном слове. Творчество обрести есть самое трудное...

Благословляю обеих. Твой о. Сергей.

8 - VIII - 1934

Дорогой Лева,...

Здесь теперь нет, конечно, ни тишины, ни мира. Война вступает после отставки Муссолини и успехов русского оружия, кажется, в более решительную стадию, и приходится думать о недалеком уже конце войны со всей его трагикой и проблематикой.

(\*) О. Сергей на этот раз не уловил моей мысли о «жуткой прозрачности», о которой я ему говорила перед отъездом. Это касалось не страха перед бомбардировками, а того духовного трепета, который ощущается во время погруженности в молитву, когда теряешь чувство земной действительности и своей собственной телесности и стоишь перед прозрачной бездной. Но слова о. Сергия о «ей, гряди» уже дали ответ на это.

Ты знаешь мое политическое настроение, но вчера я слышал советское «товарищеское» радио, которое меня взволновало; доколе, Господи? Конечно, это официальный жаргон, но он существует. А недавно видел книгу «Религия в России» Изд. Моск. Патриархии 1942 г.; это вариант на тему «православие и самодержавие, патриотически захлебывающиеся изъявления церковно-патриотических чувств иерархов, клира и мирян, причем в предисловии утверждается, что религия при советском режиме свободна, а преследования были лишь по политическим причинам. А при этом идиллические иллюстрации народного благочестия, архиерейских митр (которые и большевизм не посшибал), так что невольно спрашиваешь себя: что же ждет нас в русской церковности?

Я выехал на 3-4 дня в деревню, подышать, а главное — помолчать. По утрам — до изнеможения, но более короткое время чем ты, пишу Апокалипсис, с величайшим неудовлетворением собой; добрался до середины. Остальное время тяну...

Сегодня рукополагаем во диакона Мелиа. (\*)

Алеша К. (\*\*) с величайшей и трогательной исправностью приносит мне свои конспекты будущих лекций, в которых с безукоризненной точностью излагает мое богословие. Господь послал мне уста...

5/18 - II - 1944

Дорогая Валя,

...(твою статью) читаю, читаю все с большим увлечением и как бы откровением. Во первых, чисто художественным: в суконом изложении летописи (о преп. Серафиме В. З.) (\*\*\*) и житийном стиле обезличиваются и гаснут духовные образы живых личностей, с их внешним обликом, голосом, характером, судьбой, у тебя же все они оживают. — Главное здесь особый дар твой — вчувствования, а потому и передачи этих образов в их собственной личной привлекательности и отличительности, так что хочется лишь одно сказать: как жаль, что так мало можно узнать о

(\*) Ныне прот. Илья Мелиа — профессор пастырского богословия в Богословском Парижском Институте.

(\*\*) Ныне прот. Алексей Князев, декан Парижского Богословского Института.

(\*\*\*) Написанная на французском языке, книга В. А. Зандер о преп. Серафиме до сих пор не напечатана.

них, но на это умолчание есть, конечно, Высшая воля. Второе — это все растущее впечатление религиозной сказки или мифа, в самом, конечно, высшем смысле, в который перерастает у тебя житие, опять-таки в силу того же твоего дара вчувствования. Я не уверен, что оно распространится и на твоих французских читателей... и еще менее уверен, что это не потонет в русской благочестивой елейности...

Настоящее откровение, питающееся той духовной связью с преп. Серафимом, которая тебе дана и задана, как основной факт твоего собственного жизненного пути, а не сочинительство, которое мне всего труднее выносить. А в третьих, ...ты удивишься тому, что я скажу, — это, с моей стороны какое-то несколько недоумевающее прислушивание и всматривание в то пророчественное явление, которое мы имеем в преп. Серафиме. Я жду конца, когда это разъяснится и откроется, как для тебя открыто, но я еще спрашиваю, — с благоговейным трепетом, но и как бы со стороны: что же все это означает? С одной стороны, эта грандиозность святости и молитвенного подвига, близости к Богу, а наряду с этим вся эта бытовая, а если хочешь, вместе и над-историческая, мифическая рамка всего этого явления, именно духовного явления, некоего в нем личного апокалипсиса, и вместе как-то вне Апокалипсиса... Надеюсь, что ты в дальнейшем дашь, если не ответ, то данные для ответа на этот вопрос, не преднамеренно, но самым делом. Но из этого ты можешь заключить, какова значительность того образа, который ты, своим пером, запечатлеваешь для мира.

Благословляю труд твой, да поможет тебе рассказать о себе сам таинственный молчальник.

Твой о. Сергей

В субботу 10 июня я ощутила как бы призыв о. Сергия и пыталась найти способ поехать в Париж, но ежедневные бомбардировки разбили железнодорожные пути и сообщение с Парижем прервалось.

В воскресенье я отправилась пешком из С-т Женевьев и, дойдя до разрытым от бомб дорогам до станции Жювизи, имела возможность попасть в случайный поезд. Приехав в Подворье и поднявшись к о. Сергию, я подошла к двери его комнаты. В это время дверь полуоткрылась и о. Сергей, лежавший до того без сознания, вдруг открыл глаза, увидел меня и поманил пальцем. Когда я подошла, он меня благословил, хотел что-то написать на бумаге, но опустил в бессилии руку и снова закрыл глаза.

В. А.

## О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ ОТЦА СЕРГИЯ

(Запись очевидца)

Это было в субботу 10. 6. 1944 г. За пять дней перед тем, в ночь с Духова дня на вторник, с отцом Сергием случился удар. Первые два дня, вторник и среду, о. Сергей еще проявлял некоторые признаки сознания и узнавал кое-кого из окружающих. В четверг сознание стало угасать, а в течение последних тридцати часов, от утра пятницы до полудня субботы, о. Сергей находился в состоянии глубокого забытья, не открывал глаз, не глотал и только тихое дыхание свидетельствовало о том, что жизнь его еще не покинула. В эти дни, следовавшие за ударом о. Сергия, все мы (\*), его окружавшие, с трепетом внимали тайне, открывавшейся там, в этом новом его бытии. Мы были перенесены в иной, дотоле нам неведомый план. Неподвижное тело о. Сергия, лежащее перед нами, было как бы мостом, соединявшим два мира — «этот» и «тот». И «тот» открывался нам в такой реальности, что «этот» начинал казаться призрачным. Земная жизнь о. Сергия так гармонично завершенная последней литургией Духова Дня, переходила в другую фазу, и нам надо было увидеть тот свет, который уготовал Господь любящим Его.

Уже тридцать часов о. Сергей не приходил в себя и не проявлял никаких признаков сознания. Духовное напряжение этих последних часов было так велико, что мы четверо, ухаживающие за о. Сергием, все вместе не отходили от него, чувствуя, что присутствуем при великом духовном торжестве и не имели силы оторваться, боясь что-то пропустить.

Было около часу дня. Лицо о. Сергия постепенно начало светлеть и озарилось таким неземным светом, что мы замерли, боясь поверить тому, что нам дано было увидеть. Ясно было, что душа о. Сергия, проходившая какие-то таинственные пути, в это мгновение приближалась к престолу Господню и была озарена светом его Славы. Почти два часа продолжалось это дивное явление, но это мог быть миг и век — время для нас остановилось.

Мы присутствовали при таком несомненном озарении Духом Святым, при таком «реальном опыте святости», который трудно было вместить.

Прошло восемнадцать дней с момента этого светоносного явления, о. Сергей еще жив и душа его проходит какие-то божественные, ей назначенные, пути, а тело томится в своей земной скованности, но как ученикам Господа дано было увидеть славу преображения, для того, чтобы понять и принять Его дальнейший крестный путь и воскресение, так и нам дано было увидеть «прославление» о. Сергея для того, чтобы вместе с ним, в смиренности и покорности, ждать часа его полного освобождения и слияния со Христом.

И верно, что уйдя ко Господу, о. Сергей нас не покинет, но умолит Бога открыть наши сердца для принятия Духа-Утешителя, дары которого так обильно на нем излились на наших глазах.

28 - VI - 1944  
2 1/2 часа ночи,  
у постели о. Сергея.

(\*) Эти четверо были: Елена Николаевна Осоргина (сконч. в 1968 г.), мать Бландина (Оболенская), Юлия Николаевна Рейтлингер (сестра Иоанна), мать Феодосия, автор этой записки. Сходные записки были составлены и тремя первыми свидетельницами, но судьба этих записей нам не известна. (Ред.)

## ИЗ НЕИЗДАННОГО

Философ

Прот. Сергей БУЛГАКОВ

### ТРАГЕДИЯ ФИЛОСОФИИ\*)

От автора.

Работа, предлагаемая вниманию читателя, написана около пяти лет тому назад (1920-1921 г.) на юге России. Хотя по содержанию она является для меня некоторым подведением итогов в области философии, но в выполнении на ней лежит печать внешних условий (о которых можно было бы многое рассказать, если бы это было здесь уместно), и особенно отразилась недостаточность литературы. Тем не менее оставляю ее в первоначальном виде, с внешней лишь корректурой.

Внутренняя тема ее — общая и с более ранними моими работами (в частности «Свет Невечерний»), — о природе отношений между философией и религией или о религиозно-интуитивных основах **всякого** философствования. Эта связь, которая для меня и ранее неизменно намечалась в общих очертаниях, здесь раскрывается более конкретно, и история новейшей философии предстает в своем подлинном религиозном естестве, как христианская ересеология, а постольку и как трагедия мысли, не находящей для себя исхода.

Различаясь по материалу и форме, как относящаяся к другой исторической эпохе, настоящая работа в сущности посвящена тому же самому предмету, и примыкает к тому же роду, что и **св. Иринея**, еп. Лионского «Против Ересей», **св. Афанасия** Александрийского «Против Язычников» и под. Догмат христианский как не только критерий, но и **мера** истинности философских построений — таков имманентный суд над философией, которым она сама себя судит в своей истории и в свете которого, по слову Гегеля, *die Weltgeschichte ist Weltgericht*.

Прага. Март 1925 год.

Глава первая.

#### О ПРИРОДЕ МЫСЛИ

Существует естественная проблематика для философской мысли, вместе с неизбежными для нее апориями, из которых она выходит ценою тяжелых жертв, впадая в односторонность «отвлеченных начал», философской ереси (если под ересью *αἵρεσις*

\*) Этот большой труд остался по-русски неизданным, после того как пражское Издательство Пламя не сочло возможным его напечатать «в связи с изменением плана».

разуметь произвольное избрание чего то одного, части вместо целого, т. е. именно односторонность). Это избрание, — ересь, определяет мотив и характер философской системы, делает ее как тезисом, так и антитезисом по отношению к другим системам и тем включает в цель диалектики мысли, в какую-то сделал попытку — и при том не неосновательную — вместить всю историю философии Гегель.

Все философские системы, которые только знает история философии, представляют собой такие «ереси», сознательные и заведомые односторонности, причем во всех них одна сторона хочет стать **всем**, распространиться на все.

Можно дать предварительный ответ на вопрос, чем вызывается такая их односторонность, или односторонность, из которой потом приходится выводить и развивать многообразие всего. Причину этом указать не трудно: она налицо. Это дух **системы** и пафос системы, а система есть не что иное, как сведение многого и всего к одному и, обратно — выведение этого всего или многого из одного. Логическая непрерывность или, что то же, непрерывное логическое выведение всего из одного, которое делает всю систему кругом около одного центра, непрерывно проходным во всех направлениях и не знающим никаких hiatus'ов или перерывов, вот задание, к которому естественно и неизбежно стремится человеческая мысль, не останавливаясь пред насильем и самообманом, обходами и иллюзиями.

Логический монизм, являющийся естественной потребностью разума — *ratio* — и уже подразумевающий возможность адекватного, непротиворечивого миропознания, составляет неустранимую черту всякой философской системы, которая смутно или отчетливо, инстинктивно или сознательно, робко или воинствующе притязает быть абсолютной философией и свой эскиз бытия рассматривает как систему мира.

И прежде всего возникает вопрос: возможна ли вообще такая монистическая система мира? Возможна ли абсолютная философия? И на чем основана такая вера разума и в свои силы и в правильность самой своей задачи?

На этот вопрос чаще всего отвечают в духе скептицизма, релятивизма, беспардонного остроумничанья à la Пилат Понтийский: что есть истина? Но не говоря уже о том, что и скептицизм есть также своего рода абсолютная философия, на весьма многое притязаящая, он противоречит самосознанию разума, его серьезности, настойчивости и неотступности, или, лучше скажем, его неизбежной проблематике. Разум не может быть поражен

скептическим гниением, ибо свои силы и свои стремления он сознает. Так велика его серьезность, что к ней не может найти доступа скептическое легкомыслие, и настоящий сознательный скептицизм есть вообще редкое явление в истории. Обычно же с ним смешивается разных оттенков релятивизм, т. е. первобытный, грубый научный догматизм, как нельзя более далекий от скептицизма (таков современный научный позитивизм).

Разум пытается и не может не пытаться новых взлетов, и однако каждый такой взлет неизбежно сопровождается и падением, и история философии есть не только рассказ об этих взлетах, но и скорбная повесть о неизбежных падениях и роковых неудачах. Пусть даже этих неудач не замечают сами творцы философских систем, себя источавшие на это усилие, остающиеся до конца жизни влюбленными в свою систему, как Шопенгауер, и воображающие что постигли саму Истину как Гегель. Тем хуже для них, потому что история вдвойне клеймит эту их слепоту и обличает иллюзии. Да и как устоять пред лицом множественности систем, в то же время утверждая абсолютную ценность своей собственной? Клеймить ли соперников как идиотов и мошенников, что делал, напр., Шопенгауер? Но это слишком дешево и обличает разве только дурной вкус и злой характер. Или же истолковать их как своих собственных предшественников, диалектически закономерных, но совершенно поглощающихся в абсолютной системе, как у Гегеля, так что вся история философии, в сущности, оказывается историей собственной философии Гегеля, диалектически развертывающейся? Это означает, без сомнения, снятие самого вопроса, но и над этим притязанием смеется дальнейшая история мысли. Каждая такая система хочет быть концом мира и завершением истории, которая однако все продолжается. Или нелепица или недоношенность — таков приговор истории философии, начертываемый ею самою над всеми усилиями разума, подобно Хроносу, пожирающему своих детей. Зрелище безутешное! От него спасает разве только ученый педантизм, находящий вкус в коллекционировании и превращающий историю философии в музей, где собраны предметы редкости и умственного изящества. Однако, если мы вспомним, что в этой кунст-камере собраны не раковины и побрякушки, но достижения высших напряжений человеческого разума, то музейная точка зрения представится нам во всей своей неуместности и даже кощунственности.

История философии есть трагедия. Это — повесть о повторяющихся падениях Икара и о новых его взлетах. Эту трагиче-

скую сторону философии, которая есть и удел каждого мыслителя, остро чувствовали некоторые умы, как Гераклит и Платон. Кант подошел к самому краю бездны в своем учении об антиномиях и остановился. Сущность трагедии состоит в том, что человек страдает здесь не индивидуальной виной, и, даже будучи прав индивидуально и подчиняясь в своих требованиях велениям свыше, он в то же время закономерно гибнет.

Философ не может не лететь, он должен подняться в эфир, но его крылья неизбежно растаивают от солнечной жары, и он падает и разбивается. Однако при этом взлете он нечто видит, и об этом видении и рассказывает в своей философии. Настоящий мыслитель, так же как и настоящий поэт (что в конечном смысле одно и то же) никогда не врет, не сочиняет, он совершенно искренен и правдив, и однако удел его — падение. Ибо он **восхотел системы**: другими словами, он захотел создать (логически) мир из себя, из своего собственного принципа — «будете как боги», — но эта логическая дедукция мира невозможна для человека. И, прежде всего, по причинам вне человеческой воли и способностей разума лежащим: мир не разумен в таком смысле, в каком хочет его постигать «дедуцирующая» философия, философская система как таковая, классическое и предельное выражение имеющая в Гегеле. Точнее, хотя в мире и царит разум, но нельзя сказать, что все действительное разумно, как думал это Гегель. Это не значит, что оно неразумно, а тем более противоразумно: действительное не только разумно, но и неразумно, и разум вовсе не есть единственный, исчерпывающий и всесильный строитель мира, каковым его невольно исповедует всякая философская система, строящая мир. В известном смысле разум имеет лишь рефлексию о мире, но он не есть его первоначало. Поэтому в постижении мира разум зависит от показаний бытия, от некоторого мистического и метафизического опыта, от чего впрочем в действительности и не отказывается философия, всегда ищущая обретения первоначала в созерцании, узрения его, открытия. И это открытие отнюдь не есть акт мысли, оно дается не мыслительным усилием, но цепью умозаключений, оно есть откровение самого мира в человеческом сознании, некое знание.

И немедленно возникает новый вопрос: знание сущего, как его самооткровение, загорается в разуме, но в состоянии ли разум освоить открывающееся и себе ассимилировать, связать его в единство, в систему? Что он это делает и не может этого не делать, это ясно само собою, такова его природа, «архитектони-

ческий его идеал», выражаясь языком Канта. Но если разум сам пуст и бессилён творить собою и из себя, то достаточно ли он силен, чтобы свести к единству, т. е. системе, все ему открывающееся? Очевидно, что если мир, действительность, есть не одно только разумное бытие, хотя и открывающееся разуму, оно не может раскрыться до конца, оно остается навсегда только раскрывающимся, по существу будучи тайной, содержащей в себе источник нового познания и откровения, и внести свет разума во все тайники вселенной, упразднить всякую тайну, сделать ее прозрачной разуму, как мнил это Гоголь, а в лице его и вся философия, не возможно. Единственный отсюда вывод — своеобразный эмпиризм, освобожденный от ограниченного и опошляющего истолкования, но взятый во всю глубину жизненного и мистического опыта.

Эмпиризм есть настоящая гносеология жизни, откровения тайн, каковым всегда является познание действительности и мышление о ней. В то же время философия никогда не может оставаться голым эмпиризмом, который, впрочем, и не возможен, потому что разум постигает связь всего со всем, приводя множественность к единству, и наоборот. Итак, разум не может сам из себя начинаться и сам из себя порождать мысль, ибо она рождается тоже в сущем и относительно сущего, в самооткровении последнего; и в то же время он самоотчетен и самозаконен в своем пути и в своем деле.

Если разум есть не первое, а второе, не изначальное и не самопорождающееся, не возникающее и рождающееся в том, что онтологически первее разума, то и сила его относительна тому, в чем он рождается, что служит для него объектом его познания.

Состояние разума, как и состояние мыслящего человека, может быть различно, иметь разные ступени. Ведь если в философии различается здравый смысл или обычный практический ум, далее рассудок и, наконец, разум (с особенной ясностью это различие сделано у Гегеля), то оказывается, что в самом разуме есть степени, и есть более и менее разумный разум: рассудок есть неразумный разум, мудрость которого является ограниченностью перед лицом разума, а в то же время он есть все-таки сила мысли, ума, одна и та же разумная стихия осуществляет себя и в разуме и в рассудке. Почему же не допустить еще и дальнейшего восхождения в заумные области, хотя бы теперь для него еще не достижимые и, однако, принципиально возмож-

ные, и сверх того, по свидетельству христианских подвижников, им не недоступные?

Иначе говоря, болезнь, порча, искажение всего человеческого существа, которым явился первородный грех, поражает и разум и делает для него невозможным, закрывая пламенным мечом херувима — антиномиями, доступ к древу райского познания. И, во всяком случае, сама мудрость требует от разума самопознания, однако не в Кантовском только смысле — разборки машины на отдельные части, чтобы их перечистить и снова собрать, но в смысле постижения реальных границ разума, которые должны быть осознаны, хотя бы разум и упирался в антиномию.

Отсюда следует, что самое основное стремление разума, — к логическому монизму, т. е. к логически связному и непрерывному истолкованию мира из одного начала, оказывается неосуществимым, и абсолютная система философии невозможной. Это, конечно, не мешает тому, что, если не возможна философия, то вполне возможно и необходимо философствование и рефлектирующая, осмысливающая работа разума сохраняет отнюдь не меньшее значение, нежели в неверной и преувеличенной его самооценке.

Разум, стремясь к монизму, к логическому созданию мира из себя, фактически совершает акт произвола, избирая из доступных для него опытных начал то или иное, и, таким образом, вступая на путь философской ереси (в выше разъясненном смысле).

Откровение о мире есть откровение Бога о себе самом. Религиозные догматы, «мифы» в смысле гносеологическом (\*), являются, вместе с тем, и проблемами для разума, которые он освоивает и осмысливает. Религиозная основа философствования есть факт, не подлежащий даже оспариванию, все равно сознается он ею или не сознается. И в этом смысле история философии может быть показана и истолкована как религиозная ересеология. Философская характеристика ереси в истории христианского богословия состоит именно в том, что сложное, многомотивное, антиномическое для разума учение упрощается, приспособляется к постижению разума, рационализируется и тем самым извращается. Все основные ереси представляют собою подобный рационализм в применении к догматам. Рационализм, как такое злоупотребление разумом, имеет источником гордость разу-

(\*) ср. мой «Свет Невечерний», введение.

ма, понимаемую не в смысле личной горделивости отдельных философов-ересеологов, но в объективном смысле — незнания им своей собственной природы, границ и состояния. Следовательно, на языке современной философии можно сказать, что философствующие ересеологи повинны в догматизме, в отсутствии критического осознания границ разума.

Есть три основных самоопределения мысли, образующих для нее исход и определяющих ее ориентацию. По этим трем рубежам разделяются все философские системы с их основными началами:

- 1) — Ипостась или личность
- 2) — Идея или идеальный образ, логос, смысл
- 3) — Субстанциальное бытие как единство всех моментов или положений бытия, как реализующееся все.

**Я есмь Нечто** (потенциально все) — эта формула, выражающая суждение, содержит в себе в сокращенном виде не только схему сущего, но потому и схему истории философии. Эту трехчленную формулу, содержащую в себе логическое триединство и тройственность моментов связывающую в нераздельность и несекость, непрестанно в разных направлениях рассекает философствующая, и в произвольности этого рассечения и избрания отдельных начал еретичествующая, мысль, и способом этого рассечения определяется стиль философствования.

В основе самосознания, так же как и всякого акта мысли, его запечатлевающего, лежит тройственность моментов, триединство, которое имеет выражение в простом типе суждения: **я есмь А**. Обобщая это в терминах логически-грамматических, подлежащее, сказуемое и связка, — можно сказать, что в основе самосознания лежит предложение. Дух есть живое, непрестанно реализующее себя предложение. Всякое подлежащее, «имя существительное» или заменяющее его слово, существует по образу и подобию местоимения первого лица, подлежащего (субъекта) по преимуществу: оно дробится и множится в бесчисленных зеркальных повторениях (\*). Местоимение первого лица, словесный мистический жест, имеет совершенно единственную в своем роде природу и является основой всякой вещи, как имени существительного. Каждое предложение можно привести к типу соединения Я с его сказуемым, даже можно сказать, что оно, имея истинным

(\*) Основные положения о слове, сюда относящиеся, развиты мною в «Философии Имени» (ИМКА-Пресс, Париж 1953).

подлежащим Я, является, все целиком, сказуемым этого Я, ибо по отношению к Я все, весь смысл есть сказуемое, и каждое суждение есть новое и новое самоопределение Я, если не по форме, то по существу. Каждое суждение онтологически приводится к общему отношению субъекта и объекта, которые суть не что иное как Я, ипостась, и его природа, раскрывающая его содержание, его сказуемое, оно не приводится в связь с подлежащим связкою бытия. В форме суждения тайна и природа мысли, ключ к уразумению философских построений. Я, самозамкнутое, находящееся на неприступном острове, к которому не достигает никакое мышление или бытие, находит в себе некоторый образ бытия, высказывается в «сказуемом», и этот образ познает как свое собственное порождение, самораскрытие, каковое и есть связка. В этом смысле вся наша жизнь, а потому и все наше мышление является непрерывно осуществляющимся предложением, есть предложение, состоящее из подлежащего, сказуемого и связки.

Но именно потому на предложении, или суждении как всеобщей и само собою подразумеваемой форме мысли, менее всего останавливалась философия, и только по-своему, в ограниченной постановке вопроса, останавливались логика и грамматика. Не заметила суждения-предложения и его универсального значения и критика Канта.

В предложении заключена сущность и образ бытия, предложение несет в себе его тайну, ибо в нем сокрыт образ троичности. По свидетельству предложения, сущностное отношение противится всякому монизму, философии тожества, которое стремится растворить все три его члена, сведя их к одному: либо к подлежащему, либо к сказуемому, либо к связке. Таким стремлением руководится всякая философская система, поскольку она есть философия тожества. Либо подлежащее, либо связку, либо сказуемое объявляет она единственным началом, и из него все выводит или к нему все приводит. Такая «дедукция» либо подлежащего из сказуемого, либо наоборот, либо того и другого из связки фактически и представляет собой главную задачу, а вместе и неразрешимую трудность для философствующей мысли, которая стремится к монизму, к сведению всего во что бы то ни стало к первоединому. Изначальное и исходное единство, отрицающее тройственную природу предложения, таков корень всякой философской системы и ее трагедия. Это единство есть не только постулат, но и исходная аксиома для мысли, и эта аксиома лежит в основе всей истории философии.

Между тем **эта аксиома неверна**, а потому и все усилия философии тщетны, и не могут не представлять собою ряда трагических неудач, притом типического характера: солнечный жар неизбежно растопляет склеенные воском крылья Икара, в каком бы направлении он ни летел. Ибо, как свидетельствует форма предложения — суждения, отражающая на себе само строение сущего, основа сущего не единична, но тройственна во единстве, триедина, и ложный монизм, притязание философии тожества, есть заблуждение, *πρότων ψεύδος* философии.

Субстанция едина и тройственна. И этой сопряженности единства и множества ее моментов ничто не может преодолеть, а потому и не должно к тому стремиться. Ипостась, лицо, я, существует, имея свою природу, т. е. постоянно сказуемое и никогда до конца не изрекаемое свое откровение, которое он и осуществляет как свое собственное бытие (в разных его оттенках или модальностях).

«Субстанция» существует не только «по себе», как подлежащее, но и «для себя», как сказуемое и притом «по себе и для себя», в связке, как бытие. И эти три начала вовсе не суть лишь диалектические моменты одного, друг друга снимающие и упраздняющиеся в синтезе, нет, это суть три одновременно и равноправно существующие, как бы корни бытия, в своей совокупности являющие жизнь субстанции.

Ипостасное Я неопределимо по самому своему существу. Будучи Я, ипостасью, каждый знает, о чем идет речь, хотя это и неизреченно (а только изрекаемо). Именно самая сущность ипостаси состоит в том, что она неопределима, неопишима, стоит за пределами слова и понятия, а потому и не может быть выражена в них, хотя и постоянно в них раскрывается. Пред лицом ипостаси приличествует молчание, возможен только немой мистический жест, который уже вторичным, рофлексивным актом — не именуется, но «вместо имени» обозначается «местоимением», я.

Неопределимость эта не есть, однако, пустота, логический нуль, напротив, ипостась есть предпосылка логического, субъект мысли. Ошибочно думать, что мысль стоит на своих ногах, держится на себе самой: она возникает и существует в том, что не есть мысль, но вместе с тем не является чуждым, иноприродным мысли, в чем рождается мысль и что она непрерывно собой обвивает.

Если где уместно и применимо Кантовское различие ноуменов и феноменов, то именно здесь, при характеристике вза-

имных отношений ипостаси и ее природы, субъекта и объекта, подлежащего и сказуемого, ибо **я**, ипостась, есть постине вещь в себе, ноумен, и она, т. е. сам дух, навеки остается трансцендентна мысли по своей природе, положению и отношению к ней.

Но трансцендентное всегда и неразрывно связано с имманентным, имманентизируется; подлежащее, ипостась, всегда открывается, высказывается в сказуемом. Само собою разумеется, ипостась в этом смысле не есть психологическое **я**, психологическая субъективность, которая является уже определением ипостаси, сказуемым, а не подлежащим: дух не психологичен, и ипостась ни в каком смысле не является психологизмом.

Ипостась не есть даже и то гносеологическое **я**, которое знает Кант как единство трансцендентальной апперцепции. И это есть лишь оболочка **я**, его «трансцендентальное» сказуемое, и ошибочно думать, чтобы неизмеримая глубина ипостасного духа сводилась к этой световой точке, к факелу познающего сознания. Об этом свидетельствует уже одно то, Кантом за всеми его критиками просмотренное обстоятельство, что **я** ипостасное, ноуменальное, есть неразложимое единство, осуществляющееся не только в познании, но и воле, чувстве, действии, во всей жизни. Оно связует собой «чистый», «практический», и эстетизирующий (оценивающий) разум.

Ипостасное **я** есть живой дух (что есть, впрочем, синоним), и его сила жизни неисчерпаема ни в каком определении. Он являет себя во времени, но сам не только превышает времени, но и самой временности. Для ипостаси не существует возникновения и гибели, начала или конца. Вневременная она вместе и сверхвременна, ей принадлежит вечность, она вечна также и в том же смысле как вечен Бог, который сам вдунул, из Себя, Дух Свой в человека при его создании.

Человек есть сын Божий и тварный бог, и образ вечности присущ ему неотъемлемо и неотторжимо. Поэтому человек не может ни помыслить, ни пожелать своего уничтожения, т. е. угашения **я** (и все попытки самоубийства представляют собой род философского недоразумения и относится не к самому **я**, но лишь к образу его существования, не к подлежащему, но к сказуемому). Ипостасное **Я** есть Субъект, Подлежащее всяких сказуемых, его жизнь есть это сказуемое, бесконечное и в ширину и в глубину.

Но не вводится ли здесь в метафизику, в качестве начала основоположного, то, что не может быть никак определено, являясь принципиально трансцендентным для мысли, не содержит

ся ли здесь недоразумения, ошибки, нелепости? Как мыслить немислимое? Как высказывать неизреченное? Разве словесно-мистический жест местоимения есть слово? Или разве **Я** есть понятие, когда оно своей единственностью и единичностью уничтожает всякое понятие, т. е. общее, идею? Вообще не встречаемся ли здесь с таким строгим критическим veto, которого может неустрашиться разве только полная философская наивность?

Такие страхи суть порождения запуганного гносеологического воображения. Они связаны с предубеждением, будто мысль имеет в себе самопорождающую силу, имеет предметом себе имманентное, т. е. самое себя: мышление, само себя мыслящее, раз и подлежащее и сказуемое.

В действительности же мысль рождается в субъекте, ее имеет ипостась и в ней постоянно себя раскрывает. Только то является за пределами мысли и, как вполне ей трансцендентное, есть нуль для мысли, т. е. вовсе не существует, что вполне и всецело трансцендентно. Но такая трансцендентность есть не более как математический предел, никогда не реализуемый мыслью, и *Ding an sich*, вещь в себе есть все-таки *то νόβμενον*, мыслимость. То, что мыслью мыслится как трансцендентное, есть именно то, что — **не-мысль** и в этом смысле является ей иноприродно, а однако вместе с тем и родственно, доступно, раскрывается в ней.

Вообще трансцендентность есть понятие, соотносительное имманентности, и в этом значении можно считать трансцендентным тот предмет мысли, которым и является ее субъект, ипостась, подлежащее. Трансцендентно мысли не то, что немисливо, как противоречащее ей, ее разрывающее и уничтожающее (да это и не существует для мысли, есть для нее «тьма крошечная», чистый нуль), но то, что есть не-мысль, точнее не только мысль, и однако реализуется мыслью. В этой проблеме трансцендентности заключается, как мы видим, вообще проблема мыслимости предмета мысли. Можно как угодно расширять область категориального синтеза и видеть в вещах категории мысли, но этот основной вопрос о мыслимости того, что не есть мысль или не есть только мысль, сохраняет всю свою силу и лишь перемещается в другое место.

Ясно, что своими силами мысль не может дать ответа на вопрос о том, каким образом трансцендентное мыслится, и то, что **не-мысль**, входит в мысль, становится мыслимым, каким образом свет логоса разливается в области, доселе совершенно чуждой света, и сетью логики, категориальными синтезами уловляется

материя мысли. Здесь имеет место некоторое до-логическое констатирование, проходит межа мысли, отделяющая ее от того, что не-мысль.

Итак, в основе мысли лежит жизненный акт, свидетельствуемый живым образом мысли, т. е. предложением, и этот акт имеет три момента, взаимно связанных, но один к другому не сводимых. Моменты эти: чистая ипостасность Я, субъект, подлежащее, природа Я, раскрывающая себя в нем и пред ним, — сказуемое, и самопознание, самоотнесение себя к своей собственной природе, акт реализации себя в своей собственной природе, бытие или связка, жизненное самопознание и самоутверждение Я. Вечное Я имеет своим сказуемым потенциальное все или мир, и в акте этого сознания живет, сознает свое бытие. Ипостась — мыслительный образ, бытие (природа) — таково триединство субстанции, ее статика и динамика, а мысль в этом триединстве есть сказуемое, и только сказуемое. Все три члена взаимно неразрешимы, ибо ипостась не мыслима в отрыве от своей природы, как и всякая субстанциальная природа не существует вне обладающей ею ипостаси, а это обладание, ее раскрытие, есть акт бытия, есть вообще бытие, жизнь, каковая поэтому отнюдь не является понятием или логическим определением, хотя и вплотную соприкасается с логическим.

Поэтому сущее есть *præius*, стоит прежде бытия или существующего; существование есть постоянно совершающийся синтез ипостаси с ее собственной природой, самораскрытие в акте бытия. Определения субстанции всегда искала философская мысль и не находила. Это потому, что (если не считать христианской догматики с ее учением о троичности) она искала дурного, отвлеченного единства — простую и единую субстанциальность. Все усилия логического монизма, который определяет собою задание для философских систем и есть всеобщая подразумеваемая их аксиома, сводятся к сведению тройственности моментов, триединства субстанции, к единству, мысль стремится ассимилировать себе то, что лежит в основе мысли и однако недомыслимо или, на логическом языке, иррационально, есть в своем роде  $\sqrt{2}$ .

Основным «законом», самоопределением и самосознанием мысли является закон тождества (обратная форма — закон противоречия), гарантирующий непрерывность мысли, охраняющий ее имманентное русло от скачков и зияний. И однако, тот закон, точнее, постулат тождества, применяемый на протяжении всего

мышления в его собственных пределах, совершенно не применим к его истокам. Он нарушается в основной форме мысли, суждении-предложении. Кант установил совершенно произвольное и неверное различие между суждениями аналитическими и синтетическими, которое имеет столь большое значение для его системы. В действительности (как это, впрочем, отмечено и Гегелем в Науке Логики) — все суждения являются и синтетическими, и аналитическими по форме, они, под видом известного и само собою понятного (аналитического), представляют собой скачок над непроходимой пропастью и соединяют оба ее конца (синтез). Я есмь А, эта ячейка мысли означает собой основное и изначальное отрицание закона тождества. Этот последний мог бы самое большое привести к тожесловию: Я — Я Я — Я... — Я и т. д., бесплодное самоповторение или же самопожирание Я. Впрочем, надо сказать, что Я второе, сказуемое, в предложении Я — Я, уже не есть то самое неизреченное, ипостасное Я, которое является субъектом или подлежащим, оно содержит в себе идею, как сказуемое (и в этом смысле, в отношении к ипостасному Я подлежащего, оно является уже не-Я).

Подлежащее и сказуемое представляет собою — и в этом все дело — отнюдь не логический анализ, дедукцию, силлогизм, доказательство (что возможно лишь относительно соединений уже существующих предложений), но совершенно нелогический, точнее внелогический синтез. Я есть не-Я, Я = не-Я, Я открывается в не-Я и через не-Я, которое через то становится Я. Предложение содержит всегда синтез Я и не-Я. Каким образом подлежащее может определиться чрез сказуемое, Я в не-Я? На это не может быть логического ответа, хотя это определение имеет силу основного логического факта, силою которого вообще возможна мысль. Сознательная, самоотчетная мысль, имманентная и непрерывная в своем развитии и движении, не может себя познать в своем рождении, в первоклетке. Отношение между подлежащим и сказуемым не может быть определено как необходимое и непрерывное мышление, но лишь как саморождение: как слово рождается в том, что не есть еще слово, так и мысль рождается там, где еще нет места логической связи, где она только возникает. Это-то отношение наивным лепетом выражает философский эмпиризм или позитивизм, который совершенно справедливо чувствует неизреченность сущего и бессилие логики из себя обосновать конкретное знание. Здесь, конечно, возникает вопрос, правомерно ли сводится всякое суждение типа **А есть В** (со всеми его модальностями) к типу **Я есмь А**? Не суть ли это



воречия вполне снимаются и разъясняются в своей относительности, оказываются или моментами развития понятия или недоразумениями. Напротив, то триединство субстанции, о котором здесь идет речь, вовсе не диалектично, в нем не совершается никакого развития никакого понятия, в нем нет тезиса, антитезиса, синтеза.

Правда, и в нем есть последование, порядок, связь моментов, вытекающая из их внутреннего отношения. Подлежащее, ипостась, есть первое; сказуемое, εἶδος — второе; связка, бытие, φῶσις, — третье. Но никоим образом и ни в каком смысле нельзя сказать, чтобы третье в силу этого было синтезом первого и второго, или первое являлось тезисом к антитезису второму. Вообще эти три момента отнюдь не имеют логической природы, какую необходимо имеют диалектические противоречия. Напротив, они выражают собой онтологические отношения, которые даны для логики и ею не могут быть преодолены, хотя бы делали для нее великие затруднения. Разрешить субстанциальное триединство в диалектическое означало бы его логически преодолеть и тем дать победу логическому монизму, т. е. абсолютной философии, имеющей единый центр, системе. Но это невозможно. Невозможно обломать или притупить углы субстанциального триединства, которое лежит в основе всякой мысли, составляет ее исход. Это триединство логически для мысли даже неприемлемо, потому что она ищет одного начала, и может строить только из одного. Изойти из трех начал она не может, если хочет остаться самодовлеющей и имманентной, и если, вслед за древним Парменидом, исповедует: «Одно и то же есть мысль и то, о чем она мыслит, — без сущего мысль не найти, она изрекается в сущем. Иного, кроме бытия (т. е. в данном случае логического первоначала) нет и не будет».

Сверх-или вне-логический исход мысли оказывается и антилогическим, иначе можно сказать, что предмет мысли, — субстанция, сущее, — не имманентен мысли, как хочет и притязает неизменно философия устами Парменида, но ей трансцендентен, представляет в отношении к мысли заумную тайну, которую нащупывает и сам разум, ориентируясь в своих же собственных основах.

Разум закономерно упирается в антиномии, определяющие его собственное строение и задачи. Он не лишается возможности чрез это созерцать сущее и философствовать о смысле и значе-

нии этих созерцаний, но он привязан к этим созерцаниям, мысль имеет эмпирические корни. А это означает, что разум отправляется не от пустого места и не начинает свою нить из самого себя как паук, но исходит из мистических фактов и метафизических данностей. Иначе говоря, всякая философия есть философия откровения — откровения Божества в мире. Аксиомы философии не дедуцируются, но лишь формулируются, и автономная, чистая философия или невозможна, или же роковым, неустрашимым образом обречена на апорию, приводит к трагедии безысходности. В этих словах менее всего можно слышать голос скептицизма: совсем напротив, вера в истину, которая глубже разума и ему запредельна, отнюдь не ослабляет и не парализует взлетов к этой истине. Нельзя видеть здесь и уничтожения философии, которая утверждает свое собственное, принадлежащее ей место, освобождаясь от ложных притязаний. Здесь оспариваются и отвергаются лишь притязания рационализма на построение единой, абсолютной, насквозь прозрачной системы мира, т. е. то именно притязание, которое составляло и составляет то в воинствующих и самоуверенных, то в подавленных и меланхолических тонах, — душу всей новой философии от Декарта, и предельное и классическое выражение получило в Гегеле. Последний вполне откровенно и последовательно ставил философию выше религии, при одновременном признании тождества их предмета, однако при различии в способах усвоения. Мы ставим наоборот: религия, как откровение, как учение не рационалистическое, но догматическое или мифотворческое, предшествует философии и постольку стоит выше нее. В этом смысле всякая философия, как учение о мире, обо всем, есть необходимо и богословствование.

Если бы человек мог порождать мир логически, т. е. сплошь постигать его бытие разумом, в таком случае он сам был бы богом или вполне сливался бы с Богом, творящим мир (на это и притязал по существу Гегель). Тогда его философия становится тоже, конечно, и богословием, достигшим высшей ступени сознательности. Но и доступная человеку философия является естественным богословием в виду того, что тайны мира и Бога здесь раскрываются логически, через развитие мысли. Однако мы разумеем здесь не самосознание имманентной мысли, которая ни в чем не нуждается, ибо самопорождением создает свое собственное содержание. Мы разумеем элементы, потусторонние мысли и для нее неприемлемые и однако оказывающиеся в самой ее основе. Раздирающие разум антиномии — они же его строят и определяют.

«Критический антиномизм» в метафизике и гносеологии становится таким образом на место догматического рационализма. Последний представляет собой самоопьянение разума, упоение своими силами и желание произвести ставку на разум до конца, произвести эксперимент разумного истолкования всего мира. Такой эксперимент в самой грандиозной форме произвел, конечно, тот же Гегель. Критицизм состоит именно в выяснении строения разума и его основ не в целях развенчания разума, напротив в целях его укрепления. И в свете этой критики история философии именно и представляется как трагическая ересеология.

■

Богослов

### ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОФИОЛОГИИ \*)

Центральной проблемой софиологии является вопрос об отношении Бога и мира, или — что по существу является тем же самым — Бога и человека. Другими словами софиология является вопросом о силе и значении Богочеловечества и притом не только Богочеловека как воплотившегося Логоса, но именно Богочеловечества как единства Бога со всем сотворенным миром — в человеке и через человека. В этом вопросе Христианство в самом себе ведет тысячелетнюю борьбу с двумя крайностями — с дуализмом и с монизмом, в отыскании той истины, которая предстоит нам в монодуализме, т. е. в Богочеловечестве.

В христианском мироощущении имеется два крайних полюса, оба ложные в своей односторонности: один есть мироотрицающее манихейство, устанавливающее между Богом и миром непроходимую пропасть и тем упраздняющее Богочеловечество, другой полюс есть пантеизм или космотеизм, принимающий мир таковым, какой он есть и фактически обоготворяющий его, хотя это есть и «секуляризация». Первое воззрение мы находим в различных и часто неожиданных сочетаниях большей частью там, где напряженное религиозное чувство и (непосредственное) ощущение Бога ставит перед человеком альтернативу: Бог или Мир. Благодаря этому человек, в обращенности к Богу, отвращается от мира, презирает его ценности и дела и предоставляет

мир в удаленности его от Бога собственной судьбе. Мы встречаем этот акосмизм или даже антикосмизм в истории Церкви с одной стороны на почве восточного Христианства в распространенном монашеском мировоззрении, с другой стороны мы наблюдаем его (в среде) правоверного протестантизма, который также утверждал, что Бог абсолютно трансцендентен миру и этим обезбоживает мир. Второе же воззрение — обмирщающее жизнь — утверждается при общем параличе новейшего Христианства, которое утратило силу руководства жизнью и само ей подчиняется. Если спасение принимается как бегство из мира, сопровождаемое с другой стороны рабством этому миру, то и мир все больше и больше отвращается от такого Христианства и объявляет себя и свою жизнь самоцелью. Современное безбожие, являющееся в действительности обожествлением природы и человека, есть поэтому особый вид язычества.

Оно отнюдь не является религиозным, как оно само себя определяет, но лишь отрицанием Христианства. А Христианство оказывается бессильным преодолеть в современной жизни это отделение религии от мира, ибо отделение это имеет место не вне его, но в нем самом. Попытки соединить Христианство с жизнью посредством подчинения последней могущественной церковной организации (как это имеет место в Романизме) ведут к внешнему лишь соединению разнокачественных потенциалов, которые не могут сохранить своего единства, ибо каждое из них в своем стремлении к тоталитарности, взаимно исключает другое. В этом трагическом бессилии пребывает и (современное) социальное Христианство, поскольку оно является только неким приспособлением, своеобразным оппортунизмом без осознания своей догматической основы. Оно хочет быть «практическим Христианством», Никеей морали (этики). Однако этот прикладной характер свидетельствует гораздо больше о полном отсутствии догматической Никей, о каких то сделках с жизнью, о соглашательстве и компромиссах, чем о творческом водительстве и вдохновении. Христианство (увы) только следует за жизнью и даже отстает от нее, но не руководит ею. Ибо как можно руководить чем бы то ни было не понимая его, не веря в него, не имея к нему иного отношения кроме миссионерского приспособления, филантропии и морализма? Социальное экуменическое Движение, совершенно заполненное своими практическими задачами, до сих пор еще не осознало своей богословской проблематики; таковая же заключается в оправдании мира в Боге — в противовес тому (отделению) мира (от) Бога, которое фактически проповедуется и исповедуется в

\*) Взято из журнала *Kyrios*, 2, 1936. Перевод Л. Зандера, проверенный самим о. Сергием Булгаковым.

разных типах христианского мышления — как в Православии, так и в Протестантизме.

Существует ли между небом и землею лестница, по которой восходят и нисходят Ангелы? Или же она является только трамплином, от которого должен оттолкнуться тот кто хочет «спастися» — для того чтобы уйти от мира? Является ли Вознесение Господа последним и, так сказать, обобщающим актом нашего спасения, или же за ним последует новое пришествие Христово — Парусия, которая явится не только судом, но и началом нового вечного присутствия Христа на земле? Ответ на этот вопрос давно уже дан в христианской вере, но на него далеко не обращено достаточного внимания. Ответ этот содержится в основном догмате Христианства — о Богочеловечестве. Тварный мир соединен с миром божественным. В божественной Премудрости небо преклонилось (спустилось) на землю. Мир существует не только в себе, но и в Боге, и Бог пребывает не только на Небе, но и на земле — в мире и в человеке. Христос сказал о Себе «дадеся Ми всякая власть на небеси и на земли». (Мф. 28,18). Богочеловечество есть догматический зов как к духовной аскезе, так и к творчеству, как к спасению от мира, так и к спасению мира. Это то догматическое исповедание, которое во всей своей силе и славе должно быть провозглашено Христовой Церковью.

Догмат Богочеловечества является основной темой софиологии, которая есть не что иное как догматическое раскрытие всей его силы. Современность не в силах дать новое жизненное истолкование тем догматическим формулам, которые Церковь сохраняет в своем предании, но можно сказать, что сейчас нет ни одной догматической проблемы, которая не нуждалась бы в подобной ревизии. В центре внимания остается как и раньше основной христианский догмат Боговоплощения «Слово плоть бысть». Мы твердо держимся того догматического истолкования, которое нам завещал Халкидон. Корни этого догмата достигают до глубины неба и земли, до сокровенных тайн Св. Троицы и тварной природы человека. «Инкарнационизм» является теперь основой догматического мышления, как в Англиканстве, так и в Протестантизме, не говоря уже о древнейших восточно-православной и римо-католической Церквах. Но сознают ли при этом, что этот догмат уже включает известные предпосылки? Ибо он необходимо предполагает учение о Боге, о человеке и об изначальном Богочеловечестве. Эти именно предпосылки и развиваются учением о Премудрости Божией — софиологией. В еще большей степени относится это

к другому догмату, признанному Церковью, но еще менее понятному и развитому, — догмату о Пятидесятнице, т. е. излияния Св. Духа на мир и пребывания в нем и его связи с догматом Боговоплощения, эта связь, так же как истина о силе Пятидесятницы, пребывающей в едином человечестве также развивается в софиологической доктрине. Одна из величайших и до сих пор непреодолимых трудностей экуменических Движений нашего времени заключается в том, что Церкви стремятся к единству, но не имеют догмата о сущности Церкви. Речь здесь идет не о внешних признаках церковного строя, литургики и т. п., но о том, что такое Церковь в себе и что значит «соединение Церквей», тогда как Церковь по природе своей едина и единственна. Является ли с этой точки зрения единая Церковь как откровение Богочеловечества и Премудрости Божией — Софии — дело соглашения или реальность. До тех пор, пока церковное сознание не достигнет глубины самосознания, все экуменические «соглашения» останутся бесплодными. Ибо отдельные церкви всегда будут наталкиваться на разделяющие их стены, в трагическом сознании как своего бессилия, беспомощности, так и объективной невозможности подлинного соединения. Ибо для достижения последнего имеется только один правильный путь: понять Церковь как откровение Богочеловечества, как Софию — Премудрость Божию.

Мы не будем перечислять здесь многочисленные богословские проблемы, которые в учении о Премудрости Божией получают новое освещение. Отметим только одно: никогда еще вопросы о судьбе человека в истории, о творчестве человека и его ответственности перед его собственным Богочеловечеством — не стояли перед христианским сознанием с такой остротой, как теперь. История раскрывается для нас как апокалипсис, апокалипсис как эсхатология, конец как свершение, второе пришествие Христово в Парусии как Его ожидание и Его встреча Церковью: «И дух и Невеста говорят: приди, Ей гряди Господи Иисусе. (Апок. 22, 17 и 20).

Чем является проклятие обмирщения и бледная немочь манихейского бегства от мира? Суть ли они симптомы бессилия исторического Христианства, его неудачи, или же это уходящая тьма утренней зари, предвещающей свет нового дня? И что такое мир? Исполняющееся Богочеловечество, открывающаяся Премудрость Божия «Жена, облеченная в солнце» (Апок. 12) только гонимая драконом в пустыне, или же он сам есть пустыня, «пустой дом», оставленный господами. В мире борются две силы: космизм и ан-

тикосмизм, которые являются двумя сторонами раздвоившегося, но единого по существу богочеловеческого теокосмизма. Исторически обмирщение вошло в европейский мир с Возрождением и Реформацией, которые являются двумя параллельными потоками единого течения — Антикосмического космизма — как бы парадоксально такое определение ни звучало. Утверждение мира в гуманизме, приписывающем ему право самостоятельного существования есть реакция против отрицания мира в Христианстве. Здесь мы встречаем диалектику непреодолимых противоречий, которые и губят современную культуру. Но эта непреодолимая диалектика совсем не является последним словом мудрости. В отношении мира нам надо установить правильную христианскую аскетику, которая бы боролась с миром из любви к нему. Нам необходимо преодолеть различные силы Гуманизма, Ренессанса и акосмизма Реформации, но преодоление это должно явиться не диалектическим-абстрактным и теоретическим, но положительным, вытекающим из любви к миру в Боге. Но это может быть достигнуто только некоторой метаноией, изменением всего мироощущения, которое может осуществиться через софийное восприятие мира как Премудрости Божией. Только это может сообщить миру новые силы и новое вдохновение для нового творчества, для преодоления механизации жизни и человека. В софийном миропонимании лежит будущее Христианства. Софиология содержит в себе узел всех теоретических и практических проблем современной христианской догматики и аскетики. В полном смысле слова она является богословием Кризиса (суда) — но в смысле спасения, а не гибели. И в конце мы обращаемся к потерявшей свою душу, обессиленной обмирщением и язычеством, культуре, к нашей исторической трагедии, которая кажется безвыходной. Исход может быть найден чрез обновление нашей веры в софийный, богочеловеческий смысл истории и творчества. Ибо София-Премудрость Божия осеняет эту грешную и все же освященную землю. И пророческим символом этого осенения является древняя Айя-София в Византии, в куполе которой само Небо снисходит к земле.

## МАРИОЛОГИЯ В ЧЕТВЕРТОМ ЕВАНГЕЛИИ

( 7-я глава «Богословия Иоанна Богослова» \*)

В отношении к Божией Матери в четвертом Евангелии особенно ярко проявляются основные черты его изложения: при отсутствии повторений того, что сказано у других евангелистов, нарочитость именно им сообщаемого. Оно носит характер интимности, проистекающей из особой связи между возлюбленным учеником и Богородицею и символической его многозначностью, при совершенно исключительной краткости, а потому и еще большей вескости повествования. Собственно говоря весь мариологический материал четвертого Евангелия исчерпывается двумя повествованиями: о чуде в Кане Галилейской и о стоянии Богородицы у креста. (К этому прибавляется еще упоминание, в своем роде, впрочем, также единственное, о присутствии ее среди учеников в сопровождении Христа в Капернауме: 11,12). Но этот краткий материал имеет совершенно исключительную мариологическую и экклезиологическую значимость.

Чудо в Кане есть первое из чудесных знамений Христа, «Начало знамений» (*ἀρχὴν τῶν σημείων*), и мы должны понять его именно в этом качестве, не только как первого, но и как начала, имеющего тем самым черты общезначимости для всех. В нем Христос являет Себя миру: «Показал Славу Свою» *ἐφάνηρσεν τὴν δόξαν*, чего не сказано ни об одном из других знамений, кроме последнего — воскресения Лазаря. «Сия болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий» (XI,4). Но и здесь говорится не о явлении Славы, но лишь о прославлении, что есть, конечно, не одно и то же.

Экзегеты останавливаются и над физической стороной этого чуда (\*\*), которое однако имеет прежде всего символическое значение.

Оно имеется у одного лишь четвертого евангелиста, у других же вообще отсутствует самый мотив брака (если не считать притчи о двенадцати девах). Здесь же, без особого пояснения, особо подчеркивается присутствие Матери Иисуса: «Был брак...

\*) Богословие Иоанна Богослова, один из последних курсов о. Сергия Булгакова, до сих пор остался неизданным.

(\*\*) Bernard e. c. 79 90.

была Мать Иисусова там» (II,1). И даже приглашение Христа и Его учеников приурочивается к этому ее присутствию: «Был также зван Иисус и ученики Его на брак». И вообще она является руководящей в событии: она обращается сначала к Сыну, а потом к служителям, которые исполняют ее волю, также как и Сам Иисус. Обращает здесь внимание прежде всего обращение к ней Сына: «Жено!» Оно же повторяется и на кресте и таким образом есть единственное ее именование в Его обращениях к ней в четвертом Евангелии.

Одно это слово уже переносит мысль от внешнего события — скромной и даже бедной свадьбы в обстановке сельского быта — к внутреннему свершению, здесь происходящему. Это обращение, как бы обезличивающее отношения Сына к Матери, на самом деле возводит их к высшему значению и обобщает предельно, получает мариологический и софиологический смысл. Человечество из рук Творца происходит в двойном образе, как мужское и женское начало, муж и жена. Такова полнота его, имеющая для себя основание в диаде Сына и Духа Святого. Христос Богочеловек есть мужское начало, однако Он есть рожденный от семени Жены — согласно пророчеству Божию в раю. Она есть та Жена, о которой сказано древнему змию, что семя Жены сотрет главу змия. Жена эта есть Богоматерь. Она же есть и та Жена, которая своим присутствием освятила брак в Кане Галилейской. Эта **Жена** есть Церковь Христова, которая празднует духовный брак свой со Христом-Женихом (согласно именованию Его в устах Предтечи Ио. III,29). Этому же соответствует и язык Апокалипсиса о браке Агнца — брачной Его вечере (Откр. XIX,9) и Его Невесте: (XXI,9). Таким образом все событие получает значение образа Церкви, ее знамения.

Это же значение раскрывается в том же самом смысле и с другой стороны: именно евхаристической, ибо превращение воды в больших водоносах в вино, притом лучшее, нежели ранее (то-есть в Ветхом Завете) подаваемое, есть евхаристическое **предложение**. В евхаристическом богословии, особенно католическом, а под влиянием его и в православном, внимание экзегетов останавливается именно на физическом превращении «субстанции» без изменения «акциденции», «под видом».

На этом же останавливают внимание и толковники чуда в Кане. Но как в евхаристии надо видеть не физическое превращение, но метафизическое предложение, так и в Кане имело место именно предложение, как образ грядущей евхаристии.

Именно этот экклезиологический характер первого чуда, во всеобщности его значения, делает его **началом** знамений, в котором Иисус явил Славу Свою. Слава относится к полноте свершения, которое сопровождается Его Богочеловеческим откровением софийности всего творения в Его человечестве.

Исходя из этого общего понимания следует толковать и отдельные его черты. Прежде всего первый ответ Христов, который кажется сначала как будто отказом: «Еще не пришел час Мой». Но мы знаем, что значит «час Мой» на языке евангелиста Иоанна: (\*) оно относится к наступлению страстей, в которых совершается и евхаристическое жертвоприношение. Час их тогда еще не пришел в свершении, однако уже приблизился в предначатии, как «начало знамений». И в этом смысле подтверждает его понимание и Богоматерь, которая как будто вопреки прямому смыслу ответа, именно содержащемуся в нем отказу, призывает служителей делать то, что Он скажет, а эти веления относятся в брачному свершению евхаристической трапезы. Архитриклин же зовет жениха для свидетельства свершившегося предложения. Конкретные образы брачного пира здесь сливаются и опрозрачиваются относительно мистического содержания происходящего. Особого внимания здесь заслуживает прямое участие в евхаристии Богоматери, как это и соответствует церковному ее свершению.

В образе брачного пира мы имеем также и образ Церкви во всем ее составе: Богоматерь, апостолы, брачные гости, архитриклин, сами брачующиеся, слуги и приглашенные, собравшиеся вокруг Христа, который совершает таинственное предложение воды в вино. Богоматерь является предстательницей за людей и посредствующей перед Христом.

В связи с этим можно понять и особо выделенное присутствие ее на браке, как предусловие и самого боговоплощения: «И Мать Иисуса была там» (II,1), как будто даже не «званная», как Иисус и ученики Его, но уже в нем участвующая изначала. Здесь подразумевается и Благовещение, и бессеменное зачатие, и Рождество Христово от Девы и все ее служение Ему и Церкви. При отсутствии повествования о рождестве и детстве Христа ее первое появление в четвертом Евангелии связано с этой символикой Церкви.

(\*) Ср. сопоставление у Бернарда: I,76.

Этот экклезиологический смысл повествования завершается как бы исторической прибавкой, где еще раз упоминается имя Богоматери и ее присутствие: «После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней» (II,12). У других евангелистов вообще отсутствует упоминание о том, что Мать и братья сопровождали Иисуса. Можно скорее вывести даже противоположное заключение из Мт. XII,46-50, где Христос как бы отрицается кровного родства ради духовного. Из этого сопоставления можно усмотреть еще лишнее подтверждение именно экклезиологическому истолкованию Ио. II,11.

Заслуживает внимания еще одна черта этого повествования: откуда все происшедшее между Христом и Матерью Его на браке стало известно евангелисту? Можно, конечно, допустить, что он, вместе с другими апостолами, был не только очевидцем происшедшего, но и слышал обращение ко Христу Матери Его, вместе с Его ответом (хотя это и не имеет для себя прямого подтверждения, к тому же при отсутствии рассказа об этом у других евангелистов). Не правдоподобнее ли допустить, что Иоанну все это стало известно непосредственно от самой Богоматери, и этим подтверждается и нарочитый богородичный характер четвертого Евангелия? Чудо в Кане Галилейской принадлежит к тому богородичному преданию, которое естественно отлагалось в общении с нею Иоанна.

Разумеется наряду с этим не исключена и та возможность, что это поведано было Иоанну и непосредственно от самого Учителя, хотя и этим во всяком случае не исключается предание идущее от Богоматери.

Второе и уже последнее упоминание о Богоматери имеем мы в повествовании о стоянии Богоматери у креста.

В параллельном перечислении женщин у креста или вблизи его нет упоминания о присутствии Богоматери. Характерным образом оно имеется только у Иоанна в его богоматернем Евангелии. Здесь ее имя стоит также в ряду других: «Сестра Матери Его — Мария Клеопова и Мария Магдалина» (XIX,45). Первая была мать сыновей Зеведеевых, следовательно, и самого Иоанна, при этом и сестра Матери Иисуса (так что Иоанн находился и в родстве с Богоматерью, был ее племянником).

Итак, у креста стояла, вместе с Иоанном и его собственная

мать, и тем еще выразительнее и значительнее были слова Христа, рядом с родной матерью кровной вручавшего его Своей Матери, как бы в новое духовное рождение, воцерковление: «Иисус увидел Матерь и ученика здесь стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жено! се сын твой. Потом говорит ученику: се Матерь твоя. И с этого времени ученик сей взял ее к себе εις τὰ ἴδια» (XIX,25-27).

Первое и непосредственное значение этого рассказа относится к выражению личной любви и заботы о Матери, которую Он вверяет как бы сыновнему попечению возлюбленного ученика и тем увенчивает его перед всеми другими апостолами, не исключая и первоверховника, которые к тому же как будто и не присутствуют. И уже в этом заключается не столько совмещение этого двоякого материнства двух матерей, Марии и Саломии, сколько, напротив, его противоположение и разделение. Такое молчаливо предлагается матери природной и, очевидно, ею безропотно принимается. Она и после смерти Христа остается верна Ему, «смотря издали» (Мт. XXVII,56).

Христос сначала видит в Марии Матерь Свою вместе с возлюбленным учеником и к ним обращается. Однако само это обращение звучит особо: это есть то «Жено», которое было сказано на браке в Кане Галилейской: два брака церковных. Нельзя прозреть всей глубины и значительности этого «Жено», здесь как и там, однако основное его значение в обоих случаях одинаково: «Жено» означает **Церковь**, Богоматерь как сердце и средоточие Церкви, ее личное начало. Как таковая она есть Матерь церковная, которой и усыновляется церковно возлюбленный ученик. Эти слова остались конечно выжжены в памяти и сына и Матери, они суть самая сердцевина богоматернего Евангелия, которое здесь в этих немногих словах содержится. Эти слова означают как бы посвящение Марии в сан Церкви, чрез таинственное призвание Святого Духа, первоначально сошедшего на нее в Благовещении как на Богоматерь, а ныне совершающего ее оцерковление, — таинство всецерковного богоматеринства. Усыновление Иоанна Богоматери является прежде всего лично к нему относящимся, как к первому в любви Христовой, но оно, конечно, распространяется вместе с ним и на всех любящих Христа и верующих в Него.

В самой краткости слов, вместе с глубиной смысла, узнается черта Великой Молчальницы с ее «смирением».

Она сама остается молчащей у креста, безмолвствующей и в ответ на слово Сыновнее. Но это молчание выразительнее, сильнее, содержательнее, нежели всякие слова, ибо оно выражает величайшее дело: Мария, Матерь Христова, становится Матерью церковною. Как таковая она присутствует и при общем оцерковлении в Пятидесятницу, при сошествии Святого Духа, среди учеников. (Единственное о ней упоминание в Деяниях Апостольских: I,14).

Напрашиваются на сопоставление все экклезиологические образы «Жены» и «Невесты» в «Откровении». Они все созвучны этому евангельскому слову. В нем заключаются: образы Жены, облеченной в солнце (Откр. XII,1), — Церкви воинствующей, и Жены, приготовившей себя к браку Агнца (XIX,7), с заключительным образом Жены и Невесты Агнца (XXI,9).

Этими двумя текстами исчерпывается все мариологическое содержание богородичного Евангелия. Этого не много по внешнему количеству, но неизмеримо много по важности и содержанию.

## В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Постящися, братие, телесно,  
постимся и духовно.

Наступает и для этой тяжелой години время Великого Поста. Он установлен Церковью на многие времена, во всем многообразии их. Устав поста остается неизменным, этого как будто и не замечая, на это не взирая. Но и в стремительном потоке времени, и во всей пестроте жизни в сущности всегда по новому, мы ощущаем веяние Великого Поста, его стремимся ощутить особенно ныне. Миновали те времена, когда размеренно и спокойно проходили великопостные сроки. Мы ввергнуты в житейское море, кипящее от мирового пожара, поставлены пред испытаниями и искушениями, которых не знали наши предки, хотя никто и из них не было свободен от своих собственных трудностей. Нам же теперь особенно необходимо — каждому по своему — спросить себя, как же ему надлежит осуществлять веления Четырдесятницы. Есть ли в них то, что послабляется и даже отпадает, устраняется современной жизнью, и что, наоборот, получает особую как бы силу?

Прежде всего, слабее звучат для наших современников, которые давно уже и помимо воли повергнуты в состояние оскудения и нужды, суровые требования телесного воздержания. То, что по мысли Устава должно явиться подвигом вольного воздержания, в нашей повседневности является невольным. Здесь применимы поэтому более гибкие и снисходительные требования, соответствующие особым условиям нашего времени, и уже не пользуется фарисейское блюдение буквы, согласно слову Господню: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Разумеется, оно не должно применяться как благовидный предлог к полному освобождению от поста телесного, потому что и воздержание может осуществлять-

\*) Эти проповеди последних лет не произносились о. Сергием Булгаковым, а раздавались молящимся на гектографированных листах. К печати они не предназначались. Полное собрание неизданных проповедей о. Сергия в скором времени выйдет в издательстве YMCA-PRESS.

ся различно. Если человек искренно и добросовестно ищет, как его применить, он находит должную меру и степень.

Однако же, если силою обстоятельств телесное воздержание теряет первенствующее значение, как вольное делание, тем большую важность получают веления «поста духовного», как особого напряжения мысли и воли в соответственном направлении. Пусть не под силу большинству из нас, кроме совсем немногочисленных исключений, и продолжительность и частость великопостных богослужений. Наше напряжение может относиться к непрестанному памятованию о Боге, к проверке себя в свете совести, к духовной самособранности, к углублению в свой духовный мир. Видение себя в грехах своих пред лицом Божиим есть покаяние. Оно взывает благодатного освобождения от тяжести грехов чрез таинство покаяния, к покаянной встрече со Христом: «Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое»... А эта покаянная встреча ведет и к брачной встрече со Христом, к принятию Небесного Жениха в душу, Ему уневествившуюся, в таинстве причащения. Покаяние рождает в душе новую жажду такого соединения и дарует новую от того радость. Причащение святых Тайн Христовых, в связи с покаянием, должно явиться основным событием нашей жизни в дни Великого Поста, единократным, или же, лучше, повторным. Всем этим создается и особая вдохновенность великопостного времени, с духовными его восторгами.

Оно может быть и должно явиться не только печалью по Бозе, но и светлой радостью о Нем. Наряду с богожитием великопостным, в нем должно найти себе место, хотя в качестве коротких просветов, и богомыслие. Сколь бы ни были малы наши духовные досуги, оставляемые трудною жизнью, они не исключают возможности молниеносных озарений, особых, великопостных откровений о Боге и человеке, об Исккупителе и искуплении, о грехе и спасении. Они навеваются и богослужениями Великого Поста, с их нарочитой богословской насыщенностью. В нас обостряется сознание нашего удаления от Бога в страну далеку, вместе с зовом к возвращению блудного сына под кров Отчий. В некоей прозрачности духовной зрится глубина небес, в ее лазури ощутима близость Божия. Есть особое духовное чудо Четыредесятницы, которое мы переживаем, часто вовсе не отдавая себе отчета, — детскость души, обретающей открытые объятия Отчи.

Духовная пробужденность возрастает от силы в силу, достигая вершины к свершению Великого Поста, к Страстной седмице, которая есть чудо всех чудес великопостных. Христиане забывают,

а чаще и не доверяют тому, к чему они призваны в духовности своей.

Рассеянны и хладнокровно слушают они о вещах духовных, как о чем-то постороннем, чуждом и недоступном. Но о ней-то и должна гореть и ревновать душа, чаять и верить.

А в наши дни нужды и смятения, войны и бедствий, в этом и состоит главная задача великопостного подвига: духовно победить свое маловерие, познать Бога в землетрясении и буре, обрести радость веры.

С нами Бог. Вот для чего дан нам Великий Пост, как время великого духовного делания сокровенного. «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мт. VI,6), радостью Пасхальною.

Аминь.

## 2.

### ВЕЧЕРЯ АГНЦА

Приближаются святые дни Страстей Господних, и сердце наше трепетно ждет их. Все желанны и жданны они: и воскрешение Лазаря, и царский вход Господень, и последние слова и речи Господа, и величественно потрясающие события конца: Гефсимания и Голгофа, крестная смерть и погребение. Воспоминательно они совершаются перед нами, мы созерцаем и переживаем, любим и молимся, плачем и поклоняемся им.

Но есть в этом ряду событие, которое ныне не только вспоминается, но и совершается, происходит. Мы в нем участвуем, на нем присутствуя, вместе со Христом. Оно является средоточием и Четыредесятницы и Страстной седмицы, всего церковного года, и всей жизни человечества и всего мира: то Вечеря Господня, брачный пир Агнца, Его прощальная трапеза с людьми на земле, по слову Его: «Уже не буду есть с вами сию пасху, пока она не совершится в Царствии Божием и не буду пить от плода виноградного, доколе оно не придет» (Лк. XXII,16-18). Эта Вечеря, единожды совершившаяся, установлена на все времена, творится в Его **воспоминание**, которое не есть лишь наша человеческая память о том, но и вся сила Господня присутствия и нашего от Него причащения. «Ты бо вся приносишь и приносимый, приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш» (мол. на Херувимск.). Оно было тайным и сокровенным, это прощальное собрание друзей

Христовых, апостольской двенадцатерицы, не выключая и предавшего, но оно не было закрытым и ограниченным в отношении отсутствующих на нем. «Пейте от нее **все!**» (Мт. XXV,46), призвал Господь, обращаясь не к одним апостолам, но и ко всем нам.

«Горница большая и усталая» (Мт. XIV,15) тогда уготована была для Вечери Господней, но она ширится для всех в нее приходящих, и мы в ней ныне вмещаемся, духовно соприсутствуем вместе со святыми апостолами, хотя и после них. И нам дает Он Сам пречистыми руками Своими через руки священника Тело и Кровь Свою «во оставление грехов». И мы все внемлем заповедание «сие творите в Мое воспоминание», «доколе Он придет» (I. Кор. XI,24-26). Примите же в сердце, христиане, силу повеления и крепость обетования: все призываются на пир веры.

Пусть христиане, в течение веков разделявшиеся в учении и жизни, утратили способность сообща приходить на пир веры, но чаша Христова остается едина и Христос один призывает и Сам причащает всех соединяющихся в торжестве веры. И горница Тайной Вечери, всех в себя вмещающая, становится средоточием мира и всего творения. Земля и небо, солнце и луна, все звезды и силы небесные, в ней поклоняются, внемля словам Господним. И Тайная Вечеря, единожды совершенная Господом, продолжается во все времена на всех алтарях для всех приходящих с тою же силой, как и тогда совершалась.

То не есть преходящее мгновение в жизни мира, но всегда хранящееся воспоминание, всевременное, событие самое важное, самое нужное и самое спасительное. Наши земные события и потрясения, разрушения и восстановления, все земное ничтожно, бессильно и пусто пред даром Господним, преподанным и преподаваемым в смирении горницы Сионской. Так должны мы мыслить и чувствовать, пред лицом **такого** свершения себя ставить пред алтарем Господним.

Не будем страшиться невместимого, ибо мы призваны к нему Господом. Он Сам пришел на землю «зрак раба приим, в подобии человеческого бытия» (Фил. II,7). Он Сам смирился до нас, пренебесное небо вместив в пещеру Вифлеемскую и горницу Сионскую. Свое богочеловеческое естество Он влагает в хлеб и вино причащения. Царь мира вошел в него как «кроткий и смиренный сердцем» (Мт. XI,29), слуга, умывающий ноги и дающий пример, чтобы и мы делали то же, «что Я сделал вам» (Ио. XIII,15). Всякое временное земное величие изнемогает пред истинным величием небесным. Но оно остается **тайною** Тайной Вечери, величием зри-

мым очами веры. Господь не восхотел и здесь вязать и нудить нашу свободу, поражая ее страхом и знаменами, но охранил ее в полноте. Верить и не верить, любить и враждовать предоставлено человеческому самоопределению. Пред лицом святых апостолов, а в нем всего мира, «зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу... Он возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ио. XIII,1) и даже до смирения Тайной Вечери. Возлюбим же Его и мы ответной любовью, до конца Его возлюбим. А если остается бессильным и хладным сердце наше, то да поможет нам Сам Он любить Себя Своею любовью. Да поможет нам Пречистая Его Мать, которая молчаливою силою любви Своей с нами соприсутствует на пасхальной трепезе заклания Агнца.

Христос, переходя из мира к Отцу, таинственно в нем пребывает, по Его обетованию: «Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания мира» (Мт. XXVIII,20), доколе не придет явно в Богочеловеческом лике Своем. Но таинственное присутствие равно по силе явному. И если тогда пришествие Его будет и страшным судом для грешного мира, то и нынешнее присутствие Его во святых Дарах уже является для нас судом нашей совести над нами: «Да испытует себя человек и так да ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем... тот виновен будет против Тела и Крови Господней» (I. Кор. XI,27-29).

Однако да не искушаемся мы страхом и своего недостойнства. Никто и никогда да не почтет себя дара Христова достойным, но да упоает он на Божественное искупление, ибо в нем торжествует любовь. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх... Будем любить Его, потому что Он прежде нас возлюбил» (I. Ио. IV,1819).

Свет и жизнь пребывают в горнице Сионской, на Вечере Господней, «ночь» вне ее (Ио. XIII,30). Христос пришел к грешникам спасти нас, и Он Сам призывает нас ныне: «Со страхом Божиим, верою и любовию приступите!»

Аминь

1941 г.

3.

### У ГРОБА ГОСПОДНЯ

Жещины, которые и прежде «следовали за Христом из Галилеи, служа Ему» (Мт. XXVII,55 Мр. XV,41 Лк. XXIII,55) теперь и «с другими многими, пришедшими вместе с Ним в Иерусалим» (Мр. XV,41), стояли при кресте (Ио. XIX,25), иные же «смотрели

издали» (Мт. XXVII,55-56 Лк. XXIII,49 Мр. XV,40). Они видели как снято было со креста Иосифом и Никодимом пречистое тело Его, ими помазано благовониями, обвито чистою плащаницей (Ио. XIX,39-40) и погребено во гробе новом (Ио. XIX,38-41 Лк. XXIII, 50-53 Мр. XV,42-43). Мария Магдалина и Мария Иосиева при этом «сидели против гроба» (Мт. XXVII,61) и «смотрели, где Его полагали» (Мр. XV,47 Лк. XXIII,54). После того, проведя ночь «в покое по заповеди» (Лк. XXIII,56), они в свою очередь «приготовили благовония и масти» (Лк. XXIII,56) и с ними поспешили «посмотреть гроб (Мт. XXVIII,1) и помазать тело Иисуса» (Мр. XVI,1), «когда было еще темно» (Ио. XX,1), «очень рано» (Лк. XXIV,1), «при восходе солнца» (Мр. XVI,2). Тогда они были удостоены услышать от ангела весть о воскресении Христовом.

Души наши горят восторгом, созерцая эту любовь и верность, проходящую через испытания. Эти сердца, раздиравшиеся от муки пред лицом крестной смерти Иисуса, от нее не окаменели и не замерли, напротив, они сохранили всю жизненную силу любви своей. Теперь, как и прежде, устремляются они послужить Ему, уже бездыханному мертвецу, чтобы достойно Его погребсти. Их не останавливает в этом порыве страх перед стражей, приставленной ко гробу, или робость о немощи своей, как им отвалить камень от гроба (а «он был весьма велик»! Мр. XVI,4).

Горе оказалось неспособно обессилить волю их. На крыльях любви они стремятся ко гробу, а первую среди них та, которая еще при жизни Господа удостоилась Его помазать «на день погребения» (Ио. XII,7 Мт. XXVI,12 Мр. XIV,8), Мария Магдалина. Зов и веление любви заставили умолкнуть в них другие мысли, другие желания, но на них и отвечает Христос чрез ниспослание ангела, вестника воскресения, а затем и своим собственным явлением. Как обеднел бы наш мир, если бы лишен был радостного созерцания этого подвига. Как окрыляет и ныне нашу бескрылость, побеждает сердечную вялость вдохновенным безрассудством это движение любящих сердец ко гробу Господню. Их убажывает Церковь, именуя женами мироносицами наряду с Иосифом и Никодимом, которым дано было совершить погребение и первым помазать пречистое тело Господне.

Невольно вопрошает себя мысль испытующая: как это было? Как протекли для них томительные часы этой бесконечной ночи в скорби беспредельной? Но прямо не говорят об этом Евангелия. Все что сказано здесь о мироносицах есть только то, что «в субботу они оставались в покое по заповеди». Но это относится лишь

к внешнему блюдению заповеди. А то, что сказано о внутреннем их состоянии, лишь прорывается кратким намеком в Евангелии Иоанна, в рассказе о Марии Магдалине. Она, придя ко гробу «рано, когда было еще темно», убедилась, что «камень отвален от гроба». Тогда она бежит сказать Симону Петру и «другому» ученику (самому Иоанну): «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где Его положили». Ученики также тогда побежали ко гробу, увидели его пустоту, «другой» ученик тут же уверовал в воскресение, однако после этого они «опять возвратились к себе». Но Мария не возвратилась. Она «стояла у гроба и плакала», и даже тогда, когда «увидела двух ангелов, во гробе сидящих». На их вопрос: «Жена, что ты плачешь?» она отвечала: «Унесли Господа моего, и не знаю где Его положили». Потрясение скорби не оставило ее даже при этом явлении, и оно было в такой мере подавляющим, что она не узнала и самого явившегося Господа, приняв Его за садовника. Его она еще спрашивает: «Если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его» (15). И лишь когда до слуха ее донесся призыв Учителя «Мария!», тогда только, с радостным воплем «Раввунни», она бросается к Его ногам «прикоснуться» к ним. Таково было это оцепенение от горя, что от него не могли освободить Марию ни часы субботнего покоя, ни впечатления воскресного утра, с пустотой гроба, явлениями ангелов и самого таинственного «Садовника».

Но что было с Марией, то же, даже если в меньшей мере, происходило и с другими женами, завтра пришедшими к гробу с плачем погребальным.

И однако эта святая скорбь все-таки оставалась ограниченной в мере своего постижения еще человеческой, так же как радость. Господь возбранил даже выразиться последней в естественном движении: «Не прикасайся ко Мне»! Он пояснил Марии Магдалине таинственную силу своего восхождения к Отцу, которая оставалась ей еще непонятной в ее человеческом чувстве. Лишь после этого вразумления она идет возвестить ученикам, что «видела Господа». Ее избирает Господь стать первой проповедницей воскресения Христова (к чему не были призваны ни Петр, ни сам «возлюбленный ученик»). Подобное же свидетельство об этом избрании имеем мы у евангелиста Луки (Лк. XXIV,4-8) — уедав от ангелов о воскресении «и возвратившись от гроба, возвестили это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам». При этом вера и ясновидение любви упреждают

даже апостольское постижение «И показались слова их пустыми, и не поверили им». С тем же повелением ангел посылает жен мироносиц к апостолам и в Евангелии Матфея (Мт. XXVIII, 1-5): «И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». «И они побежали возвестить ученикам Его». (То же и у Мр. XVI, 5-7 9-11).

Так проходят это дивное свое служение Христу жены-мироносицы. Они не боязненно вмещают в сердце свое события, которые столь трудно вмещались в сердца апостольские (кроме Иоанна). Есть одна черта, которая свидетельствует и о всей трудности их подвига, это в первом конце Евангелия Марка (Мр. XVI,8). Здесь указано о них: «Вышедши побежали от гроба, их объят трепет и ужас, и никому ничего не сказали, ибо боялись». Однако во втором конце Евангелия от Марка о том уже не говорится, но прямо сообщается, что Мария Магдалина пошла и возвестила о явлении Воскресшего бывшим с Ним (XVI,10).

Очевидно, страх тот оказался проходящим и был ими преодолен, и это заставляет еще больше ценить жертвенность служения жен мироносиц, с Марией во главе.

Но теперь спросим себя о том, о чем безмолвствует евангелисты: где пребывала Пречистая в эту ночь воскресения? Была ли она с женами мироносицами, с которыми вместе она стояла у креста, созерцая крестную смерть Христа и Его погребение? Однако нет, Евангелия теперь ее с ними не называют. Нет ее и среди апостолов, и даже вместе с возлюбленным учеником, который приял ее в дом свой согласно повелению Господа (Ио. XIX,27). Он один, без нее, вместе с Петром лишь, идет ко гробу, чтобы здесь уверовать в воскресение. О самой же Пречистой евангелия отселе начинают опять говорить лишь языком молчания. Пелена его тайны сокрывает от нас бывшее в эту ночь воскресения с Матерью Божией. Лишь некоторые песнопения церковные дают смутные указания об этом. Они свидетельствуют прежде всего о всей силе материнской скорби, в которой она разделяет смертное бремя Сына. Делит она и с мироносицами их человеческую скорбь. «Своего Агнца Агница зряще к заколению влекома, следовала Мария терзающихся со иными женами». Это есть смертное и для нее томление: «Ныне прими мя с Тобою, Сыне мой и Боже, да сниду, Владыка, во ад с Тобою и аз, не оставь мене едину, уже бо жити не терплю, не видящи Тебе, сладкого моего света, но не оставлю Его единого, zde и умру и погребуся с Ним».

Однако в этой скорби, соединяясь с апостолами и мироносицами, Пречистая от них уже отделяется. В ней совершается тайна богородичного откровения, чрез единение с Материю Сына воскресающего.

Пребывание Христа во гробе сопровождается и сошествием Его во ад, в нем вся великая тайна и сила Его — проповедь во аде, загробное явление и служение Христово.

Уведано ли и разделено ли было это и Материю Его? Церковь хранит молчание об этом, не потому ли, что эта тайна, совершившаяся за пределами земного круга, оставалась неведомой и для самой Пречистой, ранее ее честного успения. Однако, если не все ведение, то предведение происходящего в сошествии во ад, в нем могло быть ей доступно, вместе с ведением совершающегося в мире и для мира Христова воскресения, которое и она уже переживала в Сыне своем.

И об этом ведении воскресной радости, свойственном Богоматери, хотя и сдержанными словами, свидетельствует Церковь.

Из тьмы гроба воссиявает свет воскресения. «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе.. востану бо и прославлюся», слышит она в молчании гроба. «О, како утаися от тебе бездна щедрот, Матери в тайне изрече Господь: тварь бо Мою хотя спасти, изволих умрети, но и воскресну». И Матерь отвечает: «Воспеваю милосердие Твое, человеколюбче, и поклоняюсь богатству милости Твоея, Владыко, создание бо Твое хотя спасти, смерть подъял еси, рече Пречистая».

Из этого постигаем, почему не было Пречистой ни с мироносицами, ни с апостолами в ночь воскресения, ибо она пребывает выше даже этого чина. Когда были они еще во власти скорби, она была уже в радости совершающегося воскресения, а ее душе звучало его благовестие, ранее ангельского. Но с этой священной тайной она удаляется в самую глубокую тень молчания, в котором и пребывает в ночь воскресную: «яко призре Господь на смирение рабы своя».

Аминь

1942 г.

## О ПОДВИГЕ РАДОСТИ

(В преддверии св. Пасхи)

...«и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь!» (Мт. XXVIII,9).

Во тьме предрассветной, среди глубокой скорби, при землетрясении великом прозвучала весть о воскресении: «Радуйтесь!» Ее возвестил тогда сам Господь воскресший, и Он ее ныне возвещает. Что нужно нам, которые разучились радоваться, чтобы победно раздалось в нашем сердце это слово, а не осталось для него мертво и хладно, как бы само себе не доверяя и само себя стесняясь? Призванные встречать Воскресшего, как скажем свое «Воистину воскрес!»?

Мы вступали во дни Великого Поста не без растерянности духовной и не без трудности. Ныне они уже истекают, совершившись разными по разному. Каждому по своему было дано коснуться сердцем и душеполезно провести св. четырехдесятницу. От нее уносим мы тихие светлы, от которых предстоит нам возжечь свещу Воскресения Христова. Много ли или мало могли мы потрудиться духовно, всех зовет Христос на пир, да «приемлет ныне динарий»: делавшие и от первого, и от третьего, и от шестого, и от девятого, и от одиннадцатого часа. Ибо Он «приемлет последнего как и первого», да внидут все в радость Господа своего. «Никто да рыдает убожества... никто да плачет согрешений». Сам Господь нисходит радостно светоносно в открывающееся Ему сердце. И да откроется оно!

Но ко гробу Господню и в самую ночь воскресную привален был камень, приложена печать, приставлена стража. Мы чувствуем и теперь тяжесть, придавившую сердце и запечатавшую гробницу с Телом тридневного Мертвеца. Она налегла на нас от непосильного, кажется нам, бремени жизни, от лютости стражи воинской, от непреодолимой печали на сердце. По своему все изнемогают: одни от ожидания бед грядущих, другие от уже пришедших; одни от немощей и обстоятельств, другие от горестей и лишений. В душе каждого есть то, что мертвит и омрачает ее в канун Христова Воскресения.

Невольно вспоминается светлость и легкость дней миновавших, когда победно входила в мир радость пасхальная в светлых своих одеяниях, в ликовании и щедрости благодатной. Казалось тогда, что мы достойно приемлем нам принадлежащее, и сами светлые и радостные, воскресные и воскресающие. Нам оставалось лишь праздновать дар тот, чем пышнее, тем соответственной. Ныне же далекой и чуждой, холодной и ненужной кажется нам эта пышность. Душе стало мало ее, и бессильно одно только внешнее, она ищет иного и большего, — силы и света воскресения, радостей его свободы, поспрашивания смерти со Христом и во Христе. Мы зовем и ждем Его: пусть сам Он приблизится, скажет нам свое РАДУЙТЕСЬ! так, чтобы от него затрепетало сердце наше.

Что же нужно для силы пасхальной радости, от победы над смертью? Что ею в нас да побеждается? Что надо совершить нам самим в себе и над собою, чтобы приять эту радость, подаваемую Христом, на этот зов отозваться? Ответно явить надо подвиг радости, поднявшись до нее на крыльях свободы, самим освободиться хоть на краткое мгновенье. Тогда блеснет нам и сама радость, захлестнет нас волна ее, озарит ее свет. Мы — рабы ныне. Нас порабощают страх и скорби, растерянность и хладность, обыденность и сухость, безрадостная повседневность. Мы — рабы князя мира сего, в какие бы обличия он ни облекался, рабы мира, и лишь пытаемся от того закрыться бездейственными одеждами пышности. Но на пути к радости надо разорвать цепи рабства, и свобода ее обретается в Боге. В Нем можно забыться от мира со скорбью его, от самого его существования, услышав зов Христов: «Не бойтесь, это — Я!» И нужно оглохнуть и ослепнуть для мира, чтобы хотя на краткое мгновение освободиться от него, став как бы вне его, погрузиться в бытие Божественное. Такова и природа радости пасхальной. Тогда будет и ныне наша пасхальная радость победной и ослепительной, как во времена былые, как во времена первохристианские, когда исторгалась молитва: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. XXII,20) Но этого надо восхотеть, — всей силой, которою «Царствие Божие нудится, и употребляющие усилие восхищают его» (Мт. XI,12).

Грешно и малодушно думать нам, что мы обделены или оставлены Богом. Он не знает лицепрятия. Но мы избраны и призваны к радости пасхальной не тем, что богаты и взысканы милостию Божией, но тем что бедны и умалены, жалки и несчастны. Синашей радости — не в благополучии, но в неблагополучии; она есть независимая по истине и свободная, как радость подвига,

пасха на крови, рядом с Голгофой, выстраданная победа веры нашей. Пусть она, кратко сверкнув в нас, и скоро угаснет, но тем ярче и радостней будет явление Воскресшего.

Чем темнее ночь, в которой Христос воскресает, тем ярче Его сияние вечное.

Христос да воскресает!

1942 г.

Прот. Сергей БУЛГАКОВ

### СВЯЩЕННИК О. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

Получено на днях прямое подтверждение вести о смерти великого русского богослова и мыслителя священника о. Павла Флоренского. Он скончался в Соловках, после 10-летней ссылки в места отдаленные, — от восточной Сибири до Белого моря.

Из всех моих современников, которых мне суждено было встретить за мою долгую жизнь, он есть величайший, и величайшим является преступление поднявших на него руку, обречших его хуже чем на казнь, но на долготетное мучительное изгнание и медленное умирание. Он отошел озаренный ореолом больше чем мученика, но исповедника имени Христова в антихристово гонение. Посему и эта смерть исполняет душу не только потрясающей скорбью, как одно из самых мрачных событий русской трагедии, но она есть и духовное торжество, как одно из тех, о которых сказано Тайнозрителю: «Отныне блаженны мертвые, умирающие о Господе, ей, говорит Дух, они упокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. XIV,13).

Мне суждено здесь, в чужой земле, ныне свидетельствовать перед не знавшими его о величии и красоте его духовного образа. Но никогда я не чувствовал в такой мере бессилие своего слова, как перед лицом этого своего долга. Отец Павел был для меня не только явлением гениальности, но и произведением искусства: так был гармоничен и прекрасен его образ. Нужно слово или кисть или резец великого мастера, чтобы о нем миру поведать. При этом он сам не только родился таким, но был и собственным произведением духовного художества, для чего ему была присуща вся тонкость духовного и художественного вкуса. Черты его

внешнего лика запечатлены на известном нестеровском портрете, — благодатная тихость и просветленность, образ как бы некоего небожителя, который однако был сыном и земли, ее тягости изведал и преодолел. В нем вовсе не было идиллической наивности и примитивности, это и о нем могло быть сказано: «О, бурь заснувших не буди, под ними хаос шевелится». Но он любил ее, эту родную землю, как всечеловеческую мать, древнюю Деметру, но вместе знал и чтит ее как святую Богоземлю, Пречистую и Препоблагословенную, которой он так поклонялся. (см. его посвящение «Столпа»: «Всеблагоуханному и Пречистому Имени Девы и Матери»).

Извне он был скорее нежного и хрупкого сложения, однако обладал большой выносливостью и трудоспособностью, отчасти достигнутой и огромной аскетической тренировкой. Я был свидетелем этой его аскетической самодисциплины, как и его трудового научного подвига: обычно он проводил ночи за работой, отходя ко сну лишь в 3-4 часа пополуночи, но при этом сохраняя всю свежесть ума в течение дня, и то же можно сказать и об его пищевом режиме. И все это было в нем не только голосом его духовной стихии, но и делом железной воли и самообладания. Слабый от природы, в те годы, когда я знал о нем (увы, нашей разлуке исполнилось уже четверть века), он, насколько я помню, вообще никогда не болел, ведя жизнь, исполненную аскетических лишений.

Когда о. Павел где-либо появлялся, он естественно привлекал к себе внимание, по крайней мере, людей зрячих, как до своего священства, так и особенно после него. В его лице было нечто восточное и не русское (мать его была армянка). Мне же духовно в нем виделся более всего древний эллин, а вместе еще и египтянин; обе духовные стихии он в себе носил, будучи их как бы живым откровением. В его облике, в профиле, в отражении лица, в губах и носе было нечто от образов Леонардо-да-Винчи, что всегда поражало, но вместе и... Гоголя. Помню, как мы, знавшие его и присутствовавшие при открытии памятника Гоголю в Москве (Эрн, А. Белый и др.), впервые увидавшие его после снятия закрывавшей его завесы, так и ахнули: «Павлуша!» (так называли его друзья и сверстники, школьные товарищи по Тифлисской гимназии, ныне оба отшедшие уже: В. Ф. Эрн и о. Александр Ельчанинов). И при этой внешности, мимо которой нельзя пройти, ее не заметив, в ней не было ничего вызывающего, arrogantного.

Это же было и в голосе, и в речи: о нем всегда просилось на уста Шекспировское слово (Гамлета об Офелии): у него был нежный, тихий голос, большая прелесть (не только в женщине, но в данном случае и в мужчине). Однако в этом голосе звучала и твердость металла, когда это требовалось. Вообще самое основное впечатление от о. Павла было силы себя знающей и собою владеющей. И этой силой была некая первозданность гениальной личности, которой дана самобытность и самодовлеемость при полной простоте, естественности и всяческом отсутствии внутренней и внешней позы, которая всегда есть претензия внутренней немощи. И в путях духовного развития и самоопределения мы наблюдаем в о. Павле эти же самые черты. Можно сказать в известном смысле, что о. Павел сам себя сделал, подойдя своим собственным путем.

Он родился и вырос в культурной семье (отец его был образованный инженер) и воспитывался он в атмосфере Бетховена и Гете, но вне религии. Являясь духовным аристократом по воспитанию, он был до известной степени и эстетом. По окончании гимназии, где он поражал учителей своими математическими способностями, тогда уже исследовательскими, он поступил на математический факультет Московского Университета, по окончании которого был оставлен при нескольких математических кафедрах (и еще долго спустя не могли забыть московские физики и математики одаренного студента). Вместо всего этого о. Павел, резко изменяя свой жизненный путь, поступает в Московскую Духовную Академию студентом (у Троицы Сергия), принимая послушание нового научного богословского труда, а вместе и религиозного подвига. Когда и как в нем произошел религиозный переворот, я не имею точных данных. Я узнал его уже после него.

В научном облике о. Павла всегда поражало полное овладение предметом, чуждое всякого диллетантизма, а по широте своих научных интересов он является редким и исключительным полигистром, всю меру которого даже невозможно определить за отсутствием у нас полных для этого данных. Здесь он более всего напоминает титанические образы Возрождения: Леонардо-да-Винчи и др., может быть еще Паскаля, а из русских же больше всего В. В. Болотова. Я знал в нем математика и физика, богослова и филолога, философа, историка религий, поэта, знатока и ценителя искусства и глубокого мистика.

Последние годы перед ссылкой о. Павел читал в Москве

лекции по электричеству и теории перспективы. Говорят, что даже во время ссылки в Соловках он, со своей всепожирающей пылкостью ума изучал морские водоросли. При невозможности это проверить, пусть это будет миф, естественно возникающий около личности, по своему также мифической. И все это богатство даров, и, очевидно, достижений, сокрыто, а может быть и погребено варварством, духовным нашествием гуннов на русскую землю, раздавлено чугунным прессом «советской власти» вместе с миллионами человеческих жизней.

Мне не известно, что уцелело из его научного и литературного наследия, но уже тогда, в годы нашей общей жизни, то есть четверть века назад, я знал, что у него в письменном столе лежат несколько готовых исследований (об именах и переименованиях, разные философские и богословские курсы, математические и другие труды). Он вообще как-то мало интересовался их публикацией. Но я лично считаю, что книга «Столп и утверждение истины», которая заслуженно прославила его имя в богословии, есть еще юношеское произведение, и вовсе не последнее и единственное его слово из всего, что он унес с собою в далекую свою могилу. Однако в мире творческом ничто не пропадает из подлинных духовных ценностей, даже и погибающее здесь на земле, «дела их следуют за ними», и семя их и в том мире прорастает...

Однако все, что может быть сказано об исключительной научной одаренности о. Павла, как и об его самобытности, в силу которой он всегда имел свое слово, как некое откровение обо всем, является все-таки второстепенным и несущественным, если не знать в нем самого главного. Духовным же центром его личности, тем солнцем, которым освещались все его дары, было его священство.

В. В. Розанов, который, однажды узнав о. Павла, затем не мог уже от него оторваться, как от источника жизни (я знаю, что у о. Павла хранилась огромная и значительная по содержанию с ним переписка, в которой они вместе погружались в мистические глубины еврейского вопроса), написал мне однажды о нем тоже совершенно гениальное по силе и выразительности письмо (не знаю, уцелело ли оно в Москве). Я помню из него только одно слово. — В качестве самого существенного его определения, В. В. Розанов сказал: он есть *ἱερέυς* (именно по-гречески), священник. И это было именно так. Священство о. Павла, как и все в его жизни (помимо того, что над ним совершила сатанинская антихристианская злоба), также было его собственным самоопреде-

лением, которое извне как будто совершенно противоречило всей его жизненной обстановке. Такое юродство, как ряса, одинаково не снилось ни его отцу-инженеру, ни гимназическим, ни университетским его учителям. Оно даже вовсе не вытекало с необходимостью из факта поступления в Духовную Академию, но таков был внутренний его голос, избрание и призвание.



«Философы»

П. А. Флоренский и С. Н. Булгаков  
Картина кисти художника Н. Н. Нестерова. 1917.

Само по себе оно не имело для себя примеров и в истории русской интеллигентской общественности. Последняя еще знает отдельные случаи принятия священства, связанного с переходом в католичество, в аристократическом и светском конвертитстве, но отнюдь не в сермяжном, мужицком православии. Можно сказать, что о. Павел своим примером впервые проложил этот путь в наши дни именно для русской интеллигенции, к которой он исторически конечно все-таки принадлежал, хотя всегда и был свободен от «интеллигентщины», враждовал с нею.

Он своим рукоположением фактически делал ей известный вызов, конечно, вовсе о том не думая. По этому же пути, но уже после о. Павла, пошли люди известного духовного и культурного склада. Они идут с ним и вслед за ним, сами то сознавая, а иногда и не сознавая. До сих пор священство являлось у нас наследственным, принадлежностью «левитской» крови, вместе и известного психологического уклада жизни, но в о. Павле встретились и по-своему соединились культурность и церковность, Афины и Иерусалим, и это органическое соединение само по себе уже есть факт церковно-исторического значения.

Чего ж искал в священстве о. Павел? Это не было призвание к пастырству и учительству, хотя, разумеется, он их не отрицался, но прежде всего и больше всего влечение к предстоянию Престолу Господню, служению литургически - евхаристическому. Сначала о. Павел стремился, — может быть, несколько отвлеченно и идеологически — получить деревенский приход близ Сергиева Посада, так однако, чтобы совмещать сельское священство с профессорством в Духовной Академии, где ему была поручена кафедра духовной философии, (рутина и здесь оказалась сильнее существа дела, и о. Павел был отстранен от кафедр чисто богословских), но затем он получил для себя небольшой домбвый храм общины Красного Креста в Сергиевом Посаде, разумеется, до 1918 года, с которого уже начинается его священническая бесприютность. После этого, очевидно, не могло не прерваться рано или поздно и его священническое служение. Однако и большевистская Москва помнит его читающим научные лекции в рясе и в кресте. Не скажу точно года его рукоположения, кажется это было около 1910 года. Незадолго до рукоположения совершилось и его вступление в брак, для близких его по-своему неожиданное. Его аскетический путь первоначально вел его к монашеству, но затем аскеза в монастыре сменилась аскезой в семье. Он стал главой семьи, заботливым и нежным отцом нескольких детей. Разлука с ними и тревога о них, очевидно, была и особым крестом его в изгнании.

В своем рукоположении о. Павел перешагнул через то препятствие, которым для нас, вернувшихся к Церкви так сказать «интеллигентов», являлась зависимость Церкви от государства, цезарепапизм. В своей исключительной почвенности — несмотря и даже вопреки его полурусской крови — о. Павел был, точнее, хотел быть и политически скорее консервативным, хотя это в нем и соединялось с апокалиптическим и эсхатологическим чувством жизни «не имеющей зде пребывающего града, но грядущего взыскающей». В то время, когда вся страна бредила революцией, а также и в церковных кругах возникали одна за другою, хотя и эфемерные, церковно-политические организации, о. Павел оставался им чужд, — по равнодушию ли своему вообще к земному устройению, или же потому, что голос вечности вообще звучал для него сильнее зовов временности. Обновленческое движение в среде русского духовенства, позднее выродившееся в живоцерковство, никогда не находило для себя отзвука в о. Павле, как ни страдал он от всей косности нашей церковной жизни. Его христианство не было также и «социальным», хотя тогда уже вокруг него и возникали разные его течения. Но это было в нем менее всего простым охранительством, эта внешняя оболочка соединилась с пламенным горением огненного духа, хотя и с тихим светом из него излучавшимся. Потому он не был потрясен и тем изменением отношения Церкви и государства, которое наступило после революции.

Он оставался внутренне свободным от государства, от которого ни до, ни после революции он ничего не искал, одинаково чуждый всякого раболепства, как перед начальством сверху, так и снизу. Можно сказать, не боясь парадокса, что о. Павел прошел через нашу катастрофическую эпоху, духовно как бы ее не заметив, словно не обратив внимания на внешнюю ее революционность. Это равнодушие выражалось и в его лояльности «повиновения всякой власти», парадоксальном «священнокнутии». Однако при этом нужно знать всю подлинную меру его свободолобия, которое одинаково умело не только повиноваться, но и не подчиняться, конечно, в том, что являлось для него существенным и главным.

Став священником и возложив на себя во всей полноте ответственность всей канонической и иерархической дисциплины, о. Павел остался свободен и чужд слепому повиновению за страх, а не за совесть, признанию ее «*infallibilitas*». Он оставался свободен и в своем богословствовании, которое однако органически в нем было пропитано его церковностью, вдохновлялось у алтаря.

Он не дождался до того прямого гонения на софиологию, которое пришло уже позже, но, конечно, готов был принять его со всеми его последствиями.

Когда началось гонение на почитателей Имени Божия («имяславие»), о. Павел отдал свою богословскую силу на поддержку богословски беспомощного, но мистически правого движения имяславцев. Его духовное бесстрашие я мог бы подтвердить также и на основании некоторых биографических данных. К нему вообще можно применить немецкое выражение: *nur für schwindelfreie möglich*, и он остался *schwindelfrei* и в своем священстве. Характерно было то, что его можно было встретить не только в келии аввы Исидора, у старцев Зосимовой пустыни, у еп. Антония, жившего на покое в Донском монастыре, но и в разных домах нашей тогдашней Московской «Флоренции», писателей и поэтов, иногда таких, где, казалось, трудно этого было и ожидать, он являлся и желанным гостем и ночным собеседником. При всей своей церковности и литургичности он оставался совершенно свободен и от ханжества и от стильного «поповства», умея интересоваться вещами по существу. Поэтому же он не находил себе настоящего места и в академической среде с особой ее атмосферой.

Оставаясь совершенно далек богословского «модернизма», то есть рационализма, он не был, конечно, ему чужд в лучшем, подлинном смысле, признавая, что каждая эпоха истории имеет не только право на существование, но и закон своей жизни, особые требования творческого ее восприятия, и вследствие чего верность его преданию и не превращается в косное охранительство.

Когда богословские академии оказались закрыты советским правительством, мы вместе с о. Павлом стали деятельно обсуждать проект устройства вольной «религиозно-философской» академии по измененной и расширенной программе и для этого осуществления искали средств и возможностей. Однако жизнь на эти проекты с жестокостью ответила по своему, для о. Павла заточением, завершившимся исповеднической кончиной, для меня — пожизненным изгнанием на чужбину. Таковы явились пути и веления Промысла Божия. Но и в нашем теперешнем Парижском начинании, возникшем в культурных развалинах русской жизни, хочется видеть, конечно, если не полноту, то хотя некоторый слабый отблеск и наших московских замыслов, а в том, что зовется условно «Парижским богословием» находит начала, роднящие и с вдохновениями о. Павла, и его духовное, с нами как бы, соучастие.

Однако полное цветение и плодоношение возможно лишь на родной земле и под ее солнцем, и оторванное от почвы оранжевое растение, даже если растет, но неизбежно хиреет. Отцу Павлу было органически свойственно чувство родины. Сам уроженец Кавказа, он нашел для себя обетованную землю у Троицы Сергия, возлюбив в ней каждый уголок и растение, ее лето и зиму, весну и осень. Не умею передать словами то чувство родины, России, великой и могучей в судьбах своих, при всех грехах и падениях, но и в испытаниях своей избранности, как оно жило в о. Павле. И, разумеется, это было не случайно, что он не выехал за границу, где могла, конечно, ожидать его блестящая научная будущность и, вероятно, мировая слава, которая для него и вообще кажется не существовала. Конечно, он знал, что может его ожидать, не мог не знать, слишком неумолимо говорили об этом судьбы родины, сверху до низу, от зверского убийства царской семьи до бесконечных жертв насилия власти. Можно сказать, что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, но он избрал... родину, хотя то были и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. О. Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольного отрыва от родины, и сам он и судьба его есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление.

Четверть века уже прошло с тех пор, как мы расстались с о. Павлом, выходя из московского храма после последней нашей совместной литургии. И все, что сказано выше о нем, суть впечатления лишь первых десятилетий этого века, уже отдаленного прошлого. Тем не менее я не чувствую себя остающимся в некоем неведении о нем, ибо для меня и минувшие, вместе прожитые годы дали навсегда сохранить в душе этот образ, как бы отлитый из бронзы, подобно памятнику. Но, конечно, превосходит всякие силы поведать о нем, его не видя и не чувствуя непосредственно.

Для того, чтобы рассказать о гении, который есть ведь некое чудо природы, надо самому быть им, или по крайней мере, иметь способность вообразить его образ силою вчувствования. Будем надеяться, что найдутся те, которые соберут драгоценные крупички воспоминаний о нем за истекшую четверть века, хотя и все они будут стоять перед одною и тою же неодолимой трудностью: настоящее творчество о. Павла не суть даже книги, им написанные, или его мысли и слова, но он сам, вся его жизнь, которая ушла уже безвозвратно из этого века в будущий. И только те, кто верят и знают, что жизнь творчества продолжается и за гро-

бом, что и там возможно участие в жизни здешней, те имеют христианскую надежду его встретить в родине вечной, в России умопостижимой, в веке грядущем, в котором ничто истинно ценное не пропадает, но умножается, и дела праведника идут за ним...

Преодо мной неотвязно стоит воспоминание, а вместе и предзнаменование грядущих событий и свершений. Это портрет наш, писанный нашим общим другом М. В. Нестеровым (в этом году также отшедшим из этой жизни) майским вечером 1917 года, в садике при доме о. Павла. Это был, по замыслу художника, не только портрет двух друзей, сделанный третьим другом, но и духовное видение эпохи. Оба лица выражали для художника одно и то же постижение, но по разному, одно из них как видение ужаса, другое же как мира, радости, победного преодоления. И у самого художника явилось сначала сомнение об уместности первого образа, настолько, что он сделал попытку переделать портрет, заменив ужас идиллией, трагедию благодушием. Но тотчас же обнаружилась вся фальшь и невыносимость такой замены, так что художнику пришлось восстановить первоначальное узрение. Зато образ о. Павла оказался им сразу найденным, в нем была художественная и духовная самоочевидность, и его не пришлось изменять. То было художественное ясновидение двух образов русского апокалипсиса, по сю и по ту сторону земного бытия, первый образ в борьбе и смятении (а в душе моей оно относилось именно к судьбе моего друга), другой же к победному свершению, которое ныне созерцаем... Он обрел себе свое место упокоения.

Такова христианская вера и христианское упование.

Но мир как будто бы опустел без него для знавших его и любивших, став унылым и скучным, и зовет за собой из мира ушедший.

«И взглянул я, — говорит тайнозритель — и вот великое множество людей, которого никто не может перечесать... стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих... Это те, которые пришли от великой скорби... они пребывают перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его... и отрет Бог всякую слезу с очей их»... (Откр. VII,9-17).

И верим, в их лике зрится иерей Божий Павел, мученик и исповедник Имени Христова.

[март-апрель 1943 г.]

## Комментарий

4. IV. 1943 г. прот. С. Булгаков писал матери Феодосии: \*)

«...за это время я испытал большое потрясение и горе, хотя оно и было, конечно, умерено в своей непосредственности расстоянием времени в четверть века. Я получил несомненное подтверждение вести о кончине своего друга, могу сказать: Друга, о. Павла Флоренского. Он скончался, очевидно, в Соловках, где он находился в ссылке (в течение последних 10 лет своей жизни). Последние дни я, с надрывом бессилия сказать о нем что-либо достойное величия этого человека, набрасывал заметки его памяти, которые, может быть, будут прочитаны в собрании его памяти, у нас устроаемом.

Ты помнишь его образ на снимке картины Нестерова. Впечатления последних 25 лет, оказывается не затмили этого образа, но его мученически-исповедническую кончину я переживаю и как духовное торжество, в образах Апокалипсиса, в которых живу...»

(Автобиографические заметки, стр. 153).

Собрание состоялось 11 апреля 1943 г. в Православном Богословском Институте. Приглашая на него Петра Бернгардовича Струве, о. Сергей писал 3.IV.1943: (\*)

†

Дорогой Петр Бернгардович,

Благодарю Вас за весть о С. Л. Франке, которому прошу передать мой взаимный привет и благословение. Еще недавно я не мог ответить на запрос об его здоровье из Нанси, теперь напишу.

Я получил из Москвы (не непосредственно) подтверждение печального слуха о кончине о. Павла Флоренского в изгнании

\*) Письмо публикуется впервые.

Известие о смерти о. Павла Флоренского оказалось как-будто преждевременным: По официальному сообщению, в достоверности которого есть всегда основания сомневаться, о. Павел Флоренский скончался на Соловках 15-го декабря 1943 года. Ред.

(очевидно, в Соловках, где он последнее время находился). Я был очень потрясен этой вестью. Помните-ли Вы встречу с ним в моем доме? После нее он выражал мне свою к Вам симпатию (в частности, к тембру Вашего голоса, как Вы симпатично «скрипите»). Будущее воскресенье 11 апреля ровно в 4 часа дня в известной Вам аудитории Сергиевского подворья будут поминки о. Павла, с речами выступают, кроме меня (конечно, в чужом прочтении), о. Киприан Керн, о. Вас. Зеньковский, А. В. Карташев, Л. А. Зандер. Мы все были бы очень рады, если бы и Вы почтили этот день Вашим присутствием. Привет и благословение Нине Ал. и Аде.

Любящий Вас

прот. С. Булгаков

# БОГОСЛОВИЕ И ВОПРОСЫ ЦЕРКВИ

Прот. Иоанн МЕЙЕНДОРФ



## НА ПУТЯХ К ВСЕЛЕНСКОМУ СОБОРУ?

С 1961-го года, несколько Всеправославных Съездов и Собраний, представляющих автокефальные Церкви Востока, были собраны Вселенским патриархом Афинагором, с целью подготовить «Великий» или «Вселенский» Собор Православной Церкви. Смирение (или, вернее, осторожность) организаторов этих Собраний не позволила безоговорочного применения к предполагаемому Собору термина «Вселенский». Однако, в сознании многих, допускается возможность, что Собор, после его «рецепции» Церковью, будет признан «Восьмым Вселенским».

Планы созыва Вселенского Собора не впервые возникают в наше время. Всеправославные Соборы, созываемые Вселенской Константинопольской Патриархией, имели место в 1924 и 1930 гг., но, за отсутствием представительства Русской Церкви, настоящий Собор не состоялся. Получивший приглашение на Собор Местоблюститель Сергей мотивировал свой отказ прислать представителей тем, что Константинопольская Патриархия одновременно прислала приглашение «Обновленческому» Синоду, признававшемуся тогда Константинополем. Но, конечно, в условиях общего гонения на Церковь участие в Соборе было, во всяком случае, невозможно со стороны Русской Церкви.

Подготовки к Собору, имеющие место в наши дни, п<sup>1</sup> инициативе Патриарха Афинагора — гораздо значительнее. Они

возбуждают много чаяний и даже энтузиазма. И действительно Православие нуждается в единстве. Единый, сильный голос Православия должен был бы прозвучать перед лицом мира. Внутренний кризис Западного христианства, где все яснее звучит подмена евангельского благовестия наивно-утопическим секуляризмом, кладет особенную ответственность именно на Православную Церковь как живую свидетельницу полноты Христовой истины. Кроме того, очевидно, что рядовые православные верующие нуждаются в церковном руководстве. Каноническое законодательство древней Церкви, которым живет православие, предполагает существование христианской империи. Вне условий, в которых оно было составлено, оно, во многих случаях, — лишено прямого смысла и должно быть обновлено. Юрисдикционному хаосу и бесплодной полемике о «правах» и «первенствах» между церквями должен быть положен конец.

Конечно, только путем соборности все эти цели могут быть достигнуты. Общее собрание «Синдесмоса» в Бостоне (июль 1971), собрание православной молодежи в Аннеси, (Франция, октябрь 1971) и многие другие голоса возлагают все надежды на предстоящий Собор как на провинденциальное событие, которое сможет разрешить проблемы современного Православия.

Но одновременно раздаются и другие голоса. Один из наиболее уважаемых современных православных богословов, сербский архимандрит Юстин Попович, лишенный после войны кафедры на Богословском факультете в Белграде, но сохранивший большой личный авторитет в Сербской Церкви, выступил с открытым письмом, обращенным к Сербской иерархии. В письме о. Юстина, сама идея собора, в современных условиях, рассматривается как вредная и даже опасная. Поскольку большинство православных церквей находится под контролем коммунистических правительств и лишены подлинной свободы. С другой стороны, нет еще нужного материала для плодотворной соборной работы, а постановления Все-православных Совещаний составлены так, что возникают сомнения в их соответствии православному соборному преданию.

С некоторыми ограничениями, автор настоящих строк разделяет точку зрения о. архимандрита Юстина. Ограничения относятся к апокалиптическому тону его письма, но, по существу, о. Юстин прав в том, что наша Церковь, и особенно большинство иерархии, к собору не готовы богословски и духовно. Практически же, просто невозможно себе представить, чтобы советская власть и правительства других коммунистических стран разреши-

ли бы, в настоящее время, выезд **всего епископата** за границу. Также немислимо представить себе, чтобы «Великий Собор» собрался бы в одной из коммунистических стран, где, по сей день, ни одно церковное собрание не протекало в условиях свободного обсуждения. Православная Церковь, и в России и в других странах «народной демократии», живет благодаря простой и упорной вере миллионов людей. В этом — великое чудо наших дней, но оно куплено дорогой ценой: молчанием иерархии и внешним повиновением власти.

В краткой статье о предполагаемом Соборе — не место обсуждать подробно отношение между церковными властями и государством в Советском Союзе и в других странах. По многим сведениям — включая документы часто публикуемые в «Вестнике», — мы знаем как сложны эти отношения и как трудно, особенно в действиях епископата, отличить мудрую осторожность от преступной пассивности. Но в том, что касается Собора, сомнения, выражаемые некоторыми представителями Московской Патриархии, мне кажутся положительным фактом. Гораздо более опасным был бы соборный энтузиазм с их стороны. В качестве «переодетых чекистов», каковыми их многие представляют, им бы подобало стремиться к собору, на котором они, обладая большинством голосов, легко могли бы окончательно компрометировать вселенскую православную соборность! Но как будто они отнюдь не стремятся играть подобной роли.

Энтузиазм к собору проявляют, почти исключительно, представители Константинополя, с надеждой, видимо, поддержать этим угасающий престиж Вселенской Патриархии, но и тут многое может вскоре перемениться, в связи с постепенным схождением со сцены незаурядной — блестящей хотя и двусмысленной — личности Патриарха Афинагора.

В ее современном виде, подготовка собора явно недостаточна. Темы для обсуждения избраны либо крайне абстрактные, как, например, вопрос об «источниках Откровения», либо практически второстепенные, как-то: вопрос о постах и календаре. Более значителен вопрос о смысле «икономии» в церковном праве; но и тут, для его решения, не представлено достаточно экклезиологического материала. К счастью, на последнем Все-православном Совещании было принято решение пересмотреть весь вопрос о повестке дня. Замечательно, однако, то, что ни разу, во всех этих предварительных Совещаниях, не было обсуждения вопроса о каноническом хаосе в православном «рассеянии», хотя вопрос этот и стоит на повестке дня предполагаемого Собора.

Все это и принуждает нас согласиться с пессимистическим взглядом о. Юстина Поповича в отношении предполагаемого Собора. Но это не значит, что мы предлагаем вовсе отказаться от соборности и от всяких попыток объединить Вселенское Православие. Миссия Православия на Западе особенно ясно требует православного единства, и никакой апокалиптизм тут неуместен. Но настоящее «соборование» требует, как пишет о. Юстин, «страха Божия, веры и любви», а также смирения и духовной простоты. «Культ личности» Патриарха Афинагора, а также византийская политика и мифотворчество о «втором» или «третьем» Риме могут принести только вред. Все-православные Комиссии должны продолжать свое дело и, даже если они не приведут к Собору, — в их кредит все же можно поставить некоторые достижения, как, например, в диалоге с «монофизитскими» церквами. Но это ограниченное и «смирненное» все-православное соборование должно также приступить к решению действительно **важных** вопросов, требующих немедленного разрешения.

Никакого Вселенского Собора не нужно, чтобы прекратить бесспорно вредную полемику между Константинополем и Москвой относительно Американской автокефалии. Прошло уже почти два года, но ни одна все-православная комиссия, открыто и по-братски, не посвятила ни одного заседания этому вопросу. Между тем, при наличии доброй воли, этот вопрос было бы очень легко разрешить. Почему перед началом каждой экуменической конференции не устраиваются хотя бы однодневные встречи православных делегатов для выяснения общих вопросов? Именно такого рода соборность — в которой никто бы не оспаривал инициативы Константинопольского патриарха, — нам действительно нужна, и она так же бесспорно возможна.

Конечно, возможно также и Господне чудо: настоящий Православный Вселенский Собор, собранный вполне независимо от Советской власти, от турок, от греческих «полковников», и рассеивающий все человеческие ограничения современного православного мира. Нам надлежит быть всегда готовым к принятию Божьих чудес, к пониманию их смысла и смиренному послушанию воли Божьей. Но не следует «искушать Господа Бога» (Мт. 4,7), рассчитывая на чудо тогда, когда мы вряд ли к нему готовы.

Прот. Георгий СЕРИКОВ

## О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН ВО ХРИСТЕ (О ЦЕРКВИ) И ОБ ЕВХАРИСТИИ (ТАИНСТВЕ ТЕЛА И КРОВИ) КАК О ПРИЧАЩЕНИИ ЭТОМУ ЕДИНСТВУ.

(продолжение)

«...всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фп. IV,6,7).

Однако, (\*) сознавая себя грешным, но вместе с тем раскаиваясь в этом чистосердечно, я казалось бы и мог — а на основании всего вышеизложенного даже должен был бы — сегодня же причаститься, впрочем еще одна мысль приходит мне в голову и меня останавливает:

Глядя на себя и на свою духовную жизнь я вижу, что христианские «добродетели» (вера, надежда и любовь) во мне лично являются не столько данным сколь заданным: — я в действительности мало верю, мало надеюсь и мало люблю, и по правде говоря, все только еще собирают «положить начало благое» (из молитвы на день св. Иоанна Златоуста) моей настоящей христианской жизни.

Проанализировав себя, я хотя и раскаиваюсь, однако раскаивание, чтобы быть фактическим, должно ведь быть связанным с действительностью, должно быть проверено и доказано на опыте. Сколько раз ведь я каялся и это было легкомысленно и не отражалось на всю мою жизнь и деятельность! Попробую-ка я, на этот раз, проверить мои реальные возможности и силу моей воли. Отложу-ка я на некоторое время причастие, чтобы убедиться в том, что хоть на этот раз я способен и имею воли достаточно, чтобы покаяться «*pour de bon*», то есть убедить себя, что я

\*) — Я умышленно начинаю так продолжение моей статьи, чтобы показать, что то, что следует, будет понятно лишь тому читателю, который прочтет то, что говорилось перед этим: См. Вестник РСХД за 1970 г. № 98 стр. 32-37, за 1971 г. № 99 стр. 26-34 и за 1971 г. № 100 стр. 55-63.

способен изменить свою жизнь, а не только обещать ее изменить или иметь благое намерение это сделать. Ведь «Благими намерениями — как говорится, — дорожка в ад вымощена!» Тут мне вспоминаются и слова ап. Иакова, что верить-то это хорошо, но что бесы тоже веруют и трепещут!... «Вера без дел мертва есть» (Иак. II,17). «Мертва» — значит ни к чему, если не подтверждается делами, а только есть теория или красивая идея. Если о любви к Богу и к людям я только говорю, о ней мечтаю и ею люблюсь у других (например у святых), но сам ее не имею «экзистенциально», то тогда ведь я — только «медь звенящая, или кимвал звучащий!» (I. Кор. XIII,1)

Если я решил только надеяться на воскресение мертвых и только машинально пою на литургии: «Чаю воскресения мертвых», но если сам не несу уже в себе пасхальной радости, и если слова мои за всеобщей «Воскресение Христово видевше...» относятся не ко мне самому, а к кому-то другому (например к апостолам), сам же я не преодолел в себе скорби и уныния, то может быть лучше мне отложить причастие на недельку или на месяц говения, аскезы и бдения и посмотреть о фактической плодотворности моего покаяния? И если выяснится, что мое покаяние сегодняшнее окажется фиктивным, а не жизненным, то тогда лучше я еще раз покаюсь и уже по настоящему, «взаправду», и сделав так, то есть отложив причастие, я может быть согрешу меньше чем если причащусь, а потом, к ужасу моему увижу, что обманывал себя, то есть что мое покаяние не содержало в себе необходимости фактического, радикального изменения жизни.

Я хотя прекрасно понимаю, что христианская жизнь начинается с покаяния, что Иоанн Креститель, еще до самого Христа, указывал на путь к Царству Небесному через покаяние (Мт. III,2), но покаяние есть изменение жизни, а не только перемена мнения. И когда люди приходили к Предтече «исповедуя грехи свои» (6), то он говорил им строго, чтобы они «сотворили плоды достойные покаяния» (8), ибо «всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (10).

Поэтому, чтобы быть честным и искренним в моем покаянии, я должен, хотя бы сам для себя, проверить: не лукавым ли пустословием и фикцией является мое сегодняшнее теоретическое покаяние, изменяю ли я фактически жизнь, творю ли плод покаяния, или же на самом деле я представляю из себя настоящую бесплодную смоковницу, которой надлежит быть брошенной в огонь, а не причащаться «огню евхаристическому!»

Вот для этой проверки мне и нужно **время**, чтобы опытно убедиться в реальности и серьезности моего собственного покаяния. Поэтому, собрав в себе скудные, и не оплодотворенные еще, крохи веры, надежды и любви, я полагаю, что мне лучше повременить и отложить вкушение Тела и Крови Христовых на неопределенное время, чтобы быть честным, сотворить правду, и чтобы не только лишь обещать себе «быть достойным», но им явиться и по существу.

Таким образом, мои колебания относятся не к причащению (которое я хочу откладывать), а к **покаянию**. Я не могу забыть, что всякий «кто ест и пьет недостойно, тот в осуждение себе ест и пьет» (I. Кор. XI,29). Я знаю конечно, что «удостоиться» я могу лишь через покаяние, — но именно через **качество** моего покаяния, которое должно быть не теоретическим, а жизненным и плодотворным. В плодотворности этого покаяния я должен быть уверен, чтобы не фальшивить и не обманывать наивно себя и других. Поэтому, для таких как я и существует ведь в Церкви «покаянная дисциплина», считающаяся с потоком времени. «Время покажет!» — в этих словах есть большая жизненная правда. С течением времени многое выясняется. Поспешность и опрометчивость предосудительна не только в деятельности физической, но и в духовной. «Поспешешь — людей насмешишь!» — говорит мудрая пословица. И посеянные духовные семена не приносятся ли в терпении» (Лк. V,15)?!

Но думая так, я совсем забываю о двух вещах: во первых о том, что «дни лукавы суть!» (Еф. V,16), о том, что о часе и о минуте пришествия Христа никто не знает (Мр. XIII,33), и что, следовательно, по Евангелию, нам должно непрестанно бодрствовать и молиться, ибо конец **всему** может оказаться ближе чем мы думаем (I. Петр. IV,7). Притча о рабах (Лк. XII,36,40), которые должны всегда бодрствовать и в первую и во вторую и в третью стражу ночи, чтобы встретить своего Господина, когда бы Он ни пришел, — эта притча относится ведь и к нам, а не только к современникам Христа. «Да будут чресла ваши препоясанными и светильники горящими» (Лк. XII,35). Могут ли я откладывать мою встречу со Христом на год, на месяц, даже на неделю?! «Безумный! — может быть скажет мне Господь в конце сегодняшнего дня. — В эту ночь душу твою потребуют у тебя. Кому достанутся

плоды, которые ты заготовил принести завтра (Лк. XII,20) — плоды твоей веры, любви и надежды?»

Да кроме того, можно ли отделять временем плоды добродетели от ее источника и так сказать лозы — от сердца человеческого? Только ли спиритуальны и отвлеченны наши мысли и помыслы? Не прелюбодействует ли человек уже, думая о прелюбодеянии (Мт. V,28)? Материальные сокровища, о которых я мечтаю, не имеют ли уже в сердце моем свои житницы (Мт. VI,21)? Мое слово, которое я произношу устами, ведь из сердца исходит (Мт. XV,18) — как из него же исходят и кражи и убийства и коварства и все злые деяния (Мр. VII,21-23).

Любовь к Богу и ближнему конечно должна сказаться в делах «По плодам их узнаете их» (Мт. VII,16), и нет ничего **тайного** и сердечного, что не сказалось бы во вне (Мт. X,26), однако родник любви есть сердце. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим» (Мт. XXII,37-39).

Плохие дела злого раба проявились ведь потому, что в сердце своем он сказал: «Не скоро придет господин мой!» И бить своих товарищей, есть и пить с пьяницами он стал в своем сердце может быть уже задолго до этого деяния.

Семя слова Божия (семя вещественное и реальное) сеется ведь в сердце человеческом, которое есть реальная, а не абстрактная почва. Оно сеется в нем и прорастает в терпении (Лк. V,15).

Поэтому, когда я слишком различаю мою веру и плоды этой веры, то я не иду с апостолом по пути настоящей веры, который говорил: «**Мы ходим верою, а не видением**» (II. Кор. V,7). Вера реальна сама по себе, до того как сказались видимо ее плоды. Она плодотворна уже в себе, даже если еще не выявилась наружу. Живая вера не та, которая кому-то, или мне самому доказалась, но та, которая актуальна, которая входит в поток живого времени его разрывая, которая не «вчера» и не «завтра», а сегодня, сейчас, сию минуту. И в это мгновение времени я свободен поверить или не поверить, свободен сказать «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Может быть через полчаса я буду раздавлен автомобилем или распят на кресте, но в настоящее мгновение я — господин моего расположения, я имею страшную, невероятную власть уподобиться или правому или левому разбойнику, и это уподобление не иллюзорно, не фантастично, а **реально**. «Ныне же» я могу умереть или в раю или не в раю! («Ныне же будешь со Мною в раю!» — сказал Господь одному из разбойников).

Вера есть реальность того, на что мы надеемся, и видимость того, что не видимо (Евр. XI,1). Живая вера уже включает в себя и надежду и любовь. Если бы она не включала, то была бы не живой, актуальной, а мертвой, бытовой, антикварной. Вера без дел конечно мертва! Но нужно иметь веру, уже включающую в себя «дела». (Подобно тому как нужно иметь любовь к Богу, уже включающую в себя и любовь к ближнему, и любовь к ближнему, уже включающую в себя любовь к Богу (I. Ио. IV,20.)

Лютер не был прав, споря с апостолом Иаковом о вере, ибо и сам апостол-то не говорил ведь о спасительности веры, оторванной от дел, но учил о вере плодотворной, то есть о вере чреватой делами, о вере включающей в себя семя Слова Божия. (Иак. I,3,6, 8,21,22, II,1 III,14-18 IV,13-15 V,9,13-15)

«Дела» веры суть ее логическое следствие, осуществление которого может произойти или, в силу внешних причин, не произойти. Но если осуществление и не произойдет — как у правого разбойника или у Авраама не заколовшего своего сына (Иак. II,21-23) — то этим не умаляется ценность акта веры, включающей в себя и любовь и надежду.

«Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность» (Быт. XV,6). «Не делающему, но верующему в Того, кто оправдывает нечестивого», вера его вменяется в праведность. (Рим. IV,5). Хотя, честно говоря, осуществление веры может не произойти не только в силу внешних причин, этому помешавших, но и в силу причины внутренней, но тогда это будет означать, что вера моя была не крепкая, не настоящая, а легкомысленная и безответственная, не живая и не живучая — подул ветер, выросли тернии, прилетели птицы и вера не проросла в дела... Но если она живая, если уже включает в себе осуществление («уповаемых извещения» — Евр. XI,1), надежду и любовь, то она благословенна; к такой вере мы призываемся: «Имейте веру Божию!» (Мр. XI,23)

«Приимите, ядите; сие есть Тело Мое за вы ломимое» во оставление грехов... Приступать ко причащению можно конечно только имея живую веру, в то, что я буду вкушать не только хлеб... и что причащение Хлебу Евхаристическому «сотворит» (реально, в действительности) прощение моих грехов силою Крестной Жертвы Спасителя моего и меня обожит.

Это причащение, это вкушение будучи тайной веры, через саму эту веру сотворит актуальность моего Общения. Не через год, не через месяц, не завтра, а сегодня, сейчас — а вместе с тем и в Вечности — совершится чудо Пришествия, чудо преодоле-

ния времени и пространства. Трансцендентное станет имманентным, близким.

Чудо веры совершается не только при Причащении, оно совершается и при молитве и при доброделании и при терпении и при смирении и при радости и при прощении и вообще при всей жизни во Христе. Так что не только причащаясь, творя этот «Пир веры», я буду свидетельствовать об этой вере. Нет, и тогда, когда я называю себя христианином и живу по-христиански, и когда люблю, надеюсь, когда иду в церковь и ставлю свечку и когда выхожу из церкви, когда тружусь, творю, думаю, радуюсь, переношу тяжести жизни... я всегда выражаю мою веру. Выражаю или не выражаю! Ее имею или не имею!! И в этом все дело. (Ведь можно и «добрые дела» делать без веры, без того что они будут выражением **актуальной** веры!)

Поэтому можно сказать, что я не верующий не только тогда, когда откладываю Причащение «на после Поста», но и тогда когда откладываю мою жизнь во Христе на завтра. Живая вера не думает о завтрашнем дне (Мт. VI,34), а о сегодняшнем, об актуальном. Но главным образом я открываюсь в своем маловерии если откладываю со дня на день евхаристическое причащение Христу и выискиваю всяческие на то оправдания (вроде сознания моего «недостойства» или вроде желания проверки «реальности» моего покаяния). В сущности говоря, этим я свидетельствую о том, что я не имею актуальной веры и что актуально я еще не христианин, а только собирающийся лишь завтра или через месяц стать таковым.

Поэтому моей сегодняшней предварительной молитвой о «Хлебе насущном» (Евхаристическом) должна быть такая: «Господи, умножь в нас веру!» (Лк. XVII,5)! Живая вера это не то, что было вчера и не то, что будет завтра, но то что есть сегодня.

Если я не имею веры в настоящий момент, если не молюсь непрестанно, если уже не люблю Бога и людей сейчас, сию минуту, если не слышу актуальности слов Христа: «Приимите, ядите!... Пийте от нея вси» во оставление грехов», то я просто еще неверующий человек, какими были два Эммаусских ученика до того как их глаза открылись (Лк. XXIV,31), ибо «Очи же ея держастся, да Егò не познаета.» (16)

(продолжение следует)

## ПРИЗВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

(Слово сказанное на празднике Р.С.Х.Д. в декабре 1971 г.)

Сегодня мне довелось поразмыслить о наименовании «Русское студенческое христианское движение» — Р.С.Х.Д. Всякое слово тут знаменательно, но мне пришло в голову переставить слова и сказать «Христианское движение, студенческое, русское». Это конечно не предложение и не желание умалить значение какого либо из этих слов; это скорее всего программа того, что я намерен сказать.

Все из нас конечно согласны, что прежде всего надо быть христианином; быть же христианином это значит быть всегда в некотором движении. Поэтому эти два слова **христианское движение** неразделимы. Можно в христианской жизни различать два движения: одно вертикальное, другое горизонтальное. Вертикальное это есть прежде всего вхождение внутрь себя, а затем высь к Богу. Никто из нас не должен забывать, что нельзя быть христианином, не углубляясь в свой внутренний мир, не внимая тому, что в нас происходит, не разбираясь в том, что внутри нас плохо, а что хорошо. Плохое надо с молитвой отсекают из души, за хорошее благодарить. Все это возможно лишь при частой молитве, при участии в сакраментальной жизни Церкви, при чтении слова Божия и других религиозных, особенно свято-отеческих книг. Так, углубляясь в себя, сколько обстоятельства позволяют, мы начинаем постепенно восходить к Богу, которого можно встретить только внутри себя. В сердце человека, в сердце чистом происходит эта встреча — «чистые сердцем Бога узрят».

Но неизбежно, обретая в себе хотя бы луч Божьего света, мы начинаем горизонтальное движение, или становимся миссионерами, путниками по лицу земли, какими были апостолы. Самоуглубление для встречи с Богом и сияние слова Божия неотделимо одно от другого.

«Блаженнее давать, чем принимать» сказал Христос. Но, чтобы давать, надо что то иметь, что то приобрести.

Изучая историю Р.С.Х.Д. можно сказать, что в нем и в его членах есть, по крайней мере, зачатки того и другого движения.

Здесь уместно указать на две опасности: первая — слишком увлечься внешней миссионерской, особенно организационной деятельностью, в ущерб собственного духовного развития или наобо-

рот неопытно, не по силам углубиться в себя, увлечься религиозным чтением, забывая об окружающем мире.

Когда я говорю, что в Движении есть добрые задатки, это означает, что Движение должно всегда двигаться. Самодовольство есть всегда остановка. В религиозной жизни останавливаться нельзя, т. к. в ней нет предела для совершенствования.

Я не буду сегодня по настоящему развлекать тему о вертикальном движении, т. е. о духовной жизни.

Съезд в Аннеси, например, где было почти всеобщее благоговейное Причащение св. Тайн, является благоприятным свидетельством также и для Движения. Кроме того вопросам духовной жизни, как раз сейчас, посвящен последний номер *Messenger Orthodoxe*.

Прибавлю только, все же, три пастырских совета, которые нередко даю своим пасомым.

**1-ый совет** — на вечерней молитве или в связи с ней, припоминать прошедший день и просить у Бога прощения за то, что в нем было пережито нами плохого и благодарить за все хорошее. Это приучает к духовному вниманию. Обычно, довольно скоро, уже не только вечером на своем *examen de conscience*, но и днем, люди начинают замечать свои духовные оплошности и молиться о том, чтобы Бог предохранил от них и в то же время научаются замечать благодеяния Божии и благодарить за них. Бог становится тогда живым лицом, спутником человека и перестает быть отвлеченным понятием или существом находящимся где то над потолком, над крышей или над звездами.

**Второй совет** — это, сколь возможно, читать малыми глотками, но постоянно какую нибудь духовную книгу, иметь под рукой ее, как французы называют в качестве *livre de chevet*.

**Третий совет** — не забывать утренней и вечерней молитвы. При усталости и недомогании можно молиться и сидя, даже лежа, а утром при торопливости и во время пути, в метро, в автобусе или в своей машине. Главное конечно не в длине, а во внимательности молитвы. Если мы не забываем утром помыться, выпить свое кофе, как не найти время и для молитвы?

Говоря о движении горизонтальном, миссионерском, надо сразу же сказать что и тут также для дела непочатый край. Мы живем ныне в полуязыческом, или, хуже того, в безбожном мире, и чтобы свидетельствовать о Христе нам не нужно ехать в далекие страны, если только на то нет определенного свыше указания. Но где же именно свидетельствовать? Движение именуется **студенческим** и естественно свидетельствует о Боге и Церкви в

своей молодой, близкой себе среде. Но никак нельзя забывать и своего Прихода, к какой бы юрисдикции мы ни принадлежали. Приход основа Церкви. Нельзя не принадлежать к какому либо Приходу и не работать в нем.

Тут как не ужаснуться! Большинство наших Приходов становятся подобным старческим Домам, а кроме того, что имеет уже прямо зловещий характер, некоторые приходы закрываются за отсутствием молодой смены. Так некогда живой Приход на rue de la Tour должен был слиться с Приходом на rue de la Faisanderie, а потом исчез и этот двойной Приход. На днях бывшие прихожане Покровского Прихода на rue de Lourmel отказались сохранить за собой новый построенный для них храм. Закрыли и этот приход, давший в свое время трех мучеников, погибших в Гитлеровских лагерях. Действительно, где же двум десяткам отставных старичков содержать целый приход?! (\*)

Нетрудно представить, что вскоре мы останемся вовсе в пустоте, и прекрасная молодежь, которая собирается на безусловно очень хорошие съезды, которые я искренне считаю благословенными, не будут никого представлять, кроме как самих себя.

Повторяю, молодежь, в частности Р.С.Х.Д. должна объединиться, держаться друг за друга, но должна, по мере сил, вливаться также в приходскую жизнь, совершая там иногда как будто прозаическую, будничную работу.

Особенно плохо дело обстоит с приходскими четверговыми школами. Иные священники неспособны преподавать, а преподавателей мирян слишком мало. Мало конечно и даже совсем мало священников, особенно образованных. В Богословском Институте русские студенты наперечет.

**А молодых людей вообще вовсе не мало.** Есть множество молодых людей и людей среднего возраста вовсе отставших от церкви, в лучшем случае приходящих в храм на вынос Плащаницы или для освящения пасх и куличей. Хорошо, если есть такие, кто остается хотя бы на Пасхальную Утреню и еще, пожалуй лучше, если говеют хоть раз в год. Но и таких немного.

**Вот я и вижу две особо насущные задачи, о которых недо-**

(\*) Однако закрытие этих приходов есть неизбежное следствие социологических изменений. До сих пор в 15-м округе Парижа, помимо закрывшегося Покровского, существует целых три прихода. Больше нет, как в начале эмиграции, районов густо населенных русскими. Дети или внуки эмигрантов селятся по месту работы, в новых кварталах или пригородах Парижа. Посещают они скорее большие приходы или общины, перешедшие на французский язык. **Прим. Ред.**



Семинар о. Сергия Булгакова. На квартире Зандеров. Декабрь 1933. Стоят слева направо: В. Вейдле, Г. Федотов, Б. Совз. Сидят: В. Зандер, прот. С. Булгаков, мать Мария (Скобцова), мать Евдокия (Мещерякова), Ю. Рейглингер, А. Оболенская (ныне мать Бландина), В. Зеньковский, В. Ильин, Б. Вышеславцев, Н. Афанасьев, Л. Зандер.

статочно думать в юношеских организациях, это — во **первых** вливаться в приходскую жизнь, и во **вторых** — как то вылавливать из бездн церковного небытия то множество других молодых людей, которых назовем церковными отщепенцами.

Как это сделать? На это сейчас не берусь ответить. Я только ставлю перед вашим сознанием некоторые совершенно необходимые церковные задачи. Они могут решиться соборно и не без участия центральных церковных органов, но **инициатива** здесь может принадлежать юношеским организациям.

Теперь я перехожу к последнему вопросу — о **Русском Христианском Движении**. Как бы ни была увлекательна задача создать западное Православие, эта задача задана нам конечно самим Богом, рассеявшим нас по Западу, мы даже в этой работе можем оставаться духовно только русскими. Сколько бы ни было некоторых изъянов, местных, фольклорических в русском Православии, мы не можем не исходить из русского Православия, мы не можем безнаказанно для себя, вырвать себя из той духовной почвы, которая нас породила.

**И вправду** сказать, западные христиане нередко приходят к Православию, возлюбив сперва русский дух, нашу литературу, нашу музыку, а иногда просто и нас самих, как русских.

Я поставил русскость на последнем месте, потому что Православие универсально, но это конечно не означает, что я отрекаюсь от России, от своей почвы и призываю от нее отрезаться. Связь со своей духовной почвой мы должны всячески оберегать. К этому побуждает также несомненное религиозное пробуждение молодежи в России, о чем я имел недавно прямые потрясающие вести. Мы этому пробуждению «там» должны помогать и, кто знает, м. б. когда-либо наша помощь станет решающей.

Все сказанное мной имеется в известной всем, постоянно печатающейся декларации о целях Русского Христианского Движения. Я хотел только указать на некоторые более конкретные, непреложные задачи, вытекающие из смысла этой декларации. Если бы в Движении возникла попытка определенных действий, в указанном направлении, я всегда готов прийти на помощь, т. к. имею все же немалый опыт, как в лагерной, так и в приходской педагогической работе. Есть надежда, что и мой сан и положение в нашей церкви может быть вам полезным. Моя жизнь подходит к концу, но куда я жив, я не могу не жить тем, чем привык жить со времени моего церковного служения, а именно служением нашей православной молодежи.

## СУДЬБЫ РОССИИ

### НЕВЕЖЕСТВО НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОЛА \*)

(О состоянии современной психиатрии в СССР)

#### Очерк первый

История принудительного стационарирования А. С. Вольпина, изложенная в его записках, объявление, наподобие Чаадаевского, сумасшедшим генерала Григоренко, и другие подобные «подвиги» психиатров, не могут оставить равнодушным никого, кто информирован об этом.

Тем более, что эти происшествия — не исключение: известия о вмешательстве психиатров в мысли и поступки граждан, психическое здоровье которых ранее ни у кого не вызывало сомнения, становятся всё более частыми.

Цель этих заметок — защитить психиатрию и объяснить далекой от узкой специализации, хотя и жгуче интересующейся этими проблемами публики, что повинна в различного рода безобразиях не наука, а те, кто захватили власть в ней.

В истории стационарирования Вольпина несведущих поражает, прежде всего, внешняя сторона дела — грубая бесцеремонность санитаров, мало в чем уступающая им развязность врачей и поразительная (впрочем — в типично «начальственном» духе) беспринципность руководителей психиатрической службы, с легкостью отрицающих ими же сделанные заявления.

Сведущим же за ужасающей оболочкой открывается не менее безобразная сущность. Она может быть охарактеризована всего несколькими фразами: фактическая ликвидация сверху психиатрической науки, подмена ее немногочисленными и все более упрощающимися догмами, которыми очень легко руководствоваться, а еще легче — прикрываться, ничего, по существу, не зная.

\*) Всем известно, что в послесталинское время, один из методов подавлять инакомыслящих — заключить здоровых людей в психиатрические больницы. Жертвами этого произвола стали М. Григоренко, И. Горбаневская и многие другие. Печатаемый очерк, написанный в Сов. России, показывает как стало возможным такое страшное искажение психиатрического дела.

Прим. Ред.

Очень горько произносить такие слова, проработав в психиатрии 18 лет. Но от фактов никуда не денешься: хотя в последние десятилетия докторские диссертации по специальности «психиатрия» защищаются в СССР чуть ли не еженедельно — психиатрическая практика последней трети XX века в нашей стране (кстати, во многих странах Запада и Востока положение не лучше) опустилась до обывательского уровня. Исключения — и не такие уж редкие — ничего не доказывают: речь идет о тенденции. О страшной тенденции: обывательщина, поглотившая психиатрию, активно посягает на извечно уважаемые человеческие ценности.

Было бы просто объяснить чудовищное превращение гуманнейшей из медицинских дисциплин в орудие унижения человека только общим ожесточением нравов, общим снижением культуры — интеллектуальной и эстетической, и полицейским направлением ведомственных (а медицина — это ведомство) инструкций.

Во многом это справедливо. Но, во-первых, это отдельная тема, а, во-вторых, палачу мало быть бестрепетно беспощадным. Чтобы издеваться над жертвами надо располагать не только правом издевательства, необходимы еще топоры, дыбы, веревки, «испанские сапоги» и прочие «орудия производства».

У психиатров, добровольно взявших на себя палачество, или, выражаясь помягче, жандармские по отношению к пациентам обязанности, тоже есть свой «испанский сапог», который они примеривают каждому, если вздумается. Орудие этой утонченной интеллектуальной пытки называется «учением о шизофрении»: именно из этого зернышка, высаженного в начале века, произросли на отечественной почве столь пышные цветы зла, усердие, уже в течение 15 лет, насаждаемые в советской психиатрии профессором А. В. Снежневским и его все более и более плодящимися сотрудниками, которые, как всегда, больше католики, чем сам папа римский.

Было бы однако не совсем справедливо именовать А. В. Снежневского «злодеем № 1». Может, это было бы ему и лестно — но если рассматривать вопрос хронологически, то в доле разрушения психиатрии — Снежневский не на первом месте, заложены основы этого порочного учения гораздо раньше и при всем желании назвать нынешнего директора Института психиатрии АМН СССР первопричиной всех зол нельзя. Он и его единовверцы только продолжатели и подражатели, хотя и настолько ретивые, что далеко перешеголяли по части спекуляций и подтасовок фактов в угоду самообманчивой «теоретической стройности» самого Эугена Блейлера.

Имя этого швейцарского профессора, жившего в начале XX века, широкому кругу совсем или почти совсем неизвестно. Но чтобы понять откуда берутся врачи, пренебрежительно раговаривающие с больными и держащие их за запертыми дверьми без особых на то оснований — имя это надо знать: думающее человечество должно помнить не только о Прометеях, но и Геростратах.

Герострат Эуген Блейлер совершил против психиатрии в 1911 г. диверсию, катастрофические последствия которой, подобно распространяющейся радиации оказываются все больше и больше. На одном конце этого процесса располагается озарение, в недобрый час посетившее когда-то швейцарского профессора, а на другом — теперь уже армия психиатров, сводящих неизмеримое никакими терминами человеческое богатство к подобному кличке словечку «шизофреник».

Словечко это придумал Блейлер. И чтобы уяснить смысл катастрофического хода событий — необходимо совершить сверхкраткий экскурс в историю психиатрии. Я надеюсь, что экскурс этот не будет для читателя очень обременительным.

Самая древняя из медицинских дисциплин (о душевнобольных упоминает уже Библия — древнейший письменный памятник человечества) — и до сего времени самая отсталая.

Во многом причины здесь объективные: в то время, как другие медицинские науки, преодолевая тысячелетнюю средневековую отсталость и тьму, полностью перешли в течение XIX века на биологические рельсы, а сейчас сомкнулись в стремительном движении вперед (хотя горизонты и отделились) с молекулярной биологией, биофизикой, кибернетикой, электротехникой и т. д. — психиатрия и в XIX, и в XX веках продолжает блуждать в словах. Их накапливается, естественно, все больше и больше, как и больных — без особой для этих больных пользы.

Сама психиатрия здесь во многом не повинна — одно дело расшифровка генетического хода, точнее определение сложной комплексной мышечной работы, а другое — психика, которую надо познавать психикой же. Отсюда — и вынужденная ограниченность методики, и приблизительная описательность определений, не затрагивающих сущности феномена, и пестрая эклектичность лечебных мероприятий.

Лучшие умы психиатрического мира, — и прошлого, и нынешнего столетий, — чувствовали, конечно, отсталость любимой ими науки. Они догадывались, что помочь несчастным, служение которым стало для лучших умов жизненным уделом, подвижничестве-

ских биографий, подвигов, оценить которые по достоинству смогли только потомки (1), гениальных догадок, легших в основание строящегося здания психиатрической науки. Догадки эти тем поразительнее, что были высказаны в то время, когда и сама биология не очень твердо еще стояла на ногах, — а они, эти догадки, были прежде всего биологичны. Они неопровержимо доказывали зависимость неправильного поведения человека от биологических факторов.

Во второй половине XIX века отдельные проблески мысли во тьме тысячелетних невежественных представлений стали системной, психиатрия начала понемногу догонять другие, далеко ушедшие вперед медицинские дисциплины, тьма рассеивалась. Это не так уж и удивительно — в психиатрию раньше никого не побуждали идти, случайные люди в белых халатах редко оказывались среди персонала психиатрических больниц — сюда шли из искренних побуждений, приходили глубоко чувствующие, широко образованные и тонко наблюдательные медики. Пристальное сочувственное внимание (2) к пациентам и породило такое количество блестящих (спасательных, конечно) открытий, которые помогли выделить уже не только отдельные симптомы, но и симптомокомплексы — целостные и типичные, повторяющиеся у многих больных картины психического страдания. Терминология при этом оставалась словесной, психологической, но она всегда соответствовала действительности, тому что врачи видели, а не тому, что взбрело им в голову. Психиатры ходили пока по земле, но не потому, что не желали взлететь в небо, а потому, что не желали подпрыгнуть, чтобы тотчас упасть.

Только в конце XIX века профессор Эмиль Крепелин из Мюнхена создал первую нозологическую классификацию, где попытался описать не симптомокомплексы, а болезни, имеющие начало и конец. Крепелин первым начал строить лестницу в небо, хотя и

(1) снятие Филиппом Пикелем в эпоху Великой Французской революции цепей с душевнобольных в Саль-Петриере было не только актом гуманности, но и величайшим толчком к развитию психиатрической науки: освобожденных от цепей больных надо было лучше знать — хотя бы для того, чтобы чего-то от них добиться.

(2) миф о проницательности психиатров — гораздо более позднего происхождения, хотя мистическая окраска деятельности «врачевателей души» уходит в глубь веков. Но в XIX веке психиатры не считали себя «знатоками души», они относились к больному, как нынешние экспериментаторы к «черному ящику» — т. е. только объективно наблюдали поведение больных и делали выводы.

не всем его современникам эта лестница показалась достаточно прочной. Действительно — многие ступеньки ее были признаны выдающимися учеными XX века шаткими. Особенной критике подверглась концепция «раннего слабоумия». Крепелин выделил это заболевание по признакам (в первом, очень грубом приближении) «раннего начала» и «одинакового конца». Однако «одинаковый конец» оказался при дальнейшем рассмотрении во-первых — не одинаковым, во-вторых — не концом. И начало оказалось далеко не всегда ранним.

Но идея Крепелина упала, тем не менее, на благодатную почву — психиатрической науке требовалось уже оперировать не одномоментными, хотя бы и ярко описанными картинами болезней, а понятием «психическая болезнь» со всеми закономерностями течения. Гениальные догадки XIX века (3) несколько таких понятий уже создали.

«Раннее слабоумие» Крепелина и его же «маниакально-депрессивный психоз» завершили картину, они подвели черту под прошлым этапом научных поисков и знаменовали начало новой эры.

В начале-то этой эры и встал на пути психиатрической науки Эуген Блейлер.

Он тоже пришел в психиатрию из самых искренних побуждений. Он много работал и книги его выходили чуть ли не ежегодно. Но в отличие от предшественников Блейлер не пожелал больше топтаться на Земле. Он ринулся в небо, благо лестница была уже вчерне сколочена. И на самой шаткой ее ступеньке он не подвинул ногу, не свалился. Более того — он задержался на этой ступеньке и некоторое время спустя объявил, что укрепил ее настолько, что ходить вверх и вниз можно совершенно безбоязненно, более того — одна эта ступенька стоит всей лестницы.

В чем же заключалось укрепление, произведенное Блейлером? Говоря коротко — в безудержном, хотя и красивом фантазировании. У Блейлера, правда, уже был образец этого. Образец, завоевавший множество умов — Зигмунд Фрейд. Первым отказался от какой-либо опоры на биологические основы медицины именно он. Блейлер всего лишь последовал примеру Фрейда.

В «раннем слабоумии» Крепелина — понятие описательное и достаточно спорное. — Блейлер вложил «содержание». Оно было настолько же красиво, насколько ни в малейшей степени не соответствовало реальности.

(3) можно сослаться лишь на Бейля, описавшего прогрессивный паралич, и Корсакова с его корсаковским (алкогольным) психозом.

Блейлер, в сущности, предложил понимать «раннее слабоумие» не как разрушающий личность процесс, а как «образование нового духовного мира».

Человек образованный, Блейлер следил за событиями культурной жизни XX века (тогда считали неприличным знать только «свое дело». Цеперь это — в порядке вещей). С виртуозностью, достойной восхищения, не будь она кощунственной, он выдернул из живой жизни модные слова и объявил их признаком болезни.

Но сначала он придумал взамен «раннего слабоумия» слово «шизофрения», а точнее — «схизофрения», что в приблизительном переводе с греческого означает «расщепление души». Неточное это понятие привилось — не потому ли, в частности, что оно неточно и каждый мог понимать его в соответствии с собственным уровнем, даже — низким.

Главным же расстройством при выдуманной им «шизофрении» Блейлер объявил «аутизм» — понятие настолько туманное, что даже читая объяснения самого Блейлера невозможно понять, что к чему. Таким образом, в преобразованной крепелиновской болезни главным стали не начало, не конец, не закономерности течения, а «аутистическое мышление» — т. е. особое, присущее только данным больным, чем они и отличаются от прочих смертных. («аутос» — по-гречески — сам).

Особое мышление... Врачи ежедневно сталкивались не с особым мышлением, а с гибелью его, разрушением личности. Особое мышление, конечно, существовало и существует — но у здоровых, у каждого человека, считающего себя человеком. Блейлер приписал его больным.

Возможно он хотел приукрасить человеческие страдания, представив их не как разрушительный процесс, а как создание «нового мира новых ощущений» (подлинные слова Блейлера).

Во всяком случае он постарался описать этот «новый духовный мир», заимствовав для этого общечеловеческие понятия. «Особое мышление» было только «пробой пера», за ним последовали следующие хищения нормальных человеческих черт для приклеивания больным в качестве симптомов.

Правда, Блейлер немного изменял похищенные им у нормальной жизни термины — чуть-чуть, но изменил. Так, символизм стал «символизацией», т. е. будто бы присущим больным «ранним слабоумием» свойством расшифровать и кодировать сокровенные свои переживания под другими, далекими по смыслу словами. Такое, вообще говоря, иногда бывает у больных с достаточно бо-

гатым до заболевания культурным уровнем к достаточным (в сущности — нормальным) воображениям.

Но именно это, зачастую вполне понятное обусловленное символическое видение мира Блейлер провозгласил характерным симптомом шизофрении. Тем самым целое художественное направление, целая эпоха в музыке, литературе, живописи оказались под подозрением: этими «симптомами» они были переполнены до отказа. Богатство человеческого духа было приравнено к патологии. А. И. Солженицын через пятьдесят лет после этого награждаемый время от времени авторитетными лекторами с высоких трибун званием «ненормального», должен быть, в конечном счете, благодарен за это Блейлеру: с него началось примеривание психиатрических одежд к художественным ценностям...

Но дело не ограничилось «символизацией». Блейлер произвел в болезненные симптомы многие другие обычные человеческие, хотя и не у каждого встречающиеся качества: манерность (к ужасу множества старых и молодых актрис), вычурность (к радости многих незадачливых поэтов, довольных, что могут привлечь к себе внимание если не творческими успехами, то хотя бы мнимой психической «особостью»), словотворчество (футуристы, однако, не обратили на это никакого внимания).

И, наконец, признаком душевной болезни, которую Блейлер нарек «шизофренией», — признаком, будто бы свойственным всем абсолютно больным, а на деле — свойственным всем без различия образования, профессий, склонностей людям, — таким именно признаком была провозглашена противоречивость намерений, — та самая раздвоенность, что столь характерна для человека конца II-го тысячелетия нашей эры, — хорошо всем известные внутренняя неустроенность, склонность к сомнениям, приобретенные человечеством в ходе прогресса и обязательные не только для философов, но и для всех смертных.

Именно эта раздвоенность наряду с аутизмом и стали для Блейлера кардинальными симптомами бывшего крепелиновского «раннего слабоумия», а с 1911 года — шизофрении: не начало болезни, не исход ее, не типичные закономерности, а — скопление надуманных симптомов.

В плане чисто методологическом — это был возврат к очень давним временам (на худшем только уровне) клинического описательства. В плане практическом — это означало поворот психиатрии с путей научного поиска, отказ от строгого анализа фактов и не менее строгого их отбора. Тем самым психиатрия

неминуемо забредала в область бесконечных и беспочвенных измышлений, которых если и объединяет что-нибудь с фантазией (о науке и говорить не приходится) — то только внешняя (для обывателя) занимательность.

Больным, которые переполняли психиатрические больницы, годами не видя света божьего, теряя в силу одного только почти тюремного режима всякий интерес к окружающему (это тоже получило свое название — «эмоциональная тупость» — и было провозглашено еще одним кардинальным симптомом) — этим больным занимательность врачебных рассказов не облегчала участи.

Неизвестно, стало ли легче от этого Блейлеру, — все же он был психиатром старого, девятнадцативекового воспитания и жалел пациентов. Досадно, что он не пожалел здоровых. Крупный логический (не говоря уже о прочем) просчет Блейлера как раз и заключается в том, что у больных действительно могут наблюдаться и склонность к самоанализу, и эмоциональное опустошение, и бессмысленные неологизмы, — но все эти явления могут быть — и едва ли не в большей степени — обнаружены у здоровых. Недопустимо поэтому провозглашение отдельных черт поведения или отдельных высказываний болезненными симптомами, так как симптом — это признак болезни и двойного толкования этого быть не может.

Блейлер смешал все вместе, он — вольно или невольно — расширил право психиатров на признание болезни в тех случаях, когда ее и вовсе не было, а были лишь черты характера, привычки, наклонности, ничего более, чем черты характера, привычки или наклонности не обозначающие.

Лестница в небо, сооруженная Блейлером, повела психиатрию не высоко вверх, а вниз — в глухое подземелье разума, где погасли все искры истины, высеченные из незнания психиатрами XIX века.

Пятьдесят лет спустя приходится только поражаться, как фантастические подтасовки Блейлера, преподнесенные им как описание «главной психической болезни», не стали уже через год после обнародования всего лишь трагикомическим воспоминанием о том, как однажды одного профессора обуряла жажда научного творчества.

Однако — факт остается фактом: сочинения г-на Эугена Блейлера удержались и укоренились в сознании многих психиатров как истина в конечной инстанции.

Здесь нет места подробно рассказывать, как против «учения о

шизофрении» с самого начала высказывались наиболее дальновидными учеными решительные возражения. Как не воспринял ни крепелиновское учение «о раннем слабоумии», ни блейлеровскую теорию неисправимый противник схематизма и надуманности в науке профессор В. П. Сербский, не повинный, к слову говоря, ни на йоту в деяниях института судебной психиатрии, носящего его имя (Сербский умер в 1918 г.). Как к чести отечественной психиатрии, (носящей его имя?) очень осторожны были с этим коварным диагнозом многие советские ученые. Как в 1937 г. настоящий и беспощадный бой на II Всесоюзном съезде психиатров был дан если не самой шизофрении, то ее не менее чудовищному порождению — «мягкой шизофрении», иначе говоря — реальному распространению идей Блейлера на психически здоровое население, если индивидуальные черты обследованного энтузиастами гражданина не совпадали с придуманными ими «нормальными мерками» (а гражданин писал стихи или варил сталь, никого не беспокоя). И как уже в 50-е годы профессора, А. Л. Эпштейн из Днепропетровска, А. С. Чистович из Ленинграда, П. Ф. Малкин из Куйбышева, А. Ю. Выясновский из Одессы со своими учениками смело заявили на страницах журналов и со съездовских трибун научной мысли XX века.

Ниже мы скажем о судьбе этих профессоров и карах, постигших их, за научную принципиальность и честность.

Сейчас же приходится констатировать, что несмотря на все возражения пересаженное со швейцарской на русскую почву экзотическое Блейлеровское растение дало чудовищные плоды. Они распространялись с удивительной быстротой — как и все сорняки. Постоянно появлялись сообщения, что то одному, то другому врачу удалось явственно наблюдать у своих пациентов все эти симптомы и эмоциональную тупость, и аутизм, и «резонерство» (театральное амплуа — склонность к наставительным монологам, не всегда нужным и оратору, и слушателям, — тоже было провозглашено «ведущим симптомом» шизофрении). Множились журналы (4), где идеи Блейлера развивались и подхватывались: авторы словно взяли обязательство перещеголять друг друга в рассуждениях о малопонятных им вещах. Чуть ли не со скоростью света выходили монографии, где уточнялись и отшли-

(4) почитаемый шурином бухгалтера Берлаги «Ярбух фюр психоаналитик», придуманный Ильфом и Петровым, — сатирическая транскрипция резонерства (в обычном смысле), охватившего науку.

фовывались критерии «аутистического мышления», «особенностей схизиса» и прочая, и прочая, и прочая: отставая на века от общей медицины, психиатрия по части изобретения терминов никому не уступала пальму первенства.

И все эти журнальные статьи, монографии, разговоры на конференциях обозначали только одно: психиатрия со все возрастающей быстротой впадала в грандиозный самообман.

Его всеми силами подкрепляли. «Шизофрения» обростала не только терминами, но и биохимическими, патологоанатомическими, электрофизиологическими, неврологическими, генетическими, экспериментально-психологическими, а позднее — вирусологическими, иммунологическими и психофармакологическими исследованиями, дополненными т. н. «изучением высшей нервной деятельности больных шизофренией». Химера обрела кажущуюся плотность, а это — наихудший и наиопаснейший вид химер.

Право же, алхимики средневековья заслуживают большего почтения, чем все эти исследователи, которые вооружившись электронными микроскопами и атомными изотопами ринулись искать «основное соматическое расстройство» прошизофрении. Алхимики хоть искренне верили, что ртуть возможно превратить в золото, если над колбой произнести заклинания, и не привлекали для доказательств этого атомную теорию строения вещества, им неведомую. Алхимики бросили бы свои бесплодные занятия и сорвали бы со своих голов средневековые магистерские шапочки, если бы знали, что заклинаниями невозможно изменить атомную структуру химических элементов.

Психиатры же, изучавшие шизофрению, орудовали микробюретками и микрогальванометрами, напав на магистерские головные уборы, хотя, вооруженные сногшибательными достижениями биологии, давно должны были понять, что из слов в XX веке биологические открытия не делаются.

Вся громада исследований (эффективный список направлений, по которым они предпринимались, приведен выше) была бесполезна, потому что изучалась гипотетическая, в сущности, клиническая единица, и серьезные биохимики и электрофизиологи включались в дело уже после того, как основания «шизофренического мышления» врачей был выставлен роковой диагноз. Огромный труд норвежца Гьессинга, например, скрупулезно изучившего обмен при кататонии — имел значение только для этого синдрома, встречающегося почти при всех психических болезнях, хотя находки Гьессинга были объявлены специфичными именно для «кататонической

формы шизофрении». Точно так же и все остальные исследования — они производились уже после того, как по зачустую надуманным и зыбким основаниям у больных определялась «шизофрения», хотя могло быть на самом деле любое другое психическое заболевание, если оно действительно было.

Удивительно ли, что получались совершенно разнородные и неопределенные данные? Иначе и не могло быть — изучались ведь совершенно произвольно выделенные группы больных.

Иногда, правда, эти исследования приобретали сенсационный характер — наподобие Бошняковского, недоброй памяти, «научного перевода». Так, в 30-е годы Г. А. Ротштейн и М. Я. Серейский оповестили советский психиатрический мир об открытиях ими специфических электрофизиологических параметров (электропотенциалах) крови больных шизофренией. Позже проф. П. Е. Скосарев нашел будто бы в 3 и 5 слоях коры головного мозга пустотки — мнимые локальные свидетельства шизофренического процесса. А в 1954 г. В. М. Морозов совместно с М. Н. Морозовым на Всесоюзной конференции объявили, что обнаружили не что иное, как «вирус шизофрении».

Но в отличие от Бошняковских сенсаций — эти «открытия» умирала тихо, избалованные коллегами без особого шума: «электропотенциалы коры» оказались электропотенциалами кожи, скосаревские пустотки — артефактом (лабораторным браком), а «вирусы» — вообще неведомо какими образованиями, которые кроме отца и сына Морозовых никто больше не увидел. (5)

Но Бог с ними, с сенсациями. Гораздо важнее и страшнее, что диагноз «шизофрения» укоренился и на историях болезни, и в сознании многих и многих психиатров.

В причинах повальной успешности этого самогипноза надо разобраться подробнее. И едва ли не самой главной причиной было то, что проблема, по существу, не была надумана — наоборот, она требовала пристального внимания.

Вообще ведь в науке не бывает надуманных проблем. Хоть каким-то краем они соприкасаются с действительными потребностями жизни. Так ведь и преступные спекуляции Лысенко в основе своей подталкивались потребностями общества в больших урожаях. Так ведь и «павловское учение» искренне было принято

(5) сенсации, кстати, время от времени обрушиваются и на «серьезную» западную науку — таково, например, «шизофреническое вещество» в крови, обнаруженное будто бы американцами, а затем «раструбленное» уже советскими научно-популярными журналами.

на вооружение многими физиологами потому, что (пока не выявились гипотетичность павловских умозаключений и ограниченность методики) сулило разгадку многих тайн мозга.

Так же точно и «теория шизофрении» удерживалась благодаря насущным потребностям врачебной практики.

Практика эта показывала, что ежегодно десятки и тысячи людей молодого возраста выбывали из жизни, не умирая. В стенах психиатрических больниц навсегда погибали для общества будущие математические гении, литературные таланты и просто люди, каждый из которых мог сколько-нибудь (хоть самое малое) сделать — если не для других, то для себя.

И когда в 1933 г. счастливая в той же степени, что и закономерная находка Манфреда Закеля показала, что этих больных можно лечить — положение не изменилось: выздоровление наступало не у всех, а у тех, у кого оно наступало, — оказывалось зачастую непрочным (6).

Проблема взывала, проблема заставляла ломать головы. Но не проблема шизофрении — проблема психических болезней вообще; и эту проблему — на уровне достижений медицины и биологии середины XX века — можно было бы разрешить, призвав в союзники ряд действительно перспективных дисциплин, дававших возможность доискаться до внешних, в самой жизни коренящихся, истоках неизменного поражения психическими заболеваниями каждого поколения, — до алкоголизма, инфекций психических травм, неблагоприятной наследственности.

Но пока профессора, между собой, не находили общего языка (не так это просто!) — «теория шизофрении», паразитируя на изъеденном временем стволе проблемы, процветала. Она ловко использовала драматические обстоятельства: от ученых споров больные не поправлялись. Точнее — результаты этих споров должны были сказаться очень не скоро, а проблема была для практических работников вопросом не будущего, а самого злободневного настоящего.

Тут-то и сказалась практика, заваленного неотложными делами: практический врач существо более, гораздо более просто организованное, чем профессор, хотя бы потому, что сомневаться

(6) Закель тоже следовал «теории шизофрении» — он полагал, что нашел способ лечения только этой болезни, и «добился» фантастических результатов, которые никто впоследствии не смог превзойти, потому, что, как выяснилось, поправлялись у Закеля совсем не больные «шизофренией», а именно другие больные.

ему некогда (7). Практическим врачам приходилось представлять себе проблему гораздо новее — и тут-то услужливая «болезнь Блейлера» сулила неисчислимые блага, прикинувшись каким-то, хотя и за семью, возможно, печатями, способом единообразной диагностики и единообразного лечения.

А если вдобавок и профессор, шефствовавший над больницей, исповедывал ту же «теорию» (профессора — тоже люди, им тоже иногда хочется не сомнений, а простоты и ясности...) — то можно ли было думать иначе? Авторитет профессора (да еще живущего в одном с тобой городе) слишком велик для рядового работника, чтобы послушаться.

И вообще «с шизофренией стало легче жить». Не надо было ломать голову, размышлять, думать — фантастических «симптомов» было так много, что достаточно было проштамповать диагноз шизофрении, чтобы оказаться вровень с веком. (8)

Так шаг за шагом, начавшись с произвольных конструкций Блейлера, порйдя через ученые споры, «теория шизофрении» вместо того, чтобы сохраниться в памяти потомков как забавный анекдот, обретала вещественную силу и овладела широкими психиатрическими массами. Преградив путь разуму, развращая врачебное мышление и губя психиатрическую мысль, сия теория разлеглась поперек дороги, преградила все выходы и привела на распутье, откуда вело много тропинок, но, как в сказке, каждая приводила к гибели.

Гибели этой способствовало одно важнейшее обстоятельство: «теория шизофрении» оказалась чрезвычайно удобной во многих смыслах. Давно ведь замечено, что идеи подразделяются не только на прогрессивные и реакционные, но еще и удобные и неудобные. Притом консервативные оказываются удобнее всего: в признании их доказательства подменяются привычкой «думать именно так», жизнь и факты существуют сами по себе, а «всех удовлетворяющие концепции» живут не считаясь ни с жизнью, ни с фактами, с удовольствием приспосабливаясь под любые существующие обстоятельства.

Такими вот необычайно удобными оказались «идеи Блейлера». Ниже мы расскажем, как они прижились по вкусу власть предер-

(7) Профессора — существа сложные, часто они действительно не только больше знают, чем простые смертные, но уж во всяком случае больше сомневаются.

(8) давно известно, что «вместе с веком» идти легче и проще, чем — наперекор веку или, тем более, впереди его.

жащим. О том, как они привели в восторг практиков и продолжают очаровывать их сейчас — тоже будет сказано в свое время. Пока же хочется привлечь внимание читателя к тому, как использовано было удобство шизофренических концепций теми, кто карабкался к вершинам науки в поисках отнюдь не истины — материальных благ.

Так называемая «шизофрения» оказалась очень выгодным полуфабрикатом для производства научных работ (в нашей стране «научной работой» считается каждое опубликованное, хотя бы и малым тиражом, но непременно типографским способом сочинение, какова бы ни была его действительная ценность).

Работы, посвященные «проблемам шизофрении»; превысили к середине столетия все остальные работы по психиатрии — ведь число больных шизофренией считалось более чем в 50 % от общего числа психически больных. Но пока все, написанное о шизофрении, касалось одних лишь психиатров — это было вроде ведомственной коллективной игры, в которой ставки были невысоки, как и тогдашние профессорские оклады.

Но как только они возросли (в газетах того времени много писали тогда по поводу «заботы партии и правительства об ученых»), как только появились оклады академические — тихая настольная игра приобрела характер кулачного боя, в котором, вопреки уличным благородным правилам, топтали ногами лежачих.

Началом всего явилась «историческая» (так ее величали лет пятнадцать подряд) объединенная сессия АМН и АН СССР, вошедшая в геростратовский список «великой сталинской эпохи» под именем «павловской»: достойная наследница и приемщица не менее «исторической» сессии ВАСХНИЛ. Результаты «павловской» сессии хорошо известны — травля Л. А. Орбели и других виднейших ученых, узурпация в руках некоторых наиболее ловких «учеников Павлова» неограниченной власти в физиологической науке и т. д.

Но гораздо меньше известны плоды другого «научного собрания» — сессии АМН 1951 г., специально посвященной «положению в психиатрии и физиологии в свете учения И. П. Павлова». Именно на этой сессии знамена карьеризма, подлости и беспринципности заплескались особенно победоносно. Именно на этом «научном собрании» и были заложены основы нынешнего бедственного положения советской психиатрии.

Говоря кратко — никакого отношения к науке сессия не имела. В «трудах» ее, правда, изданных позже, можно найти и дей-

ствительно научные материалы — но не в основном тексте, а в той его части, куда вошли «несостоявшиеся выступления». Между прочим, одно такое «несостоявшееся выступление» (доцента П. Е. Вишневого из Ленинграда) атаковало шизофрению как концепцию со всей страстностью, но затерялось в сотнях страниц, посвященных одному-единственному вопросу: соответствуют ли слова, сказанные в течение многолетней своей деятельности (у иных — с начала века) ведущими советскими психиатрами, «павловскому учению». Все авторы поголовно устанавливали, что — не соответствуют...

В целом же сессия носила характер грандиозного сведения личных счетов, предпринятого по инициативе и с благословением властей предрежущих. Любопытно, что по времени сессия продолжила шумную кампанию антисемитской «чистки кадров» в ряде медицинских ВУЗов под видом т. н. «аттестации» (из одного только 1-го Московского медицинского института было удалено 100 профессоров, доцентов и ассистентов — евреев), а сомкнулась — уже в 1952 г. — с такой шумной антисемитской кампанией «поисков убийц в белых халатах».

В значительной степени антисемитский характер имел на сессии 1951 г. основной доклад, представленный соавторами (имена их неплохо вспомнить — А. В. Снежневский, И. В. Стрельчук, О. В. Кербинов, В. М. Баншиков). Крупнейшие советские психиатры — М. О. Гуревич, А. Л. Эпштейн, А. С. Шмарьян, Р. Я. Голант (список — в национальном разрезе — достаточно красноречив) были признаны «антипавловцами». В те годы это было почти равносильно знаменитому термину «враг народа». Правда, тогда, после сессии никого не арестовали (арестовали позже, через год, и не психиатров, терапевтов и невропатологов), «антипавловцев» только клеймили и изгоняли с работы. Профессор Михаил Осипович Гуревич, так много сделавший для советской психиатрии, не только психиатр — но и великолепный невропатолог и патогистолог, автор блестящих работ, обосновавших органическую природу психических заболеваний, был удален с кафедры психиатрии 1 ММИ, которой заведывал 14 лет. Профессор Марк Яковлевич Серейский, соавтор Гуревича по пяти изданиям учебника психиатрии для медицинских институтов был отстранен от заведывания кафедрой психиатрии Центрального института усовершенствования врачей. Из института им. Сербского были удалены Ц. Фейнберг и М. Халецкий, лишены кафедр и Р. Я. Голант, и А. Л. Эпштейн, а о вторых профессорах и говорить нечего: они в лучшем случае отпра-

лялись из столиц на периферию, чтобы «укрепить кафедры провинциальных вузов», где их, к слову сказать, принимали очень радушно, окружая почетом совсем не как недавних «врагов науки». А освобожденные этими врагами места немедленно заполнялись «победителями» — авторами того самого обвинительного доклада, послужившего отправной точкой их головокружительной карьеры, подробно о которой будет сказано дальше. Пока же — только сухая справка: А. Снежневский занял кафедру психиатрии Института усовершенствования, Баншиков стал вторым профессором, а затем — и заведующим кафедрой психиатрии 1 ММИ, Кербинов — возглавил психиатрическую клинику 2 ММИ, вытеснив даже такого известного (хотя, в сущности, при обилии ученых трудов — малопродуктивного) старейшего советского психиатра как В. А. Гиляровский. Звезда нынешнего директора Института судебной психиатрии им. Сербского Г. В. Морозова воссияла над психиатрическим миром в это же время — он объявился в клинике им. Корсакова (1 Моск. Мед. Института) в качестве доцента.

На первом этапе «борьба» за павловское учение в психиатрии свелась, таким образом, к захвату энтузиастами «очистительной борьбы» самых лакомых и жирных кусков от не очень тогда еще пышного психиатрического пирога. (9)

Последующий же этап «внедрения истины» был откровенно позорным: высказанные за 15, 25, 35 и более лет до этого гипотезы Павлова были объявлены неоспоримыми догмами, их примеривали к психиатрической симптоматике и везде находили «соответствие» клинических и физиологических данных (и то, и другое было в равной степени фантастично и бездоказательно). Именно в эту пору число диссертаций, защищенных психиатрами, круто поползло вверх, хотя никто еще не мог предсказать массовую инфляцию в конце 60-х годов. Но темы диссертаций и тогда уже высасывались из пальца. Так, В. Баншиков получил степень медицины за работу «Идеи нервизма в русской медицине XIX века», а Д. Федотов — такое же звание за «Очерки истории русской психиатрии первой половины XIX века».

Эпохи причудливо переплетались: фантазирование «на павловские темы» весьма удачно сочеталось с гаданием на кофейной гуще на темы блейлеровские, а на всё это накладывалось сияние

(9) в сферах политической, хозяйственной, художественной можно найти тьму примеров, когда «внедрение нового» сопровождалось, как и в психиатрии, прежде всего «сменой руководства» — как будто возможно какое-либо руководство идеями...

идей «борьбы с низкопоклонством, за восстановление приоритета русской науки» с «мичуринским направлением в биологии». (10)

В этой мутной воде скоропалительных перемен к руководству наукой пробарахтались (некоторые, правда, перешагивали через трупы утопленных противников) деятели, по нравственным своим качествам не только не походившие на подвижников XIX века, но и перещеголявшие по части подлости и пронырливости иных политиков, тесной толпой окружавших большие и малые троны.

С некоторыми биографиями прорвавшихся тогда к руководству советской психиатрией лиц читателю был бы небезинтересно познакомиться.

Начинать можно с каждого — все друг друга стоят.

Наиболее колоритен, пожалуй, В. М. Баншиков. Питомец клиники им. С. С. Корсакова (1 Московский мединститут), он после окончания аспирантуры был главным врачом одной из подмосковных больниц, где прославился кутежами, разгулом и умением ладить с начальством. Ладил он настолько ловко, что побывав во время войны начальником госпиталя (известно, что в военное время от начальника госпиталя требуют не знаний, а иных, войной продиктованных качеств) — после войны Баншиков стал вдруг директором Медгиза — издательства Медицинской литературы. Здесь он приобрел скандальную известность жульническими махинациями, подписыванием своего имени в качестве авторского под рукописями, ему не принадлежащими (об этом даже писал «Медицинский работник» — так раньше называлась «Медицинская газета»)

Никаких кар на голову Баншикова, однако, не обрушилось, и он продолжал до 1952 г. «оставаться на посоту», к психиатрии имея отношение лишь косвенное (числился докторантом в клинике им. Корсакова).

Все изменилось после 1951 г. — Баншиков, обзаведясь в «павловскую эпоху» не имеющей никакой ценности докторской диссертацией, стал вторым профессором, а затем — и директором клиники им. Корсакова, энергично вытеснив оттуда сменившего М. О. Гуревича проф. Попова, возглавил — и в течение 15 лет

(10) Чего стоит, например, очень модное в 50-е годы «доказательство», что шизофрения была впервые описана не Крепилином и не Блейлером, а «предвидена» не только Корсаковым и Кадинским (вторая половина XIX века), но и жившими в первой половине минувшего столетия Дядьковским и Малиновским...

возглавлял — и Всесоюзное, и Московское общество психиатров и невропатологов; стал, короче говоря, официальным руководителем психиатрической науки.

За все время своей сногшибательной карьеры Баншиков, тем не менее, не приобрел уважения со стороны даже наиболее подобострастных своих сотрудников. Все, работавшие с ним, единодушно отмечали его вопиющую психиатрическую малограмотность, отношение к психиатрии как к собранию анекдотов, неспособность к научному творчеству, что не мешало ему опубликовать несколько сот научных работ, подписанных, правда, не одним Баншиковым, а им и соавторами (Баншиков часто в эти работы и не заглядывал — приобретенные на посту директора «Медгиза» навыки пригодились...). Плотоядные же наклонности Баншикова в пору пребывания его у власти развернулись в наибольшей мере — он пересылал лекции скабрёзностями и сальностями, а каждую новую женщину-сотрудника рассматривал как потенциальную любовницу. Что касается банкетов, которые он буквально приказывал организовывать, то там он, напившись, бесчинствовал, никого не смущаясь...

И ничто — ни полнейшая научная несостоятельность, ни моральное убожество, — не мешало Баншикову руководить все это время съездами, конференциями, представлять советскую психиатрию на встречах с зарубежными гостями и т. п. Лишь в 1969 г. он объявил о своем намерении уйти в отставку со всех своих постов «на заслуженный отдых», что было воспринято всеми без ужаса, но и без радости — к пустоте на самом вершине советской психиатрии давно привыкли.

Биография другого «корифея» отечественной психиатрической науки А. В. Снежневского строже и благоосразнее, хотя вред, причиненный им обществу, несоизмерно больше, чем баншиковский. Обладая незаурядными способностями, Снежневский написал в молодости несколько действительно ценных работ, небезуспешно руководил Костромской психиатрической больницей, а после 1950 года, побывав во главе института им. Сербского, очищенного после «павловской» сессии от многих нежелательных лиц, включился деятельно в «борьбу за павловское учение» в масштабе всей страны. Сочиняя доклады, говоря речи, подобные докладам и речам на сессии АМН в 1951 г., приспособливая павловские наивные гипотезы к клиническим симптомам, и в процессе этого доказывал всем собственную необычную способность к приспособлению. С 1954 г. он начал проповедовать «собственную теорию шизофре-

нии», которая первоначально выступала как «шизофрения, объясняемая с павловских позиций», затем — с «точки зрения адаптационного синдрома Селье», и далее — шизофрения «в психофармакологическом разрезе», шизофрения в «эпидемическом освещении», и, наконец, как «шизофрения, разделенная по течению».

Самым главным качеством Снежневского как «ученого» оказалось, таким образом, фантазирование — качество, роднящее его с Блейлером, которого он иногда, шеголяя знанием, и недурным, немецкого языка поругивает с приведением цитат. Главным же методом, при помощи которого Снежневский столь успешно удерживается во главе науки, ничем ее не украшая, оказалась близость к бывшему министру Курашову, а совсем не авторитет в научном мире («авторитет» пришел позже, но об этом дальше). А главным итогом деятельности Снежневского (он теперь действительный член Академии медицинских наук, редактор «Журнала невропатологии и психиатрии») явилось создание школы воинствующих невежд, о чем тоже будет сказано ниже.

Еще одна биография — помельче, но чрезвычайно характерная для описываемой эпохи. Ныне этот профессор (М. П. Невский) занимает кафедру в Ростове на Дону, а в 1951 г. он был ассистентом в клинике им. Корсакова; ученик М. О. Гуревича — он был им в 1945 г. извлечен из провинции, где ему грозили большие неприятности (будучи в годы войны главным врачом Ульяновской психиатрической больницы Невский попался на присвоении золотых вещей эвакуированных и умерших затем в эвакуации психически больных). За благодеяние Невский отплатил учителю полновесной монетой: в 1950 г. выступил с публичным доносом на Ученом Совете 1 мединститута, когда поднялся вопрос об «антипавловских прогрешениях» кафедры психиатрии. Позже Невский, заведующий кафедрой в Челябинске, получил известность как охотник за студентками; в этой охоте его не останавливали четверо собственных детей... Что же касается научной деятельности Невского — то не считая кандидатской диссертации, написанной под диктовку М. О. Гуревича, он ничего не создал (десяток или два доносов, естественно, научной работой признаны быть не могут), хотя, конечно, давно уже доктор наук.

Не менее омерзительны опирающиеся на интриги, доношительство, откровенную подлость и научную беспринципность карьеры Г. В. Морозова, Ромасенко, Портнова и других — «молодого поколения». Исключение составляет разве только один Морозов В. М. — нынешний зав. кафедрой Института усовершенствования вра-

чей. Выходец из «научной» семьи (его отец — всемирно известный вирусолог) получил блестящее образование и прочел все, что можно прочесть по психиатрии и смежным дисциплинам на 4 или более языках. Но приобретенная в результате этого эрудиция носила — и сейчас тоже носит — начетнический характер, что-либо самобытное Морозов создать не смог, исключая лишь упоминавшуюся нами «вирусную теорию шизофрении». Длительное время работая с Снежневским — В. М. Морозов полностью подчинился ему, приучившись смотреть в рот энергичному шефу, и выступает сейчас только в качестве его тени, ничего не производя самостоятельно.

Таким образом, на гребне «борьбы за павловское учение» к власти в психиатрической науке пришли лица или обладающие нулевым научным потенциалом, зато — совершенно беспринципные, способные на подлость и доносы (не только публичные), или — лица, хотя и образованные, но научно бесперспективные, всецело подчиняющиеся обстоятельствам.

При всей разности характеров и биографий — объединяло их одно: жгучее желание любыми способами удержаться во главе науки, жить диктуя другим, и ни перед кем не отчитываться. Но для достижения этих целей необходима была симуляция научной деятельности. На первых порах выручало кокетничанье с «павловским учением», чем все они успешно и занимались. Потом главным для всех мотивом деятельности стал «психофармакологический взрыв» (заимствованные за границей многочисленные препараты, воздействующие на отдельные симптомы). И все в конце-концов свелось к «единству на почве шизофрении» — области темной, пригодной для любых произвольных толкований, а отсюда — крайне перспективной для изображения научных потуг. Невежество многих «профессоров» и их учеников сыграло в цементировании этого единства далеко не последнюю роль. И не менее важным основанием этого единства подлости и незнания была помимо безответственности слов, заключений и поступков относительно бессильных защититься от них больных — и сама «теория», предлагавшая легкую жизнь для тех, кто согласен ее исповедовать.

Правда, этой легкой жизни угрожали некоторые профессора, занимавшие вполне авторитетные кафедры. Они пробивались на страницы журналов и на трибуны съездов, они призывали психиатров одуматься и осознать, какую угрозу врачебному разуму означает чудовищная помесь блейлеровских фантазий с современными психофармакологическими достижениями.

Умилительному волчьему единству невежества и интриганов грозил крах — уходила из-под ног благодатная почва, с которой они снимали обильные урожаи повышенной зарплаты: ликвидация псевдоучения о шизофрении обозначала и ликвидацию всех их «заслуг». И в 70-е годы новые начальники психиатрической науки, которых лишал будущего высокий дух научного поиска, высокая требовательность к фактам, стремление помочь больному независимо от того, сколько за это заплатят, проявленный «антишизофренистами», — эти начальники расправились с дерзкими, посягнувшими на благополучие руководства, с наименьшей жестокостью, чем в свое время с «антипавловцами». Избавиться от нескольких человек, атаковавших ложные, хотя и широко распространенные взгляды, было легче, чем отказаться от сладкой шизофренической жизни. И — началось «избавление»...

В ход были пущены сплетни, «научная» травля и административные рычаги. Об «антишизофренологах» рассказывали злобные анекдоты, ни в коей мере не соответствовавшие истине, в случае различных служебных осложнений на их кафедрах — немедленно принимались крутые «воспитательные» меры, так что наказывались, прежде всего, руководители — те же «антишизофренологи», которых к тому же беспощадно карали за неминуемые в ходе любого научного поиска ошибки. Курсантам, приезжающим на курсы усовершенствования, академики (малой медицинской академии), Снежневский и Морозов иронически рассказывали о «некоторых упрямых стариках» — так подготавливалось повсеместное убеждение, что психиатрия без этих стариков спокойно обойдется.

В результате — в 1960 г. был смещен с поста начальника кафедры психиатрии Военно-Медицинской академии и демобилизован из армии профессор А. С. Чистович — он первый среди психиатров в 1953 г. громогласно выступил против губительной «концепции шизофрении». Я помню с каким ликованием оповестил об этом периферийных врачей только что прибывший из Москвы периферийный администратор...

Затем гонения обрушились на профессора А. Л. Эпштейна, поддержавшего А. С. Чистовича на Корсаковской конференции 1954 г. — лишенный кафедры еще за «антипавловские прогрешения» он так и не обрел ее до самой смерти (1965 г.), скитаясь по загородным больницам в качестве консультанта. Во многом солидаризовавшийся с ним профессор А. Ю. Выясновский после ликвидации НИИ психиатрии в Одессе так и не получил до сих пор места достойного его знаний и интеллекта.

Расправа же с противниками «шизофрении» (в глобальном, весьма удобном понимании) на местах происходила, конечно, грубее и проще: их прорабатывали на собраниях и конференциях, снимали с административных должностей — все зависело от подлости и решительности командиров.

Однако верховодам науки показалось мало «организованных мер». Устранение с руководящих должностей противников «шизофренического фронта» не означало еще создания послушной армии единомышленников. И опять выручил «материальный стимул» — именно он помог ревнителям «учения о шизофрении» привлечь на свою сторону толпы невежественных врачей, пришедших в психиатрические больницы после 1961 года. Привела их туда же, в сущности, погоня за жизненными благами, что в свое время «потянула в науку» десятки молодых проходимцев; эта погоня включила в число лиц, именуемых психиатрами, множество людей, коих не следовало бы подпускать к психиатрии на пушечный выстрел.

Сравнительно с улучшением «материального положения ученых» (1946-1947 гг.) речь в 1961 году шла только о масштабах. В одном случае можно было ничего не делать, получая зарплату научного сотрудника; в другом — заниматься тем же приятным бездельем, получая на 30 % больше денег, чем участковые терапевты и 48-дневный отпуск в придачу. Эти возможности «шизофрении» как концепция обеспечивала как нельзя лучше. Воодушевленные звоном дарового золота гинекологи, педиатры, терапевты, врачи скорой помощи, гематологи, гигиенисты, стоматологи (иные из них проработали в прежней специальности 10-15 лет, что делало совершенно невозможным переделку профессионального стереотипа) ухватились за шизофрению как за соломинку в совершенно им незнакомом психиатрическом море.

Невежество верхов смыкалось с невежеством низов. «Закалка по Блейлеру» шла в убыстренном темпе, ей подвергались и «переделанные психиатры», и те, кто действительно чувствовал тяготение к психиатрии со студенческой скамьи. Существующая в нашей стране (хорошая по идее) система периодического повышения квалификации кадров вселяла в жаждущих знаний шизофреническую веру почти принудительно: психиатрию на курсах усовершенствования читали те же Снежневский и Морозов... Кроме того, побывавшие два-три месяца «наверху» видели, как легко становятся профессорами, ничего, кроме шизофренической религии, не исповедывая. Кому же не хочется жить легче? Наиболее даль-

видные прикидывали: много ли шагов им придется сделать, прежде чем они достигнут тех же самых вершин, что Баншиков и Снежневский. И, надо сказать, только очень уж нерасторопным не удавалось сделать несколько этих шагов.

Очень характерно, что мобилизация этой шизофренической гвардии произошла в 1954-1965 гг., т. е. тогда, когда общественная обстановка должна была бы открыть дорогу свежим ветрам в науке. Однако, как мы видели, пришедшие к власти в психиатрии в последние годы жизни Сталина «новые» руководители и набранная ими армия не только не потерпели ущерба, но и необычайно укрепились после наметившегося крушения «культы личности».

В итоге — к концу 60-х годов на всей огромной территории Союза шизофрения как научное (точнее — как псевдонаучное) мировоззрение большинства психиатров утвердилось, исключая ленинградский, киевский, уральский и некоторые другие островки, повсеместно.

События эти не заслуживали бы, возможно, стольких слов и разговоров, если бы не обозначали угрозы для миллионов совершенно здравомыслящих сограждан «академика» Снежневского и тысяч действительно душевнобольных: они оказались совершенно беззащитными перед строем дипломированных невежд.

А то, что кое-где сохранились врачи, придерживающиеся с невыгодой для своего благополучия иных взглядов, — только подтверждает укоренившийся порядок.

Вкратце он может быть охарактеризован как замена всего, что было создано психиатрической — зарубежной и отечественной — наукой на протяжении столетий краткими «пунктами правил», ничего общего не имеющих с научным мировоззрением.

Разумеется, иногда эти правила не зафиксированы и ни один министр их не утверждал, тем не менее — они существуют и ими руководствуются 90 % ныне служащих стационарных и внебольничных психиатров.

Об ужасающих зачастую результатах их практической деятельности, о том, как компромиссы и беспринципность в науке, которую позволили себе «психиатрические кадры», повлекли за собой моральные и уголовные преступления, обо всей, короче говоря, полицейско-психиатрической дружине, противостоящей ныне в СССР разуму, мы постараемся рассказать подробно в следующих очерках.

## СИСТЕМА АТЕИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СССР

С момента прихода к власти в России руководство ВКП/б отдавало себе отчет в том, что распространение марксистских идей и создание так называемого «советского человека», невозможно, пока люди верят в Бога. Одной из важнейших форм борьбы власти с религией стала антирелигиозная пропаганда, формы которой менялись в зависимости от времени, но по своей цели оставались неизменными.

Знакомясь с методами атеистической пропаганды в СССР в перспективе времени, мы видим четыре основных периода, отличающихся друг от друга как самой концепцией, так и формами ведения пропаганды.

Характерной чертой первого периода, продолжавшегося с момента революции по 1925 год, была попытка власти разрушить Церковь как организацию. Изданные советским правительством законы поставили Православную Церковь в положение полного бесправия. О размерах борьбы с религией свидетельствует хотя бы факт, что за первых семь лет существования советского государства (то есть с 1917 по 1924 год включительно) в одной только РСФСР было опубликовано 119 различных декретов, инструкций и постановлений, ограничивавших права и деятельность Церкви до предельного минимума. Происходившие в те же годы массовые случаи убийств, арестов и ссылок священнослужителей служили по существу той же цели. Проводимая одновременно кампания антирелигиозной пропаганды носила характер стихийности, грубости и жестокости. Она была направлена на религиозно-моральное разложение масс путем привлечения их к активному личному участию в антирелигиозных и кощунственных по замыслу мероприятиях, как например: разграбление храмов, убийство священников, глумление над иконами и другими священными предметами, участие в антирелигиозных шутовских демонстрациях и т. п.

Проводя подобные начинания, партия добивалась того, чтобы воспитанные в религиозных традициях, но безразличные к вере люди преступили ту черту, перейдя которую для них психологически не могло быть возврата в лоно Церкви. Надсмеваясь над Богом, произнесшим хулу на Духа Святого, не оставалось другого пути, как стать активным атеистом, чтобы тем самым оконча-

тельно убедить самого себя в небытии Бога и заглушить чувство страха перед наказанием за совершенный им тяжкий грех.

По-своему большевики были правы. Личное участие в расправах над священнослужителями, ограблении храмов или антирелигиозных хулиганских выходках привело к отходу от Церкви значительного числа молодежи послереволюционных лет легкомысленно поддавшейся влиянию «прогрессивного нового времени». Большинство из этих людей до сегодняшнего дня продолжает не верить в Бога. Однако, по сравнению со всем народом, это были единицы, поведение которых возмущало не только верующих, но и большинство населения Советского Союза.

К началу 1925 года советское руководство убедилось в том, что эффективная борьба с религией невозможна без систематического ведения антирелигиозной пропаганды и охвата ею всех слоев населения. Для организации этого дела был создан Союз Воинствующих Безбожников под руководством секретаря ЦК ВКП/б Ярославского. Это было началом второго периода в области развития атеистической пропаганды в СССР, периода продолжавшегося до Второй мировой войны.

Союз Воинствующих Безбожников был массовой организацией, насчитывавшей несколько миллионов членов (в 1932 году, в момент наибольшего расцвета организации, число членов Союза достигло 5 700 000 человек). Деятельность Союза распространялась на весь СССР. Союз Воинствующих Безбожников имел свое издательство, печатал книги, издавал газеты и 2 журнала: «Безбожник» и «Антирелигиозник». Под руководством Союза Воинствующих Безбожников работало свыше 50-ти антирелигиозных музеев и выставок. Местные организации Союза подготавливали и проводили антирелигиозные митинги и выступления, организовывали массовые кампании по закрытию церквей и монастырей.

Несмотря на поддержку властей, у Союза Воинствующих Безбожников не было большого успеха в борьбе с религией главным образом из-за низкого уровня атеистической пропаганды, а также из-за применения грубых методов в борьбе с Церковью и верующими. В 1937 году советское руководство само убедилось в несостоятельности деятельности Союза Воинствующих Безбожников. Полученные в 1937 году при переписи населения данные показали, что около 50 миллионов взрослого населения страны продолжает считать себя верующими (\*). Союз Воинствующих

(\*) Walter Kolarz. «Religion in the Soviet Union». London 1962. Macmillan and Company, Ltd.

Безбожников подвергся жестокой чистке, в результате которой из организации выбыло около 50 % ее членов. Многие видные руководители этой организации были арестованы, а некоторые даже расстреляны. После чистки активность Союза снова несколько возросла, но качество пропаганды оставалось прежним и борьба с религией имела успех лишь там, где применялся террор. В 1941 году, с началом войны, Союз Воинствующих Безбожников прекратил работу и практически перестал существовать.

С 1941 по 1947 год руководство КПСС не вело интенсивной борьбы с верующими и даже предоставило Православной Церкви и другим религиозным объединениям в СССР некоторую свободу. Это привело к оживлению религиозной жизни в России и в первую очередь к открытию многих церквей (1). К концу сороковых годов религиозное возрождение народа стало настолько очевидным, что власти пришлось снова задуматься над вопросом борьбы с религией. Руководство атеистической пропагандой было поручено основанному в 1947 году «Всесоюзному обществу по распространению политических и научных знаний», переименованному затем во Всесоюзное общество «Знание». В противоположность Союзу Воинствующих Безбожников, общество «Знание» не было массовой организацией, охватывающей все слои населения. Общество «Знание» привлекло в свои ряды только интеллигенцию. Поэтому и число членов этой организации никогда не достигло числа членов Союза Воинствующих Безбожников (2). При обществе «Знание» была организована научно-атеистическая секция, во главе которой стал бывший секретарь Союза Воинствующих Безбожников Федор Олещук, а его ближайшими сотрудниками были бывшие активисты СВБ. Поэтому неудивительно, что проводимая обществом «Знание» атеистическая пропаганда, несмотря на ее кажущуюся интенсивность (3), мало чем отличалась от антирелигиозной пропаганды 30-ых годов и, естественно, не приносила желаемых результатов. Это вызвало недовольство советского руковод-

(1) В 1939 г. в СССР оставалось открытыми всего лишь около 100 церквей. К началу войны число открытых храмов увеличилось до 4 425 за счет церквей, находившихся на присоединенных в 1939-40 гг. территориях Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии. Во время войны и в особенности в послевоенный период в СССР открылось много храмов и к 1957 г. их число достигло 22 000.

(2) В 1950 г. число членов общества «Знание» составляло всего лишь 130 000 чел., а к 1960 г. поднялось до 900 000 чел. (Ежегодник БСЭ).

(3) Так например, в 1954 г. в СССР было прочитано 120 679 лекций на атеистические темы («Наука и религия» № 5/1957, стр.10).

ства и вскоре после смерти Сталина, его наследники решили провести серьезные изменения в области ведения атеистической пропаганды.

В принятом 10-го ноября 1954 года постановлении ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения», подписанном секретарем ЦК Хрущевым говорилось что:

«ЦК КПСС располагает фактами, свидетельствующими о том, что за последнее время в научно-атеистической пропаганде среди населения в ряде мест допускались грубые ошибки...» (4)

По мнению советского руководства эти ошибки выражались прежде всего в отходе партийных организаций от непосредственного руководства атеистической пропагандой, грубой невежественностью самой пропаганды и грубых выходках по отношению к духовенству, возмущающих население страны. В постановлении говорилось, что:

«Многие партийные организации устранились от повседневного руководства делом научно-атеистической пропаганды, не заботясь о тщательном подборе пропагандистских кадров. К выступлениям в печати, лекциям и докладам нередко допускаются невежественные в науке и в вопросах атеистической пропаганды люди, а подчас и халтурщики, знающие, главным образом, лишь анекдоты и басни о церковнослужителях. Такой безответственный подход к отбору авторов статей, лекторов и докладчиков и отсутствие надежного контроля со стороны партийных организаций за правильностью направления научно-атеистической пропаганды наносит серьезный ущерб воспитательной культурно-просветительной работе, проводимой среди населения... Глубокая, терпеливая, умело поставленная научно-атеистическая пропаганда среди верующих поможет в конце концов освободиться от религиозных заблуждений. Напротив, всякого рода административные меры и оскорбительные выпады против верующих и церковнослужителей могут принести лишь вред, привести к закреплению и даже усилению у них религиозных предрассудков...» (5).

Указав на несостоятельность и примитивность антирелигиозной пропаганды сталинского времени, руководство КПСС решило

(4) «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов», часть IV, стр. 46. Москва, 1960, издание 7-ое.

(5) Там же.

стать на путь привлечения к участию в научно-атеистической пропаганде широких кругов интеллигенции.

«ЦК КПСС подчеркивает, что проведение научно-атеистической пропаганды требует самого внимательного заботливого отношения к выбору лекторов, докладчиков, авторов статей и брошюр на антирелигиозные темы. К этой работе должны привлекаться исключительно квалифицированные в научном отношении кадры: учителя школ, преподаватели техникумов и вузов, врачи, специалисты сельского хозяйства, работники научно-исследовательских учреждений, деятели литературы и искусства и другие, способные с позиции материалистического мировоззрения убедительно разъяснить антинаучный характер религии...» (6).

Но и эти меры не дали желательных результатов. Всесоюзное общество «Знание» не сумело и не смогло заставить советскую интеллигенцию принять активное участие в антирелигиозной пропаганде. Научная и творческая интеллигенция, активно участвовавшая в работе общества «Знание» до тех пор, пока ее не заставляли заниматься антирелигиозной пропагандой, вообще отошла от работы общества. 27-го августа 1959 года ЦК КПСС вынесло специальное постановление «О мерах по улучшению работы и научных знаний», в котором говорилось:

«...Всесоюзное общество было создано как добровольная самодетельная организация, опирающаяся на инициативу широких слоев советской интеллигенции. Но за последние годы общественное начало значительно ослабело. Многие видные ученые страны, общественно-политические деятели, писатели, композиторы, художники отошли от работы Общества. Нередко отдельные работники Общества, проявляя беспринципность, предоставляют трибуну всякого рода халтурщикам, стяжателям, случайным людям, компрометируя тем самым и общество и дело лекционной пропаганды... Значительные слои населения не охвачены лекционной пропагандой... ЦК КПСС считает, что недостатки в деятельности общества в значительной степени являются следствием того, что многие партийные организации оставляют вне руководства и вне контроля этот важный участок идеологической работы...» (7).

(6) Там же.

(7) «Справочник партийного работника» 1961, Госиздат полит. литературы. Москва, 1961. Стр. 470.

Обеспокоенное неуспешностью атеистической пропаганды с одной стороны и поступающими сведениями об оживлении религиозной жизни с другой, советское руководство призвало необходимым провести в СССР ряд серьезных и максимально объективных социологических исследований, которые позволили бы определить фактическое положение вещей и показали бы какой процент населения и почему верит в Бога. Все это для того, чтобы затем выработать так наз. «научные» методы борьбы с религиозностью населения.

Проведение этих исследований было поручено Институтам философии, истории и этнографии Академии наук СССР. С целью ознакомления с действительным положением вещей, вышеуказанные Институты снарядили несколько научных экспедиций, объектом изучения которых стали верующие в разных районах европейской части СССР (8). Помимо православных, внимание советских ученых было обращено на сектантов, в особенности на баптистов. Перед участниками экспедиций была поставлена задача охватить наиболее широкий круг людей и собрать максимальное количество фактов. В целях наиболее объективного изучения существующего положения и во избежание тенденциозности, советским ученым было предложено «брать факты, такими как они есть», не делая обобщений и не примешивая к ним данных пропагандного характера (9). Результаты проведенных в 1959-61 годах исследований были собраны, классифицированы, обсуждены и из них были сделаны соответствующие выводы.

На основе полученных данных, руководство КПСС убедилось в том, что многие граждане СССР продолжают верить в Бога и что у воспитанной, якобы, в атеистическом духе советской молодежи все больше и больше пробуждается интерес к религии.

Чрезвычайно обеспокоенный создавшимся положением первый секретарь партии Хрущев, выступая на состоявшемся в октябре 1961 года XXII съезде КПСС, потребовал тотального наступления на религию путем создания «продуманной и стройной системы научно-атеистического воспитания, которая охватывала бы все слои населения, предотвращала распространение религиозных воззрений, особенно среди детей и подростков» (10).

(8) «Вопросы философии» 3/62 — Л. М. Митрохин. «Атеистическое воспитание и методология исследования религиозных пережитков».

(9) Там же, стр. 52.

(10) Выступление Н. С. Хрущева на XXII съезде партии. См. «Материалы XXII съезда КПСС».

С целью осуществления этих планов партийное руководство постановило привлечь к борьбе с религией весь партийный и государственный аппарат, школы и научные учреждения, массовые и общественные организации. К концу 1963 года Идеологическая Комиссия при ЦК КПСС под руководством секретаря ЦК Ильичева разработала план мероприятий, направленных на усиление атеистического воспитания населения. ЦК КПСС, одобрив этот проект, предложил ЦК республиканских компартий, крайкомам и обкомам партии приняться за его немедленное осуществление.

Предлагаемые Идеологической Комиссией ЦК КПСС мероприятия охватывали по существу все группы населения и были направлены на решение следующих отдельных проблем:

1. Научной разработки вопросов атеизма и подготовки специалистов-антирелигиозников на высшем уровне в специально созданных для этой цели научных учреждениях.

2. Организация постоянно действующих курсов пропагандистов атеизма разного уровня под непосредственным руководством соответствующих партийных инстанций.

3. Организации систематического воспитания детей и подростков в начальной и средней школах.

4. Активизации системы атеистического воспитания студентов высших и средних специальных учебных заведений и привлечение их к активному участию в атеистической пропаганде.

5. Постепенного, но систематического перевоспитания в духе атеизма всех советских граждан, окончивших высшие школы при Сталине и следовательно не получивших специальной подготовки в области ведения атеистической пропаганды.

6. Активизации атеистической пропаганды на всех промышленных предприятиях страны с целью постоянного охвата этой пропагандой всех рабочих и технической интеллигенции.

7. Активизации атеистической пропаганды в колхозах и совхозах с целью охвата ею всего сельского населения Советского Союза.

8. Активизации атеистической пропаганды в различного рода партийных, государственных, профсоюзных, общественных и массовых организациях с целью охвата ею лиц не подпадающих под предыдущие категории (напр., лица свободной профессии, домохозяйки, пенсионеры и т. п.).

9. Максимального использования в целях атеистической про-

паганды всех средств идейного воздействия на массы, как например, печать, радио, телевидение, кино, театр, литература и искусство.

Так кончился третий период в области ведения атеистической пропаганды в СССР — период постепенной разработки так называемых «научных методов» ведения массовой атеистической пропаганды, охватывающей все слои населения СССР с самого раннего возраста до глубокой старости.

### **Атеистическое воспитание в СССР в настоящее время**

#### **Руководство «научно-атеистическим воспитанием трудящихся»**

Руководство так называемым «научно-атеистическим воспитанием трудящихся» находится в руках самой партии и осуществляется советами по атеизму, созданными при идеологических комиссиях ЦК республик, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов.

Партийные организации ведут антирелигиозную работу по трем каналам: — через научно-просветительные учреждения — партийный аппарат и — общественные организации.

а) Вся так называемая научно-теоретическая работа в области борьбы с религией подчинена Институту Научного Атеизма, созданному в Академии общественных наук при ЦК КПСС, то есть под непосредственным контролем партии. В сотрудничестве с другими научными учреждениями и учебными центрами страны Институт разрабатывает разного рода теоретические проблемы, готовит кадры пропагандистов высшей квалификации и дает методические указания по вопросу преподавания атеизма в учебных заведениях.

б) Вся организационно-просветительная работа, связанная с распространением атеистических идей среди населения и индивидуальной работой с верующими возложена на партийный аппарат. Местные парторганы организуют и проводят различного рода конференции и совещания по вопросу борьбы с религией, выделяют кадры для возглавления и организации атеистической пропаганды на местах и следят за успешностью ее проведения, создают специальные курсы и школы для пропагандистов.

в) Всесоюзное общество «Знание» предоставляет докладчиков на конференции и семинары, дает практические рекомендации для

работы в городах и селах, помогает организовывать дома и клубы атеистов — иными словами руководит всей «научно-практической» работой, связанной с антирелигиозной работой.

### Атеистическое воспитание в начальных и средних школах

Атеистическое воспитание советских граждан начинается со школьной скамьи.

Суть современного метода антирелигиозного воспитания в советских школах сводится к превращению школьников из **объекта** в **субъект** атеистической пропаганды. Поэтому большое внимание обращается на то, чтобы дети с самого раннего возраста сами принимали активное участие в атеистической пропаганде среди сверстников и верующих взрослых.

В первых четырех классах школы атеистическое воспитание учащихся ограничивается отдельными разговорами и беседами, проводимыми классными наставниками и учителями от случая к случаю, например, перед большими религиозными праздниками. Но уже здесь, от школьников младшего и среднего возраста требуется вести дома борьбу с верующими родителями и родственниками: «рассказывать бабушкам и дедушкам обо всем, что усвоили в школе» (11), а затем пересказывать учителям результаты этих разговоров.

С пятого по восьмой класс занятия по атеизму включены в программу других предметов. Так например, на уроках истории обсуждаются следующие темы:

1. «Религия в древней Греции и Египте»;
2. «Исторические условия возникновения христианства»;
3. «Христианская Церковь в XI и XII веках»;
4. «Борьба между наукой и Церковью в XVIII веке»;
5. «Ислам и его классовая сущность»;
6. «Распространение ислама в Средней Азии и Азербайджане»;
7. «Борьба передовых людей России против религии и Церкви в XIX веке». (12)

Программа этих занятий предвидит не только активное участие школьников на уроках, но и проведение ими «самостоятельных исследований» по специально подобранным педагогами мате-

(11) «Наука и религия», № 11/1970, стр. 25.

(12) Там же, № 9/1970, стр. 8.

риалам. После проведения школьниками таких исследований, в классе проводятся дискуссии, во время которых докладчик должен защищать найденные и приведенные им в выступлении антирелигиозные доводы.

В девятом и десятом классах средней школы программа «атеистического образования» выделена в специальный предмет, на который предназначается 60 часов (из этого в 9-ом классе 25 часов, а в 10-ом — 35 часов). В девятом классе учащихся знакомят с происхождением и сущностью христианства и других религий, распространенных на территории СССР. Главный упор ставится на то, чтобы показать «косность и отсталость» религии вообще, «вред религиозных идей», также «аморальность» духовенства и верующих.

В десятом классе программа занятий по атеизму носит более практический характер. Этот предмет обычно проводят после изучения философского раздела обществоведения. Программа занятий состоит из четырех частей:

1. изучения работ Ленина о религии,
2. изучения проблемы отношения советской власти к религии и Церкви,
3. ознакомления с состоянием религиозности в своем районе и
4. изучение возможностей использования современных технических средств в борьбе с религией.

Получаемые за предмет научного атеизма отметки ставятся не только за знание материала, но и за способность ученика проводить атеистические беседы в 1-7 классах школы или же за самостоятельную подготовку и проведение пионерского сбора на атеистическую тему. При этом ребятам предоставляется право выбора (13).

С целью дальнейшей активизации школьников в области ведения атеистической пропаганды их привлекают к деятельному участию в школьных антирелигиозных клубах, к рецензиям на антирелигиозные фильмы и спектакли в школьных стенгазетах, к обсуждению в классах антирелигиозных книг и произведений искусства. Во многих школах силами самих учащихся создаются школьные атеистические музеи или атеистические уголки. Старшеклассников заставляют ходить в дома культуры и дома атеистов слушать лекции на антирелигиозные темы для того, чтобы затем передавать их содержание на пионерских сборах. Во многих шко-

(13) «Наука и религия», № 9/1970, стр. 8.

лах ученики старших классов привлекаются к участию в антирелигиозной работе среди взрослых.

Так например, в Полоцке, ученики 12-ой средней школы взяли шефство над местным мясокombинатом и обязались проводить атеистическую пропаганду среди рабочих этого предприятия. 2-ая средняя школа в том же городе поддерживает подобную связь с авторемонтным заводом, а 1-ая школа с заводом стекловолокна (14).

Иногда мы имеем дело с обратным положением, когда рабочие какого-нибудь завода берут шефство над училищем. Так например, рабочие фабрики «Победа Октября» в Рязани взяли шефство над 9-ым профтехучилищем и помогали педагогам в атеистическом воспитании учащихся, обращая особое внимание на выходцев из религиозных семейств.

С целью получения данных об успешности антирелигиозной работы в школе, среди школьников 9-10 классов проводятся анонимные анкеты об их отношении к религии.

#### Атеистическое воспитание в высших учебных заведениях

В 1959-60 году во всех вузах СССР было введено преподавание факультативного курса «Основы научного атеизма». В том же году были приняты меры по подготовке преподавателей для этого курса. На стационаре, вечерних и заочных отделениях исторических и философских факультетов университета стала осуществляться специализация студентов по научному атеизму.

С 1964-65 учебного года слушание того же курса, однако с обязательной сдачей экзаменов, было введено во всех университетах, медицинских, сельскохозяйственных, педагогических и библиотечных вузах.

Курс «Основы научного атеизма» занимает 24 часа (бывают случаи, когда этот курс читается 30 часов или всего лишь 10-14 часов, как, например, в Одесских вузах или на вечерних отделениях Ужгородского университета, но это исключение из правил (15).

В большинстве случаев предмет «Основы научного атеизма» читается на старших курсах. Практика убедила, что наилучшее восприятие темы достигается тогда, когда студенты уже знакомы с профилирующими дисциплинами и циклом общественных наук.

(14) «Наука и религия», № 7/1970, стр. 34.

(15) Там же, № 12/1970, стр. 8 и № 12/1980, стр. 9.

Программа курса «Основы научного атеизма» включает в себя следующие пять тем:

1. Марксизм-ленинизм о сущности религии и атеизма,
2. Противоположность религиозного и научного мировоззрения,
3. Критика религиозной морали,
4. Основные современные религии и религиозные организации,
5. Строительство коммунизма и атеистическое воспитание трудящихся (16).

Курс «Основы научного атеизма» состоит из теоретической (18 часов) и практической (6 часов) частей. В практической части курса студенты знакомятся с вопросами:

- научно-атеистического воспитания молодежи,
- политикой компартии по отношению к религии и Церкви,
- с формами и средствами антирелигиозной пропаганды. (17)

По мнению советских специалистов программа курса «Основы научного атеизма» страдает многими недостатками и в первую очередь некоторой примитивностью. С целью преодоления этих недостатков в некоторых вузах и университетах проводятся совместные заседания преподавателей естественных и общественных кафедр, на которых обсуждаются возможности повышения уровня атеистической пропаганды в вузах. Говорится также о создании межвузовского научно-координационного центра, который, будет вырабатывать рекомендации для преподавателей и разрабатывать методику преподавания «Основ научного атеизма».

Помимо курса научного атеизма в университетах и вузах проводится множество мероприятий, направленных на вовлечение студентов в активную антирелигиозную пропаганду. Так например, в Одесском гидрометеорологическом институте студентам, после прослушивания всего лишь нескольких лекций по атеизму, предлагается сразу же читать рефераты на атеистические темы. Студенты биологического, географического, химического и физического факультетов Одесского университета представили в прошлом году свыше 250 рефератов и научных работ на атеистические темы (18). Во многих других вузах организовываются студенческие лектор-

(16) «Наука и религия» № 12/1970, стр. 6.

(17) Там же.

(18) Там же, стр. 7.

ские группы и специальные кружки пропагандистов атеизма, где студентов подготавливают к открытым докладам среди населения. Лекторский стаж некоторых студентов начинается на 2-3 курсах и продолжается после получения диплома. Так например, студенты Рязанского сельскохозяйственного института за время зимних каникул 1969-1970 гг. провели 152 лекции и беседы в районах Рязанской и соседних областей, студенты Одесского университета подготовили в 1970 году более 300 лекций, а студенты университета в городе Горький проводят ежегодно по 150 лекций и тематических вечеров на атеистические темы (19).

Во многих вузах создаются семинары по теории и практике атеизма, которые вынуждены посещать многие студенты. Так например, в сельскохозяйственном институте Каменец-Подольска в таком семинаре занимается около 200 человек (20).

В некоторых университетах активно действуют клубы атеистов. Программа работы таких клубов малоразнообразна и занятия в клубе часто превращаются в добавочный курс по атеизму. Так например, в университете имени Н. И. Лобачевского в Горьком от членов атеистического кружка требуется прохождение четырех добавочных курсов по атеизму по 34-36 часов каждый. Участник семинара обязан сдать зачет по двум из четырех семинаров и двум спецсеминарам, тематика которых меняется из года в год. Посещение занятий и подготовка зачетов требуют от студента около 260 часов в год, то есть четыре часа в неделю, причем более половины этого времени идет сверх учебной программы (21).

Как было замечено раньше, активное и личное участие студентов в атеистической пропаганде считается в СССР наиболее эффективной мерой предотвращения возможности окончания университета верующими студентами. По этому поводу газета «Комсомольская правда» приводила следующий пример:

В одном из институтов случайно узнали, что один из студентов старшего курса верующий. Его спросили: «Как же это так? Ведь ты же сдал экзамены по марксистской философии на отлично. Как же ты можешь верить в религиозные сказки?» — «Что же тут особенного, — ответил студент. Меня спрашивали о взглядах Маркса и Энгельса. Я их знал отлично. Но ведь меня никто не спрашивал о моих взглядах» (22).

(19) «Наука и религия» № 12/1970, стр. 11.

(20) Там же, стр. 9.

(21) Там же, стр. 10-11.

(22) Цитируется по «Наука и религия», № 9/1970, стр. 5.

Журнал «Наука и религия» приводит много таких примеров. По сведениям из этого журнала совсем недавно в Одессе узнали, что одна из весьма интеллигентных женщин-медиков была проповедницей адвентистской общины. В Горьком, выпускник историко-филологического факультета Юдин поступил в Загорскую духовную семинарию. Студентка промышленно-технического факультета Нелли З. ушла в секту пятидесятников. Один из студентов-биологов Илья Г. был связан с сектой адвентистов седьмого дня. В аудиториях Горьковского университета в общежитиях и читальных залах кто-то разбрасывает религиозные листовки и подметные письма, написанные православными верующими, а также «Братские листовки» баптистов (23).

### Атеистическое воспитание в педагогических вузах

Особое внимание советского руководства обращено на атеистическое воспитание в педагогических институтах и техникумах, где получают образование будущие учителя, то есть те, кому придется воспитывать следующие поколения советской молодежи.

Помимо курса «Основы научного атеизма», который естественно проходит в педагогических институтах с особой тщательностью, студенты этих институтов занимаются проблемами атеизма во время прохождения ряда других дисциплин.

Так, например, в курсе марксистско-ленинской философии специальные отделы посвящены рассмотрению темы о сущности и происхождении религии вообще и ее гносеологических и социологических корней. На этом же курсе изучается вопрос об отношении коммунизма и советской власти к религии. Интересно отметить, что в последние годы содержание курса марксистско-ленинской философии расширилось за счет ряда лекций, посвященных критике религиозного экзистенциализма, неотоцизма и неопозитивизма. Это вызвано, по-видимому, большим интересом советской молодежи к этим философским направлениям (24).

(23) «Наука и религия» № 12/1970, стр. 10.

(24) Так например, выступая на Всесоюзной научно-теоретической конференции «Социализм и молодежь», состоявшейся 16-18 мая 1967 г. секретарь ЦК ВЛКСМ Торсуев открыто признал, что современную советскую молодежь «характеризует возросший интерес к мировоззренческим вопросам», причем особое внимание советских педагогов следует обратить «на два философских течения, которые у определенной части нашей молодежи в последние годы вызвали особый интерес: неопозитивизм и экзистенциализм» («Комсомольская правда», 17.5.1967).

В курсе научного коммунизма имеется специальный раздел об атеистическом воспитании советских граждан.

Кроме этого при прохождении методики преподавания общеобразовательных предметов, от будущих преподавателей требуется выделение всех вопросов, могущих осветить религию и Церковь в отрицательном смысле. Особенно сильно это показано при изучении истории, литературы, искусства и таких точных предметов, как биология. Так, например, в курсе методики преподавания биологии специально выделены вопросы касающиеся формирования материалистического мировоззрения учащихся и их атеистического воспитания. В курсе генетики подчеркиваются все закономерности, исключают, якобы, религиозное представление о сотворении человека и о душе.

При многих педагогических институтах созданы специальные курсы переквалификации для преподавателей, получивших образование при Сталине. На этих курсах советские педагоги знакомятся с современными методами атеистического воспитания молодежи и различными видами антирелигиозной работы, проводимой в настоящее время.

На некоторых других факультетах также уделяется много внимания антирелигиозной пропаганде. Так например, на философском факультете МГУ религиозной проблематике посвящено несколько спецкурсов на следующие темы: религия и прогресс духовной культуры, неотоцизм и научное познание, структура религиозного сознания, критика христианской аксиологии, психология религии, научная критика Библии (25).

### **Проблема кадров преподавателей научного атеизма в вузах и университетах**

Советское руководство чрезвычайно озабочено вопросом отсутствия квалифицированных преподавателей курса «Основы научного атеизма» в университетах и вузах. Первые две кафедры истории религии и атеизма, где подготавливаются специалисты в этой области, были созданы всего лишь в 1959 году при Московском и Киевском университетах. Количество таких кафедр увеличивается очень медленно. В настоящее время на территории РСФСР существует всего лишь две кафедры истории религии и атеизма: одна в Москве и другая в Ленинграде. На Украине их всего лишь три: в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Посещае-

(25) «Наука и религия» № 11/1969, стр. 23.

мость этих факультетов не высока, но сделать на них научную карьеру можно быстро и легко. За 10 лет существования кафедры истории религии и атеизма в Москве этот факультет окончило всего лишь 105 человек, из которых почти что все были приняты в аспирантуру, а 7 человек успело даже защитить докторскую диссертацию (26).

Из-за отсутствия специалистов, курс «Основа научного атеизма» читается в большинстве вузов по совместительству с курсом философии, истории либо научного коммунизма. По имеющимся сведениям, многие преподаватели ведут этот курс примитивно и не интересно, что естественно отражается и на студентах.

### **Атеистическое воспитание взрослого населения**

Разобрав проблему атеистического воспитания учащейся молодежи следует поставить вопросы «А что же происходит с людьми давно закончившими школы? Ведется ли с ними антирелигиозная работа? В какой степени они попадают под влияние атеистической пропаганды?»

Согласно постановлению ЦК КПСС от 2-го января 1964 года атеистической пропагандой должно быть охвачено все население СССР, вне зависимости от возраста и образовательного ценза.

Начиная с весны 1964 года, проблемы связанные с ведением атеистической пропаганды стали систематически рассматриваться в ЦК компартий союзных республик, на заседаниях областных, районных и городских комитетов партий. В отдельных республиках стали периодически проводить научные и методические конференции по этому вопросу.

Так например, в 1967 году в Киеве состоялся съезд пропагандистов-атеистов, в котором приняло участие более 400 человек (27). В 1969 году в Ленинграде было проведено республиканское совещание по вопросам атеистической пропаганды, в котором приняло участие более 300 опытных пропагандистов, преподавателей вузов и учителей школ из разных районов РСФСР (28). В мае 1970 года в Ивано-Франковске состоялась украинская республиканская научно-методическая конференция на тему «Ленинское атеистическое наследие и актуальные проблемы формирова-

(26) Там же и «Наука и религия» № 1/1970, стр. 15.

(27) «Наука и религия» № 3/1967.

(28) «Наука и религия» № 8/1969, стр. 31.

ния научно-материалистического мировоззрения» (29). Летом 1970 года в Узбекистане была проведена научно-теоретическая конференция по вопросам критики религии. В Буковине, где особенно много верующих, ежегодно проводятся конференции так называемых «любителей фольклора», на которых обсуждаются вопросы создания советской гражданской обрядности и замены ею религиозных традиций (30). В конце 1970 года в отделе пропаганды и агитации ЦК КП Таджикистана состоялось совещание на республиканском уровне, на котором обсуждалась организация атеистической пропаганды в районах, где большинство населения неграмотно (31). С целью контроля над практическим осуществлением различных постановлений в области ведения антирелигиозной работы при всех партийных центрах были созданы советы по вопросам научно-атеистической пропаганды, а при ЦК КП республик советы по координации научно-атеистической пропаганды (32). Задачей советов стала координация всех звеньев, ведущих антирелигиозную работу в районах, подведомственных этим центрам. Советы по вопросам научно-атеистической пропаганды составляют годовые планы работы, при разработке которых учитываются также отдельные мероприятия партийных и комсомольских организаций, отделов народного образования и правлений организации общества «Знание». Через свои секции советы по вопросам научно-атеистической пропаганды следят за выполнением намеченных планов, обобщают и распространяют опыт антирелигиозной работы отдельных организаций, занимаются внедрением гражданских праздников и обрядов (33).

При обкомах, райкомах и горкомах комсомола созданы комиссии по научно-атеистическому воспитанию молодежи, которые следят за антирелигиозным воспитанием комсомольцев и занимаются подготовкой агитаторов из числа учащихся и студентов.

Значительную роль в организации системы атеистического воспитания играют кафедры общественных наук при вузах и университетах, а также специальные школы и курсы пропагандистов и агитаторов-атеистов. В настоящее время во всех республиках созданы постоянно действующие двух- и трех-годичные школы пропагандистов-атеистов. Занятия в этих школах происходят без

(29) «Наука и религия» № 9/1970, стр. 26.

(30) «Наука и религия» № 4/1970, стр. 24.

(31) «Наука и религия» № 1/1971, стр. 96.

(32) «Партийная жизнь» № 5/1970, стр. 55.

(33) «Партийная жизнь» № 22/1968, стр. 57-58.

отрыва от производства, по вечерам. Большинство учащихся посещает эти школы в порядке партийной или общественной нагрузки. Обычный контингент слушателей — разного рода активисты среднего уровня, как из рабочих, так и из интеллигенции.

Многие коммунисты готовятся к ведению антирелигиозной пропаганды в системе партучебы. О размерах этой акции свидетельствует хотя бы тот факт, что в одной только Москве действуют 39 двухгодичных школ для подготовки агитаторов-атеистов, в которых в настоящее время обучается около 1000 человек. Кроме этого в Москве имеются специальные постоянно действующие курсы научного атеизма для трех объединений: школьных учителей (2 группы — всего 300 человек одновременно) медицинских работников (6 групп — всего 500 человек) и работников торговли и общественного питания. В той же Москве в библиотеке Дома научного атеизма действует постоянный антирелигиозный методический семинар для библиотекарей города (34).

Подобные школы и курсы имеются почти во всех областях РСФСР. Так например, в Вологодской области за последние годы было открыто 4 двухгодичных школы для пропагандистов атеизма, а в Рязанской области уже пятый год действует семинар лекторов-атеистов. Кроме того, в Рязани в 1967 г. были проведены две областных «научно-практических» конференции на следующие темы: «О системе атеистического воспитания трудящихся» и «Содержание, формы и методы атеистического воспитания населения на современном этапе» (35).

Что касается других республик, то на борьбу с религиозностью населения там обращается еще большее внимание, чем в РСФСР. В качестве примера может служить Узбекистан, где в последние годы было открыто 218 постоянно действующих школ для подготовки агитаторов-атеистов. Общее количество мест в этих школах превышает 3000. Одновременно, более 1000 человек в том же Узбекистане проходит атеистическую подготовку в системе партучебы (36).

Кроме постоянно действующих школ и курсов, во многих областях СССР проводятся различного рода семинары на атеистические темы для учителей, библиотекарей, медицинских и сельскохозяйственных работников, то есть для всех тех, кто по своей профессии работает с людьми. В большинстве случаев посещает

(34) «Наука и религия» № 19/1970, стр. 15.

(35) «Агитатор» № 8/1970, стр. 48.

(36) «Наука и религия» № 4/1970.

мость этих семинаров обязательна. Они продолжаются 2-3 недели и на них приглашается от 200 до 300 человек (37).

С целью охвата антирелигиозной пропагандой более широких кругов советской интеллигенции высшего уровня в республиканских и областных центрах созданы так называемые народные университеты научного атеизма. В одном только Узбекистане существует 29 таких университетов (38). Программа университетов рассчитана на 2 года, при условии посещения лекций один раз в неделю. К преподаванию в университетах научного атеизма привлекаются в порядке общественной нагрузки профессора местных университетов и вузов, крупные партийные работники и разные специалисты, в том числе бывшие священнослужители, отошедшие от Церкви. Слушателями этих курсов становятся обычно лица занимающие определенное положение и стремящиеся к дальнейшей карьере по службе: старшие инженеры на заводах, члены правлений различных «общественных» организаций и т. п. В течение первого года слушатели курса получают некоторые знания о происхождении различных вероучений, знакомятся с отношением марксизма к религии, политикой партии по отношению к Церкви и с положением верующих в их районе. На втором курсе они готовятся стать пропагандистами атеизма на высшем уровне. Для этого они более подробно знакомятся с содержанием Библии и Евангелия (или Корана в мусульманских районах), проводят диспуты и беседы на богословские темы, делают обзоры атеистической литературы, организуют экскурсии в музеи, совершают походы в действующие церкви и моленные дома в окрестностях города, где занимаются активной пропагандой среди верующих. Поскольку народные университеты научного атеизма существуют всего лишь несколько лет и не имеют достаточного опыта работы, они страдают отсутствием стабильных или примерных учебных планов и программ, а также испытывают недостаток в подготовленных лекторах и преподавателях. Посещаемость народных университетов научного атеизма довольно высока. Так например, в 1967 году в Алма-Атинском народном университете научного атеизма было более 100 слушателей (39).

В то время как различные семинары, курсы, школы и народные университеты научного атеизма созданы главным образом для работы с широкими кругами советской интеллигенции, партийны-

ми и общественными деятелями, антирелигиозная работа с массами ведется несколько иначе. Для организации этой массовой работы в городах и селениях СССР создаются дома, клубы и комнаты атеистов, антирелигиозные музеи, организуются выставки и кинофестивали, проводятся дни и недели атеизма.

В домах и клубах атеизма выступают с докладами ученые и представители общества «Знание», проводятся беседы на атеистические темы с показом диафильмов, устраиваются встречи с бывшими священнослужителями, вечера вопросов и ответов, антирелигиозные спектакли и концерты. Стены клубов и домов атеизма обычно разукрашены стендами и плакатами на антирелигиозные темы, к составлению которых приглашаются лучшие художники города. Некоторые клубы устраивают различного рода конкурсы на создание лучшего художественного произведения на атеистическую тему. Несколько таких конкурсов было проведено во все-союзном масштабе. Многие клубы издают машинописные газеты в 4-6 страниц, которые бесплатно распространяются на предприятиях и среди частных лиц. Клубы атеистов устраивают различные экскурсии по святым местам своего района для ведения антирелигиозной агитации среди верующих.

При клубах атеизма образуются секции: лекционная, индивидуальной работы с верующими, по внедрению гражданских праздников и обрядов. При каждом клубе существует агитационный лекторий, члены которого ведут антирелигиозную пропаганду на заводах и предприятиях в подшефных школах и колхозах, во дворах и семьях, где живут верующие.

Во многих республиканских и областных центрах созданы музеи атеизма, деятельность которых весьма похожа на деятельность атеистических клубов. В музеях атеизма устраиваются передвижные выставки, показываются антирелигиозные фильмы, проводятся различные семинары на атеистические темы. Одним из важнейших центров атеистической пропаганды следует считать Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР, в котором в 1960 году был создан отдел «Преодоление религиозных пережитков в СССР».

Массовой атеистической пропагандой занимаются также и библиотеки. Советским библиотекарям вменено в обязанность извещать читателей о всех новинках в области антирелигиозной литературы, организовывать вечера с чтением атеистических статей из журналов или отрывков из книг, проводить читательские конференции на атеистические темы.

(37) «Наука и религия» № 2/1970, стр. 25.

(38) «Наука и религия» № 4/1970, стр. 25.

(39) «Казахстанская правда», 3 марта 1967 г.

Пропагандой атеистических идей занимаются также печать, кино, радио и телевидение. Во всех советских газетах и журналах регулярно помещаются статьи на атеистические темы. Во многих фильмах высмеиваются верующие и ведется атеистическая пропаганда. Каждый год создаются специальные антирелигиозные фильмы вроде «Чудотворной» по одноименной повести В. Тендрякова или телефильма «Спасите наши души», поставленного несколько лет тому назад Краснодарской телестудией. Большинство советских радиостанций также занимается антирелигиозной пропагандой. Многие радиостанции и радиоузлы ввели специальную антирелигиозную передачу под названием «Колокол», а радиоузел Шепетовского района Хмельницкой области, три раза в месяц передает радиохронику под общим названием «За воинствующий атеизм» (40).

Все вышеуказанные формы антирелигиозной пропаганды, хотя и рассчитаны на широкие массы населения СССР, касаются в большей или меньшей степени только тех, кто вследствие разных побуждений, однако с личного согласия, готов слушать эту пропаганду. Многие советские граждане не ходят в дома атеистов или антирелигиозные музеи, не смотрят антирелигиозных фильмов и не слушают антирелигиозных передач по радио. Более трудно отказаться от участия в атеистических семинарах или курсах, в особенности для тех, кто занимает определенное положение в советском обществе, но в некоторых случаях и это возможно. Неослабное внимание партии уделяется однако и тем, кто не желает слушать атеистическую пропаганду, то ли из-за отсутствия интереса к этой теме, то ли потому, что верит в Бога. По замыслу партийного руководства **все**, буквально **все** должны подпасть под влияние этой пропаганды, должны стать воинствующими атеистами.

С целью охвата антирелигиозной пропагандой всех трудящихся, в институтах и учреждениях, на предприятиях и заводах, в колхозах и совхозах в служебные часы и в обеденные перерывы проводятся антирелигиозные митинги и собрания. В городских парках культуры и отдыха каждое лето проводятся тематические вечера на антирелигиозные темы, на которых после выступлений агитаторов читаются композиции из произведений классиков. Атеистическая пропаганда ведется во всех домах отдыха и санаториях, во всех родильных домах, больницах и поликлиниках. Боль-

(40) «Наука и религия» № 8/1970, стр. 93 и «Партийная жизнь» № 22/1968, стр. 58.

шинство медицинских работников вынуждено посещать не только различного рода атеистические семинары и курсы, но и регулярно вести антирелигиозную пропаганду среди больных. Помимо антирелигиозных бесед, проводимых в палатах, во многих больницах читаются атеистические лекции для выздоравливающих, распространяется атеистическая литература.

С целью антирелигиозной пропаганды среди неработающих женщин, по всему СССР организовываются советы женщин по атеизму. Домовые комитеты ведут атеистическую пропаганду среди инвалидов и пенсионеров.

В тех случаях, когда атеистическая пропаганда не достигает цели, ведется так называемая индивидуальная работа с верующими, основанная на том, что агитаторы обходят дома верующих и в их доме ведут антирелигиозную пропаганду. О размерах этой работы свидетельствует факт, что уже в 1963 году партийное руководство Украинской ССР выделило для этой работы более 70 000 агитаторов-беседчиков, а в Белоруссии, только в Гродненской области этим занимается 2 230 человек (41).

Весь смысл индивидуальной работы с верующими состоит в том, чтобы взять их измором. Верующие, в большинстве случаев простые неинтеллигентные люди, боятся выбросить из своего дома человека присланного к ним партийным руководством. Единственная возможность избавиться от каждодневных посещений такого агитатора это согласиться с ним и заявить о своем выходе из Церкви. Советские специалисты в области антирелигиозной агитации считают этот метод весьма эффективным.

#### Научная разработка методических пособий в области атеистической пропаганды

В 1964 году в Академии общественных наук при ЦК КПСС был создан Институт научного атеизма. Институту было поручено руководство всей атеистической работой в области разработки методики ее ведения и в области подготовки специалистов на высшем уровне. В состав Ученого совета института вошли представители Идеологического отдела ЦК КПСС, центральных научных и идеологических учреждений и так называемых общественных организаций.

Институт научного атеизма занимается разработкой многих вопросов, связанных с проблемой борьбы с религиозностью на-

(41) «Партийная жизнь» № 23/1963, стр. 24.

селения. С 1966 по 1970 год под руководством Института научно-атеизма в научно-исследовательских учреждениях СССР, высших педагогических учебных заведениях и университетах было проведено 69 исследований в области так называемого «научно-атеистического воспитания трудящихся» (42). Большинство этих исследований было на тему изучения религиозного сознания верующих в социалистическом обществе и методов атеистического воспитания молодежи (43). В 1969-70 гг. особое внимание сотрудников Института научно-атеизма было обращено на проблему, в какой степени национальность человека влияет на его религиозные взгляды и принадлежность к тому или другому вероисповеданию. В предстоящей пятилетке Институт научно-атеизма предполагает обратить внимание на проблемы психологии религии, причины живучести религиозности в СССР, особенности борьбы с религией в настоящее время, проблему коммунистической и религиозной морали и проблему отношения к религии современной молодежи.

Разработанные научными работниками СССР материалы основываются не только на теоретических данных, но и на конкретных социологических исследованиях, полученных в результате поездок и обследований на местах. В последние годы подобного рода исследования были проведены на Украине, в Белоруссии, в Казани, Орле, Пензе и некоторых других городах и районах РСФСР. Несмотря на всю тенденциозность собранных социологическими экспедициями материалов, полученные Институтом научно-атеизма в Пензенской области показали, что сектанты гораздо меньше подвержены влиянию атеистической пропаганды, чем православные (44).

(42) Из этого в педагогических институтах было проведено 45 исследований, в научно-исследовательских учреждениях 18 и в университетах 3 («Наука и религия» № 9/1970, стр. 2).

(43) Так например, в МГУ Д. Угрюмов написал исследование на тему «Изучение религиозного сознания верующих в социалистическом обществе и задачи атеистического воспитания». Сотрудник Оренбургского пединститута В. Олисова провела исследование под названием «Педагогический анализ научно-атеистической направленности выпускников средних школ». В Воронежском пединституте было проведено исследование на тему «Теория и практика научно-атеистического воспитания в советской школе» и т. п. («Наука и религия» № 9/1970).

(44) По данным научной экспедиции работавшей в Пензенской области только 9,4 % баптистов считают для себя возможным посещать кино, театры, музеи и т. п. Остальные считают это грехом. Из верующих православных 40,5 % ходит в кино, 21,6 % на концерты и 17 % на спектакли («Наука и религия» № 9/1970).

Помимо исследовательской работы, Институт научно-атеизма проводит ежегодно различного рода конференции, симпозиумы, как всесоюзного, так и международного значения. Так например, в прошлом году Институт научно-атеизма совместно с Высшей школой общественных наук при ЦК ПОРП провел в Варшаве совместный симпозиум на тему связи между национальным вопросом и принадлежностью людей к различного рода вероисповеданиям. Сейчас в Институте готовится конференция на тему роли религии и Церкви в историческом процессе развития человечества. Предполагается, что эта конференция будет иметь большое значение для подготовки материалов в области критики различных религиозных теорий.

С целью подготовки специалистов по антирелигиозной пропаганде сотрудники Института научно-атеизма принимают непосредственное участие в организации семинаров по атеизму, проводимых в разных городах и районах СССР. В течение последних трех лет такие семинары были проведены в Астрахани, Бресте, Брянске, Владимире, Вильнюсе, Таллине, Горьком, Грозном, Гомеле, Калининe, Куйбышеве, Ленинграде, Минске, Перми, Рязани, Смоленске, Харькове, Чебоксарах, Челябинске и Ярославле.

#### Содержание и уровень атеистической пропаганды

Главная задача Института научно-атеизма и всесоюзного общества «Знание» это улучшение содержания атеистической пропаганды. Институт издает сборник «Вопросы научно-атеизма», сборники под названием «Наука и теология XX века», «Религиозная мораль и современность», «Атеизм и социалистическая культура» и значительное количество книг на разные темы, начиная с критики современной религиозной мысли и кончая обсуждением проблемы религиозности в развивающихся странах. Общество «Знание» издает антирелигиозный журнал «Наука и религия» и множество книг и брошюр. Сотрудники Института научно-атеизма сотрудничают почти что во всех толстых журналах страны, и в первую очередь в таких, как «Вопросы философии», «Коммунист» и «Советская этнография».

Интересно отметить, что уровень атеистической пропаганды в последние годы несколько повысился и содержание ее изменилось. В настоящее время наибольшее внимание атеистической литературы обращено на критику русской религиозной философии с одной стороны и современной западной религиозной мысли с другой. По мнению советских специалистов в области атеизма, это

стало необходимым так как христианской философией стали интересоваться не только верующие, но и молодые коммунисты-ревизионисты. «...ибо ревизионистские теоретики желают дополнить марксизм за счет богатого христианского наследия».

Вторая по своему значению тема — это проблема сектантства: В течение последних пяти лет в СССР было издано несколько десятков книг и брошюр по вопросу борьбы с сектантством, в которых много говорится об опасности расширения сектантства в стране.

Многие книги и брошюры посвящены анализу причин существования религиозности в СССР. В некоторых серьезных исследованиях обсуждаются вопросы, связанные с повышением религиозности среди молодежи.

В связи со всем вышесказанным совершенно очевидно, что советская власть прилагает максимальные усилия для того, чтобы окончательно убить у русского человека веру в Бога и сделать из него советского робота. Также совершенно очевидно, что за 50 лет господства в России, советской власти не удалось этого добиться, иначе зачем же было бы нужно посвящать сейчас так много сил борьбе с верой. Тотальное наступление на врага ведется только тогда, когда враг силен. С ветряными мельницами не борются.

Ознакомившись с положением в СССР, невольно задаешь себе вопрос, как, несмотря на все соблазны атеистической пропаганды, могла в России сохраниться вера в Бога? Рационалистически думая, это кажется невозможным. Наш разум не может этого постичь. Но что недоступно разуму, доступно вере. Ответ на этот вопрос найти можно только в Евангелии. Ведь сказал же Христос «Создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16,18).

Мюнхен.

## ОПЕРАЦИЯ БАНЯ

Темный полдень Заполярья. Февраль. По календарю скоро весна. За тяжелыми облаками уже поднимается солнце над горизонтом. И снова исчезает. И снова ночь. Сил переносить зиму, начавшуюся в сентябре, остается все меньше и меньше.

В этом климате, одинаково непривычном для всех сюда случайно попавших, жить тяжело всем. Заключенным, привезенным насильно, начальникам, приехавшим более или менее добровольно, солдатам гарнизона, отбывающим здесь срок военной службы.

В этом отношении положение заключенных мало отличается от положения вольных. Все единодушно проклинают север, проклинают судьбу, забросившую их сюда, и ждут.

Ожидание же у них разное. Заключенные живут мечтами о мифической амнистии и надеждами на какие-то таинственные «перемены». Начальство — ожиданием перевода «в Россию» или выхода на пенсию.

А время неумолимо идет. Годы жизни уходят. И не мало заключенных и вольных закапывают в ту же постылую промерзшую тундру.

\*\*

В кабинете начальника небольшого женского инвалидного лагеря в Абези (\*) назначено срочное совещание всего командного состава.

В ожидании назначенного часа начальник нервно ходит по комнате. Начальник — уже пожилой майор, невысокий плотный брюнет с проседью. Его кабинет — просто комната в бараке, где размещено все управление лагеря. Но на полу постелен ковер. На столе телефон типа двадцатых годов. На окнах висят вышитые марлевые занавески. А на стене за его стулом — план лагеря тоже завешенный вышитой марлей поверх плотной синей ткани, — дань, необходимой начальству в подобных условиях, бдительности.

На диване сидит капитан, «опер» (оперативный уполномоченный Министерства Государственной Безопасности при лагере). Полуразвалившись, он лениво курит, временами поглядывая на майора.

(\*) Лагпункт около Воркуты.

В дверь, предварительно постучав, входит начальник режима лагеря, младший лейтенант. Ему за пятьдесят, и звание младшего лейтенанта было ему присвоено не так давно в связи с тем, что он проработал двадцать пять лет «в системе лагерей». Он уже дедушка, успел купить себе домик около Ростова и с нетерпением ждет выхода на пенсию. Больше всего он боится каких-либо осложнений по службе и довольно удачно их избегает.

Вместе с ним входит и начальник КВЧ (культурно-воспитательной части) — старший лейтенант лет сорока. Он преисполнен чувства собственного достоинства и искренне считает, что его работа — воспитание заключенных в духе любви к советской власти — дело государственного значения.

Майор подает им руку.

— Садитесь. Сейчас и остальные подойдут. Дела, брат.

— Я уже и сам думал, что за чудеса. Только сегодня из Инты приехали и сразу-же совещание. Не к добру это...

Дверь опять открывается и сразу входят женщина, начальница сан-части, и двое мужчин, начальник коммунально-бытовой части и начальник части интендантского снабжения.

Начальница сан-части — единственная из всех в штатском, хоть и имеет звание капитана. Высокая, статная блондинка, она лишь в самых крайних случаях надевает китель. Сейчас на ней, плотно ее облегающий, свитер. Но с валенками и с ватными брюками она все-же не может расстаться. Сорок градусов мороза сильнее женского кокетства.

Начальник бытовой части — младший лейтенант, получивший это звание, как и начальник режима, за выслугу лет. Это добродушный красномордый увалень. Он сам из Архангельска и морозы его не страшат. Ему скоро выходить на пенсию и его самая большая забота это «поднакопить барахлашка» с тем чтобы потом до самой смерти ничего себе не покупать.

Начальник интендантской части значительно моложе всех остальных, кроме опера и докторши. Он всю войну проделал в одном полку с начальником лагеря и приехал на север по его приглашению. Это подвижной, хитрый украинец. Он очень хорошо зарекомендовал себя на политзанятиях в управлении, когда все его конспекты неизменно оказывались самыми лучшими и толковыми. Майор, знавший его способности, долго этому удивлялся, пока не узнал стороной, что все конспекты и работы для политзанятий за интенданта пишут заключенные. После этого он стал ценить его еще больше, но в то же время и остерегаться.

— Поскольку начальница спец-части в отпуску, объявляю заседание открытым, — торжественно произнес майор, садясь на свой стул и приглашая остальных сесть поближе к письменному столу.

— Так вот, товарищи, нам придется обсудить один очень важный и ответственный вопрос по поводу создавшейся у нас в лагере обстановки.

Присутствующие переглянулись в недоумении. По их мнению никакой обстановки в лагере не было и, следовательно, нечего было обсуждать.

— Так меня песочил генерал, так песочил. И при всех, и один на один... еле выскочил, — перешел майор на менее официальный, но более понятный для окружающих, язык.

— За что-же, товарищ майор? — не выдержал Старцов, начальник режима, — Кажется у нас все слава Богу...

— ...Слава Богу, слава Богу... вот, вот, товарищи, за это самое и драил. Слава Богу... слава Богу... Разболтались все, как сукины дети, а я отвечаю. За вот этих самых, черт бы их драил, «монашек» и песочил.

— Простите, товарищ майор, не понимаю, — сказала начальница сан-части, — чего-же это генерал на монашек обрушился. Что они на работу не ходят — так у нас инвалидный лагерь. Даже и рабочих объектов-то нет. Молятся, постятся, не буйствуют, не болеют, чего-ж еще надо...

— Вы, Лидия Петровна, простите, как-то странно рассуждаете. Не болеют. Больше вас ничего не интересует. Нет у вас политического чутья, государственного подхода к вопросу. Не болеют. Не работают. Так пусть бы они к чертям собачьим переболели и передохли. Все лучше было-бы.

— Если-бы они болели и дохли, как вы выражаетесь, это снизило-бы наши показатели по сан-части. А мы пока в этом отношении на первом месте. И опять неладно вышло-бы. А я за их здоровьем слежу.

— Оставим пререканья, — вмешался опер, — продолжайте, товарищ майор. Мы вас слушаем.

— Ладно. Было у генерала совещание начальников лагерей. Ну, каждый о своем докладывал. Так, мол, и так. Я тоже по всей форме доложил. Состав такой-то, поведение хорошее, нарушений нет, культурные мероприятия такие-то. Последним взял слово генерал, и тут меня как кипятком ошпарило. «На шестом женском

лапункте творится форменное безобразие. Люди там черт знает за что деньги получают, и еще смеют очковтирательством заниматься. Да, очковтирательством. И, говорит, эти люди обнагле-ли, что за прошлый год даже премиальные получили. А сейчас еще смеют мне в лицо смеяться и заявлять мне, что у них культ-мероприятия проводятся. Подхалимы проклятые...» Все на меня с ехидством поглядывает, а я как рак печеный сижу. Кончилось совещание. Генерал мне говорит «ты останься. Я еще пару слов сказать тебе хочу». И говорит он мне, что у нас, — уже не ска-зал безобразие творится, — а прямо бардак, сказал. «На черта, говорит, я вас дармоедов и лодырей там держу, если вы не в силах с бабами сладить. Что это у вас там за «монашки» заве-лись и вы с ними справиться не можете?» Ну, я объясняю что как есть. Люди эти, говорю, за религиозные предрассудки сидят. Ко-нечно, не работают. Но, поскольку у нас и объектов рабочих нет на все полторы тысячи сколько у нас заключенных есть, то это особого неудобства не представляет и мы их силой не гоним, чтобы не увеличивать число отказчиков от работы.

— Правильно, — произнес опер.

— Подожди. Он мне говорит «а вы что, контора по труд-устройству или исправительный трудовой лагерь строгого режи-ма? Три, говорит, вас там болвана сидит.» Так и сказал: «Ты, опер, да еще КВЧ. И тебе, говорит, заявляю и тем так и передай, что я вас до сих пор не трогал, думал сами поумнеете. Но вижу на это надежда слабая. Вас всех трех, да еще начальника режима, пошлю в колхоз коровам хвосты крутить, а может еще и срока дам за антигосударственную деятельность. Ты, говорит, бывший фронтовик и мне тебя жалко. Только потому и даю тебе неделю на исправление. А через неделю — не войдете в норму, сами на себя пеняйте, я вас предупреждал. Я из-за вас тоже не хочу из Москвы нагоняй получить. Иди, действуй». Так что недельный срок у нас, товарищи, чтобы с этими проклятыми монашками разделаться.

— И что-же он наказал с ними делать? — спросил Старцов. Он испугался за свою пенсию и горел желанием немедленно все исправить.

— Перво-наперво, не разрешать им всем жить вместе в од-ном бараке и совершать там религиозные обряды. Это раз. Два, чтобы ни одна из них больше не ходила в собственной одежде, а все чтобы были одеты по форме, в лагерное обмундирование. И, три, чтобы культурно и научно им разъяснить, что, поскольку

Бога нет, они не должны в Него верить и Ему молиться. И чтобы об исполненном ему доложить. Вот так, товарищи. —

Товарищи напряженно молчали. Они хорошо понимали, что требования генерала почти невыполнимы и, значит, их мирному существованию грозит опасность.

— Что до меня касается, расселить их то-есть по разным баракам, — начал Старцов, — так я за это дело сейчас-же сам примусь и проверну его. Посажу бабок на санки и с дежурными развезу их по разным баракам. Это дело выполнимое.

— А как я им буду научно доказывать, что Бога не суще-ствует? — спросил вспотевший от волнения Березов, начальник культурно-воспитательной части. — У меня и материалов-то со-ответствующих нет. А потом они вот и в кино-то не ходят, когда его привозим. На научно-атеистическую лекцию нипочем не пой-дут. Ну, скажем, приволочим их силком на санках в клуб. Так ведь они и слушать не станут. Будут себе лежать на полу и мо-литься во весь голос, только лекцию сорвут. —

— А если в карцер их свезти и там лекцию им о Боге про-читать? — посоветовал опер.

— В карцере они уже насиделись с самого начала, только их сюда привезли. И наручники (\*) им надевали. Карцером их не проймешь, — возразил Старцов. — Да и карцер у меня две ком-натки. Ну, в одну две бабки, в другую две. Больше никак не войдет. В коридоре, скажем, лектор будет им громко читать. Опять-таки слушать не будут. Молиться будут. Да и времени много уйдет, пока их на санки волочить, пока везти, пока раз-гружать, пока в карцер тащить, да потом еще и лекция не мень-ше как полчаса. Вот оно и выходит, что на каждые четыре штуки клади не меньше как пять часов, а то и больше. А их пятьдесят с лишним штук. И, главное, что без толку. Ну как ты им дока-жешь, что Бога нет?

— А может у нас среди заключенных есть какие-нибудь образованные, умные, которые могли-бы им такие лекции почи-тать, чтобы нам перед чужим лектором не позориться? Да чужой и генералу на нас настучать может, что, мол, бабки лекции не поверили, — высказывал свое мнение начальник бытовой части Соколов.

Начальник культурно-воспитательной части, Березов, ожи-вился.

(\*) Своего рода пытка.

— Есть у меня на примете одна такая, крепко подкованная по политической части, женщина. Старая уже. Член партии с двадцать-второго года. Начитанная, образованная женщина. Она другой раз как разойдется, так такое на научную тему говорит — ну ничего не понимаешь, а чувствуешь, что хорошо говорит. Вот она нам и поможет поддержать государственную власть, и рассеять у бабок религиозный дурман. —

— Знаю ее — презрительно сказал опер — Чистой воды троцкистка. Всех за дураков считает и очень много себе позволяет в смысле всяких разговоров.

— За то и сидит — возразил майор. — Есть у вас более подходящая кандидатура?

— Нет.

— Ну, и порядок. Ты, Березов, с ней поговори. Объясни что к чему. Про генерала и про наше это секретное совещание, конечно, не говори. А просто скажи, что пора, мол, нам открыть бабкам глаза на их серую отсталость от светлых дней нашего прекрасного будущего. Пусть ходит в их барак и каждый день им свои научные атеистические лекции читает. Она свое, они свое, а за шесть дней шесть лекций провернем, и так доложим. С этим вопросом все. Теперь, и это больше всего к тебе относится, Черденниченко, сегодня вечером к нам завезут шестьдесят комплектов новенького обмундирования. Это самое главное. Завтра-же лекции мы проведем, по баракам, расселим и обо всем доложим. Но это дело темное. Пойди-ка, проверь. Это и мы и генерал понимаем. А вот обмундирование — это дело ясное, видимое. Тут уж туфты не зарядишь. Тут и без доклада каждому дураку видно. Против этого, брат, не поспоришь. Тем более, что и товарищ генерал мне говорил, что он, мол, слышал, что бабки казенного обмундирования носить не хотят потому на нем «печать дьявола». Это они, проститутки, так про нашу звезду говорят, за которую столько благородных людей кровь свою проливали и жизнь отдавали. Выдашь им все новенькое. Пусть, сволочи, ходят в нем и нашу советскую власть благодарят, потому не стоят они такого подарка. —

— Значит, отдать бабкам-отказчицам обмундирование первого срока, которое нашему лагерю вообще-то не положено, когда у меня передовики и придурки во втором сроке щеголяют. — возмутился Черденниченко.

— Государственные интересы, ничего не поделаешь. Вон, генерал говорит, что и так мы халатно относимся к нашим обя-

занностям. По сколько лет бабки сидят, а как были темными и некультурными так такими и остались, никакой мы с ними воспитательной работы не вели.

— Я только думаю, товарищ майор, что не возьмут бабки казенного обмундирования — несмело произнес Соколов. — Очень уж они идейные бабки, ни в какую от своего не отступятся.

— Идея это великая вещь, это основа коммунизма. А у них пережиток, предрассудок, дурман, одним словом опиум, а не идея — назидательно замечает Березов.

— Я согласна с товарищем Соколовым, — заговорила молчавшая до сих пор начальница сан-части. — Это исключительно остальный и некультурный элемент. Когда мы их на комиссовку вызывали, просто одно несчастье было. Не хотят раздеваться и точка. И на платьях и на рубашках всюду кресты или вышиты или нашиты. А сколько скандалов из-за личной гигиены. Многие из них считают грехом в баню ходить. Грех, мол, свое обнаженное тело показывать и плоть мытьем тешить. Сплошная серость.

— Говорил я все это генералу, ничего от него не скрыл, все ему по правде доложил. Он мне тогда и посоветовал, так, по хорошему, по отечески. Ты, говорит, не будь дураком, свежи их всех в баню. Они у тебя в одном предбаннике разденутся, вещи как положено в прожарку сдадут, а сами пойдут в баню мыться. Когда вымоются и в другой предбанник перейдут одеваться, то там найдут, вместо своих шмуток, новенькое первого срока обмундирование. Тут уж они никуда не денутся, либо сдавайся, либо замерзай. Понятно теперь вам? Я вот все ждал, может кто из вас что попроще придумает и посоветует. Да вижу, что ничего не получается. Так что, значит, будем проводить в жизнь генеральский план. Сначала мы их обмундируем, а потом уже будем по баракам размещать. Понятно?

— Понятно-то понятно, товарищ майор. Только я лично, как ответственная за санитарное состояние лагеря, против. Бабки такие настырные, что могут и полчаса и час в холодном предбаннике просидеть и тогда в лагере может вспыхнуть пневмония. —

— Пневмония, пневмония... ну помрет пара штук, с другими легче управимся. Вы меня этой вашей санитарией не пугайте. Тут государственный подход нужен. Одно болезнь, даже эпидемия, в лагере. Совсем другое контрреволюционная деятельность. Это понимать надо и нельзя пролетарского чутья терять. Довольно. Будем закругляться, обедать пора. Я старый фронтовик и не люблю долгих разговоров. Ты, Черденниченко, сегодня-же вечером све-

зешь новое обмундирование в баню и скажешь заведующей держать его под замком, чтобы ни одна дура не знала для чего оно. Ты, Соколов, с ночи прикажешь как следует вытопить баню и чтобы горячей воды вдосталь было. Не как всегда, когда твои олухи по пол-шайки горячей воды на человека дают. Думаешь, я не знаю. И чтобы шестьдесят свободных шаек было, на каждую бабку чтобы хватило. Пусть бабки как следует помоются, распарятся, сговорчивей будут. Вы, Лидия Петровна, распорядитесь чтобы врач-заключенная находилась под рукой в бане с самого утра, на случай окажется необходимой медицинская помощь. А ты, Старцов, всех надзирателей сосредоточь на вахте. Всех собери — выходных, свободных от нарядов, пусть там сидят. Так. У меня все. Завтра в девять ноль-ноль начинаем операцию «Баня». Всех начальников частей прошу быть на своих местах. —

Разошлись все молча. В удачный исход операции никто не верил, но возражать не осмеливался. Уже во дворе Старцов проворчал Соколову:

— Фронтовики, мать их... все так, с ног да на голову. «Ноль-ноль» и бабские голые задницы. Эх!

\*\*

Между тем обитательницы той секции пятого барака, которая всеми называлась «монастырем», и не подозревали о том, что они стали для начальства предметом обсуждения чрезвычайной важности.

В лагере было много заключенных, получивших сроки за религию. Обвинены были они по той-же статье кодекса: статья пятьдесят восьмая, пункты десятый — анти-советская пропаганда, и одиннадцатый — «групповое дело» (т. е. участие в организации или группе, занимающейся анти-советской пропагандой).

Пока они сидели по тюрьмам, где их всегда старались разместить по разным камерам, они кротко несли все тягости тюремной жизни и тихонько молились по углам.

Когда-же их привезли в лагерь и они увидели что их много, они почувствовали свою силу и взаимную поддержку. Они стали по возможности собираться группами и молиться вместе. Времени для этого было у них больше чем достаточно, так как работать на «антихристову власть» они отказались раз навсегда. Начальство сажало их в карцер, надевало наручники, вывозило на работу на тачках и на санках, неделями держало на голодном штрафном

пайке. Все было тщетно. После того что «монашки», пройдя сквозь все имеющиеся в распоряжении начальства наказания и испытания, все-таки отказались работать, начальство махнуло рукой и перестало обращать на них внимание. Так было спокойнее. Тем более, что и прислали-то их в инвалидный лагерь именно потому что в рабочем они своим примером скверно действовали на рабочую массу, а каждый отказчик считался крупным нарушением лагерных показателей.

Среди «монашек» были фанатички, доводившие свою религиозность до абсурда. Это были духовные потомки боярыни Морозовой и протопопы Аввакума. Они очень нетерпимо относились ко всем инакомыслящим и не вступали с ними в какие-либо разговоры. Отказывались есть пищу приготовленную на общей кухне. Упорно не ходили в баню, чтобы не «тешить плоть». Изредка в баню их возили на тачках или на санках в зависимости от времени года. Надзирательницы раздевали их и обливали водой. Тогда «монашки» мылись. Мылись с удовольствием, обмывая свое, давно чесавшееся и требовавшее воды, тело и в то-же время избавившись от греха, всецело падавшего на душу начальства. Некоторые доходили до того, что, войдя в общую уборную, предварительно осеняли крестным знаменем дыру, чтобы из нее не вылез незначай «нечистый».

Была еще и другая категория «монашек». Это были спокойные верующие женщины. Им лагерь дал возможность молиться где двое или трое (или шестьдесят) собирались во Имя Его. На воле такой возможности не было у них по разным причинам. Эти охотно ходили в баню, ели все, что выдавалось, временами помогали на кухне. Среди них были и хорошо образованные женщины. Были даже и бывшие члены партии, и комсомолки. Фанатички считали их чем-то вроде второго сорта и помыкали ими. Но они принимали это с кротостью.

Третью категорию составляли молодые, которые, до того что попали в лагерь, никогда и не задумывались о том верят ли они в Бога, существует-ли Он вообще. Но слишком уж сильна была тяга к чему-нибудь высшему, светлему, чистому. Душевная рана, нанесенная жестоким и бессмысленным следствием, окружающая их ложь со стороны всего, во что их с детства учили верить, вопиющее противоречие между газетными и другими высказываниями и реальной жизнью, все это требовало бальзама. Их захватывала суровая обстановка, им по сердцу были непримиримость и правдолюбие «монашек», нравилось их постоянство. Это

было так непохоже на наплеватьство и хулиганство блатных, также составлявших оппозицию начальству. Эти молодые пополняли ряды «монашек», отдаваясь религии со всею страстностью неофитов.

В «монастыре» было много религиозных книг. Вернее, аккуратно и заботливо завернутых в матерiu, а иногда даже переплетенных, рукописей переписанных много раз. Из Евангелия, из молитвенников и требников. Эти рукописи попадали к заключенным несмотря на самую тщательную бдительность начальства. По этим рукописям женщины «служили» (читали молитвы богослужения).

Когда-же в лагерь привезли регентшу хора одной из ростовских церквей, счастьем «монашек» не было предела. Они составили хор. Теперь все «службы» сопровождалось пением настоящего церковного хора, в котором пели даже и неверующие. Регентша была опытная, хор собрался отличный, напевы брали за душу. И пели с большим удовольствием, чем в лагерном самодеятельном хоре с его, наскучившими всем и по радио, «бодрящими» мелодиями.

На эти «службы» в монастырь стали приходить женщины со всего лагеря и, как во всякий монастырь, сюда потекли, обильные по лагерным понятиям, пожертвования.

Как-то у Старцова заболела внучка гриппом с осложнением грозившим ее жизни. После долгих пререканий с женой, Старцов сдался. Вызвав старшую «монастыря», он попросил ее помолиться о здравии «младенца Ирины». Используя свою лагерную агентуру, он убедился, что утром и вечером в «монастыре» молятся о его внучке. Через несколько дней девочке стало лучше к удивлению начальницы сан-части, лечившей ее, но уверенной что ребенок не перенесет болезни в здешнем суровом климате. Спустя несколько недель в «монастыре» появились две новые иконы, Божьей Матери и Св. Ирины.

Опер был в полном недоумении.

— Оперативные бабки, ничего не скажешь. Как они ухитрились достать себе такие две иконы. Кажется, самолично все посылки проверяю. На вахте шмон по всем правилам делается. И вот на тебе пожалуйста. —

— Артисты, что и говорить — согласился Старцов.

У жены Чередниченко были трудные роды и он об этом рассказал работницам кухни. Вечером к нему подошла старший повар, заключенная, тоже украинка.

— Вы на меня, гражданин начальник, не обижайтесь, а послушайте что я вам скажу. То не я выдумала, то старые люди говорят. Вы пообещайте Господу Богу, что вы ребеночка, который родится, покрестите, как у людей положено. Вот Господь-то вашей жинке и поможет. А как дите родится, вы его в скорости в зону принесите и вам его «монашки» враз окрестят. Сами потом благодарить будете.

— Что ты, Юрко, да меня за это и со службы и из партии туркнуть могут.

— Так это если узнают. А только никто не узнает. Я все сама улажу. А так — очень просто и без жены и без ребенка остаться можете. Все в Божьих руках. —

Новорожденный, с полным одобрением бабушки и с молчаливым согласием матери, был принесен в зону на лагерную кухню. Оттуда Юрко таинственно, но заботливо и торжественно, принесла его в «монастырь». Там его крестили и нарекли Александром. Тем-же путем он был доставлен домой.

Вскоре после этого «монашкам» стали отпускать положенные по норме продукты, чтобы они сами могли готовить себе пищу в бараке. До тех пор, отказ многих из них от пищи приготовленной в общем котле создавал осложнения и неприятности для начальства. Без особого труда, Чередниченко доказал своим товарищам, что выдавать «монашкам» продукты было гораздо проще и выгоднее для всех. Особенно для начальства.

С низшим начальством, т. е. с надзирателями, отношения были проще. Те суеверно боялись «монашек» и никогда не преследовали и не обижали их.

— Живут себе в свое удовольствие, как американские миллионеры. Не работают, на собрания не ходят, молятся себе вволю. А питание даром получают. И ничего с ними сделать не могут. А ты мучайся. С ними беды наживешь. Вот они тебя здесь до косточек проклянут, так тебе и на том свете житья не будет. Да ну их. Что с ними связываться.

И всему этому мирному сосуществованию, всему этому относительному благополучию одних, и спокойствию других, теперь грозила опасность.

Одна из «монашек», помогавшая ночью чистить на кухне картошку и спавшая после обеда, проснувшись, рассказывала:

— Ой, православные, большая какая-то беда нас ожидает.

Такой я сейчас сон видела, такой сон. Не к добру он. Истинно вам говорю.

— Страшен сон, да милостив Бог — возразила ее соседка по нарам.



А на утро появился в «монастыре» Старцов в сопровождении четырех дежурных надзирательниц и врача, заключенной Браверман.

— Вот что, женщины, давайте тихо и по хорошему. Скоро к нам инспекция прибудет, во главе с самим генералом. По всем баракам будут ходить и все как есть проверять. А у вас здесь воздух — хоть топор вешай. Так что давайте все живенько в баню. Здоровый, хворый, все давай. И никаких там отговорок на простуду и всякие там ревматизмы. Давайте, женщины, собирайтесь. —

«Монашки» хором запротестовали. Однако, большинство из них, продолжая ворчать и возражать, стало собирать вещи. Некоторые заявили, что простужены и в баню идти не могут.

— Браверман, разъясни им по-медицински, что чистота залог здоровья. Вымоетесь в бане как следует, потом к врачу на прием пойдете. Она там порошочки всякие даст — вот и полегчает. А от бани все равно не отвертитесь. Со мной дежурные, да на дворе десять человек с санками ждут. Кто своим ходом не пойдет, на саночках отвезем в лучшем виде. Есть указание начальства — всех как одну выкупать. Приказ есть приказ. Давай, поторапливайся. —

Наконец, почти все население барака оделось и столпилось у двери. Оставалось еще шесть человек самых упорных. Лежа на нарах, они, казалось, безучастно смотрели на поднимающуюся суматоху. Старцов по опыту знал, что они никогда сами не шли в баню. Их всегда приходилось везти на санках. Он не стал терять времени.

— Вдовиченко, — обратился он к одной из дежурных, — вызывай баб и давай этих настырных на саночки грузить. Этак мы весь день здесь потеряем. —

Вошли шесть женщин, кухонных возчиков, которых весь лагерь называл «кобылами». На их обязанности было привозить на кухню воду и уголь и вывозить оттуда шлак и помои. В возчики брали только самых сильных, потому что работа была тяжелая. На

кихне они хорошо питались. Благодаря этому, и постоянной физической работе на воздухе, у этих женщин развилась завидная мускулатура. Как только где-нибудь требовалась грубая физическая сила, призывали их. Всякий раз, что бабок приходилось везти в баню, прибегали к их помощи. В этом отношении выработалась у них большая сноровка.

Они молча подошли к лежавшей ближе всех к дверям «монашке», равнодушно смотревшей на них из-под повязанного по самые глаза, платка и, подхватив ее, двое за руки, двое за ноги, потащили из барака. Голова безучастно болталась внизу. Женщины положили «монашку» на санки и вернулись в барак за следующей. Взяли вторую тем же способом и положили ее сверх первой. Затем двое потянули санки по направлению к бане, стоявшей примерно в ста метрах от барака.

Сбросив свой груз на снег у дверей бани, они бегом вернулись к бараку. Оттуда уже отъезжали санки со следующей парой упрямец, а из дверей грузчицы вытаскивали за ноги еще одну. Работа шла быстро и четко.

Когда все шесть «саботажниц гигиены» были сложены у входа в баню, грузчицы также быстро и без лишних слов, втащили их в предбанник, где они поступили в распоряжение банной обслуги.

Те, также не вступая в излишние разговоры, раздели их. Затем, схватив, каждая, по голой пятке, они втащили одну за другой в мыльную и окатили их шайкой воды.

Браверман сидела в предбаннике и задумчиво курила, наблюдая наскучившую ей картину человеческого конвейера. Непостижима жизнь и причудлив внутренний мир человека. Она вспомнила войну. В то время она не была зека номер такой-то. Была она майором медицинской службы, награжденным орденами, всеми уважаемым врачом полевого госпиталя. Она жалела солдат, уважала их за выносливость, за презрение ко всем неудобствам, за это полное подчинение тела духу. Но там были люди молодые, здоровые. Там был постоянный подъем. А что имеется такого у этих старых, превратившихся в мумии, женщин? Вот она, неверующая в Бога еврейка, коммунистка бывшая членом партии... ведь вот сейчас она им завидует. У них есть какая-то огромная внутренняя сила, которой у нее самой никогда не было и не будет. Ответить же на вопрос кто счастливее у нее не хватает смелости.

Старцов с надзирателем осмотрел барак, убедился что в нем действительно никого не оставалось и тоже пошел в баню. Вошел

он не во входной, а в выходной предбанник. Там уже сидели Соколов и Чередниченко, укрываясь от мороза. На лавках лежало, аккуратно сложенное, новенькое обмундирование: бушлаты, телогрейки, ватные брюки, валенки, шапки-ушанки, платья, майки, рейтузы, портянки.

Старцов присел на лавку.

— Будем жить, будем видеть, — произнес он ни к кому не обращаясь. — А где начальница сан-части? —

— В том предбаннике на вшивость проверяет. — Чередниченко кивнул в сторону мыльной. — Эх, такое обмундирование хоть бойцу впору. Отдай дармоедам, а у меня главный повар в подшитых валенках шеголяет. —

— Как они из бани выходить станут, так мы на двор выйдем. Майор приказал их не тревожить. — сказал Соколов.

Со двора вошла начальница сан-части.

— Ну, товарищи, с мытьем все благополучно. Зав-баней их предупредила, что воды они получают вдосталь, но, что зато она не допустит никаких постирушек и не позволит им взять с собой ни тряпочки, только мочалки. Я дверь открывала — моются с удовольствием. Распарятся что надо, не высидают здесь долго голыми. Сразу оденутся. Такой наш генерал тонкий психолог — что вы хотите, образованный человек. Как он верно учел психологию заключенного. —

Необразованное начальство, в чей огород был пущен камень, еще только обдумывало что-бы ей сказать такого, язвительного и обидного, как дверь мыльной открылась и одна из женщин обслуги доложила Соколову:

— Гражданин начальник, уже помылись, сейчас выходить будут. —

— Пойдем, товарищи, покурим во дворе...

— Подышим свежим воздухом в сорок градусов мороза — прибавил Чередниченко. Они вышли.

В предбанник стали входить мокрые женщины с распущенными по спине, тоже мокрыми, волосами. Они оглядывались, ища свои вещи. Вещей не было.

Зав-баней громко провозгласила:

— Внимание, женщины. Гражданин начальник позаботился о вас и приказал выдать вам новенькое, первого срока, обмундирование вместо вашего драного барахла. Так что, одевайтесь побыстрее. Каждая берет только один комплект. Вы сами знаете что на

один комплект положено. Так что, чужого не бери, ну а свое хватай, конечно. Веселей покупай, бабы, пока даром дают. —

— Сестры, да что-же это такое? Неужто антихристову печать на себя наденем? Не допусти, Господи, до греха. С нами крестная сила!

Звенящий истерический крик, в котором слышалась горечь обиды обманутого существа и ужас неожиданно обрушившейся беды, хлестнул по нервам других женщин. Все разом заголосили.

— Слуги антихристовы, ироды проклятые!

— Гонители веры православной!

— Смерть примем, а греха на душу не возьмем...

— Мать Пресвятая Богородица, моли Господа о нас...

— Не допусти, Господи, слугам дьявола надругаться над нами...

— Сестры, православные христианки, — голос старшей звучал громко и твердо, и женщины затихли, вслушиваясь. — Задумали слуги лукавого обманом надеть на нас печать его антихристову. Сам Господь претерпел гонения и муки и святые мученики христианские радостно приняли страдания и смерть во имя Его, Господа нашего Иисуса Христа. Пришел час испытания и нас грешных. Не всякий достоин испытания от Господа Бога. Кто не имеет силы терпеть, идите и наденьте одежду сатанинскую и да помилует вас Господь. А кому дано счастье выдержать и это испытание, радуйтесь, что сподобил нас Господь муку принять во имя Его. Не наденем одежд сатанинских! Не предадим Господа нашего Иисуса Христа. Молитесь Богу. А врага ни о чем не просите. Не оскверняйте уст своих разговорами со слугами антихристовыми. —

Сказав это, она села на лавку и, сложив руки на животе, принялась читать молитвы. Остальные последовали ее примеру. Все они как-будто окаменели.

Зав-баней хотела что-то сказать. Но, взглянув на них, передумала и вышла.

Вскоре в предбанник вошла начальница сан-части и д-р Браверман. «Монашки» даже не взглянули на них.

В обычное время эти женщины, войдя в предбанник, старались как можно скорее отыскать свои одежды и, пока их искали, то одной, то другой рукой прикрывали «стыд». Схватив же одежды, они прикрывали ими и «стыд» и жалкие дряблые груди. Сейчас они сидели прямо, не шевелясь, сложив руки на животе и не стремясь прикрыться. Вид их был поистине ужасающий. Крайняя худоба, нездоровая бледность преждевременно состарившейся кожи,

угловато торчащие обтянутые кожей кости, распущенные вдоль костлявых плеч волосы, все это придавало им облик выходцев с того света. Отросшие на ногах ногти уже лиловели и кожа была покрыта пупырышками от холода. Губы были скорбно поджаты. Только глаза горели каким-то внутренним огнем.

Начальница сан-части нерешительно заговорила.

— Женщины, как врач, как представительница медицины, я категорически вам заявляю, что вы просто убиваете себя тем, что не хотите одеться, а сидите после горячей бани в холодном предбаннике раздетые. А всякое убийство, тем более самоубийство, и по-вашему грех. Зачем-же вы так поступаете? —

Ни одно лицо не дрогнуло и не повернулось к ней. Она беспомощно оглянулась на Браверман и обе вышли. На дворе подошли ожидавшие их Старцов, Соколов и Чередниченко.

— Не оденутся — категорически заявила им Лидия Петровна. — Я уж им говорила, что они убивают себя, что самоубийство грех. Даже не взглянули в мою сторону. Это какой-то массовый психоз.

— Вон и Березов шагает, — сказал Старцов, — культурно-воспитательная часть. Возьмем его и пойдем разъяснительную работу проводить. Не можем-же мы так, здорово живешь, сдать. Совсем дисциплина пропадай, да и генерал не помилует. —

Все начальство вошло в предбанник и остановилось у дверей. В помещении было мокро, они боялись промочить валенки. У дверей был сухой наростивший лед.

Сидящие не обратили никакого внимания на вошедших мужчин. Не сделали никакой попытки прикрыться или, по крайней мере, переменить позу. Они продолжали сидеть неподвижно и только крепко сцепленные пальцы выдавали внутреннее напряжение. У них ничего не было что можно-бы теревить или перебирать и тем хоть немного дать выход этому напряжению.

Чередниченко вышел первым, за ним остальные.

— Надо кончать петрушку, — мрачно сказал он, — уже два часа эта канитель тянется, а толку ни хрена. Пойду, с майором потолкую, ему видней. Вы, Браверман, оставайтесь здесь. Если кто помирать начнет, волоките немедленно в сан-часть. А я потом приду и распоряжусь. —

— Ну что? — встретил его майор.

— Хуже и не придумаешь. Сидят, молчат, молятся. Хоть танками тащи. Не знаю как быть. К новенькому обмундированию

и не притронулись-то. Я вот что хотел спросить вас. Так, по старому знакомству, как мы еще на фронте с вами вместе воевали. Это насчет бани ваша мысль была или генерала? Вы меня конечно простите, что я это у вас спрашиваю. —

— Я-же вам еще вчера говорил, что идея была генерала, а вот оформление и разработка моя. А что?

— Да вот. Если-бы ваша идея была, ну что-ж, не вышло и ладно. Не так, мол, подошли. А сейчас он скажет, что мы его блестящую мысль завалили. Не могли, скажет, такую идею в жизнь провести. Он-то здесь не был, не видел что это за настырные бабы. Надо что-то делать, товарищ майор, не то у нас всех бледный вид будет. —

— Делать! А что делать? Ну придумай, если ты такой умный.

— Да отдать им все ихние тряпки к чертовой матери и пускай себе катятся на...

— Как ты легко рассуждаешь, Чередниченко. Что-же это? Значит сдать по всем пунктам? Так тогда над нами будут не только эти, будь они прокляты, «монашки» смеяться и заключенные с ними. А и от наших проходу не станет. В клуб пойдешь, так и там пальцем на тебя указывать будут, это, мол, те, что с бабами не управились. А про собрания всякие и говорить не приходится. Нельзя это, Чередниченко. —

— Силком-бы их всех одеть, а потом руки посвязывать, чтобы раздеться не могли...

— А кто оденет? Заключенных-же не заставишь. А ежели кто, скажем, согласится, так тоже с оглядкой действовать будет. Они ведь все, как ни крути, наши враги. Что нам горе, то им радость... А.. а.. а ну, слушай, есть у меня одна мыслишка...

Чрез час в кабинете начальника сидел старший лейтенант, командир гарнизона.

Майор изложил ему все дело, включая и взбучку, полученную от генерала, и перед лицом чрезвычайного происшествия, просил помощи.

— Дай мне твоих ребят, они все комсомольцы, политически подкованные товарищи, насчет этой сволочи заключенных с ними все время беседы проводятся. Они понимают что к чему. Они нам сразу помогут бабок одеть, и мы тех в барак загоним. Вот и ликвидируем прорыв. А то, понимаешь, конфуз получается.

Старший лейтенант внимательно и сочувственно выслушал рассказ и покачал головой.

— Не могу, товарищ майор, никак не могу. И хотел-бы, да не могу. Вы за свое дело отвечаете, а я за свое. Сами подумайте. Ребята у меня все молодые, глупые. Ну как я им растолкую, чтобы они поняли почему мы именно посылаем сюда насильно одеть этих шестьдесят, или сколько их тут, «монашек», тогда как у вас у самого в зоне полторы тысячи баб вполне для этого дела пригодных. Это раз. А второе, а ну как они сами этим религиозным духом заразятся, сами на этот дурман поддадутся. Не все, конечно, некоторые. Вот зараза-то и пойдет. Сами вы сказали, что у вас многие к ним перекинулись. Это дело темное. Вам-то что. У вас заключенные, так и так пропащий, считай, элемент. А у меня бойцы — охрана нашей родины и ее будущее. Не могу я им такую наглядную религиозную агитацию показать. Да и не сумели-бы они бабок одеть. И стеснялись-бы, голых-то. Стыд один вышел-бы. А главное, не имею я права бойцов охраны в зону вводить без чрезвычайной важной причины. Вы-же сами устав знаете. —

Начальник оделся и пошел в баню.

Женщины были уже совершенно синего цвета и дрожали мелкой, частой дрожью. Обмундирование было нетронутым.

Майор посмотрел на них с ненавистью и отчаянием.

— Ой, бабы, доиграетесь вы. До сих пор я с вами по-хорошему действовал, а вы ни в какую. Но и мое терпение конец имеет. Что дальше случится, на себя пеняйте. —

Во дворе к нему подошла начальница сан-части.

— Товарищ майор, как врач докладываю вам, что если мы их здесь еще хоть полчаса продержим, это будет смахивать на массовое преднамеренное убийство. Отвечать будете не только вы, но и я. Надо что-то предпринять.

— Надо-то надо, а что именно никак не придумаю. Эй, Старцов, ко мне!

— Слушаю вас, товарищ майор. —

— Давай иди к бабам, чтобы их, сук, на том свете проморозило, и подавай команду: шагом марш к себе в барак. Кто оделся, ладно. Кто нет — пускай церемониальным маршем, босиком, голяком по снежку топает... мать их...

— Товарищ майор, да ведь на дворе активированный день, мороз-то сейчас к ночи за сорок градусов. Я вон в шубе, в валенках прозяб, а они, извините, голые. —

— Товарищ Старцов, выполняйте приказание. —

— Сергей Петрович, я понимаю товарища Старцова и, как

начальница сан-части, я категорически против этого массового убийства. Неужели вы не видели во что эти женщины превратились за то время, что там сидят. Нас-же всех обвинят. Подумайте о последствиях. —

— Да что вы все ко мне со своими предупреждениями лезете. Что я, в конце концов — начальник лагеря или клык моржовый? Последствия, последствия... Что я сам этих последствий не знаю что-ли? Дадут мне коленкой в задницу, и точка. А то еще и срок присобачат. А только этот театр кончать пора. Чередниченко, собирай все начальство. А ты, Старцов, давай всех дежурных. Лидия Петровна, как только эти чумовые в барак войдут, сейчас им всяких там лекарств, погубели на них нету, дайте. Пусть хоть не все сдохнут. Соколов, отпусти на их барак угля и дров сверх нормы. Пусть там не то что тепло, а просто жарко будет. И всю ночь прикажи обе печки топить и угля не экономить. Хоть обогреются, гадюки. На фронте, б..., с Фрицами воевать легче было чем с проклятыми бабами. —

Майор встал в дверях предбанника.

— Слушай мою команду, бабы. Поскольку вы такой незнательный элемент, что продолжаете в вашего Бога верить, а собственного благополучия не понимаете, то и хрен с вами, и катитесь вы все к чертям собачьим в ваш барак. Открываю дверь и шагом марш, в барак. Пошли!

Первой поднялась старшая. Она пошатнулась, выпрямилась, и мелкими, шаркающими, но твердыми, шагами направилась к двери. Проходя мимо начальника, она низко ему поклонилась:

— Прости тебя Господи. —

За ней также медленно стали выходить остальные. Ни одна не притронулась к лежащей тут-же одежде. Все низко кланялись начальнику и повторяли:

— Прости тебя Господи. —

Некоторые из женщин не могли идти. Более сильные и выносливые волокли их под-руки.

Последним вышел майор.

Перед его глазами, по протоптанной в глубоком снегу дорожке, брела колонна голых женщин. Они что-то пели еле-живыми голосами. Под босыми ногами снег скрипел непривычно, жалобно. Это не был обычный скрип снега под валенками. Это был аккомпанимент к слабому, сердце шемящему, пению.

За женщинами толпой шло начальство и надзиратели. Вся про-

цессия была ярко освещена лампами с запретной зоны и фонарями лагеря. Женщины шли медленно. Начальство их не торопило.

Прислушавшись к пению, майор узнал знакомые с детства слова которые он успел-было забыть, но вспомнил на фронте.

«Отче наш, иже еси на небесех...»

\*  
\*\*

На следующий день в «монастырь» пришла начальница санчасти в сопровождении д-ра Браверман и медсестры заключенных.

— Здравствуйте, женщины — сказала она необычно ласковым голосом, присаживаясь на табуретку у стола посередине барака. — Я хочу у всех вас смерить температуру и всех выслушать. Сейчас мы с доктором, — она кивнула на Браверман, — этим займемся. Пожалуйста не противьтесь. И если у кого-либо малейшее недомогание, не скрывайте, скажите нам сами. Мы люди и врачи, и только помочь вам хотим. —

«Монашки» были одеты в самые разнообразные лохмотья. Узнав что собственной одежды им не вернули, другие лагерницы с вечера принесли в «монастырь» все что могли уделить своего.

Под влиянием вчерашних потрясений и своей победы «монашки» снисходительно подчинились медицинскому осмотру. Никаких заболеваний не обнаружилось. Температура у всех была нормальная.

Покончив с осмотром, Лидия Петровна вышла вместе с Браверман.

— Еще немножко, Браверман, и я перестану верить в медицину. Возможно-ли научно объяснить подобные явления? Эти изможденные — они довели себя до дистрофии — тени, а не люди, вчера после горячей бани просидели шесть часов в холодном предбаннике. Потом медленно по глубокому снегу и по льду совершенно голые, прошли более ста метров до барака. И это при сорока градусах мороза. Я-то была уверена, что многие не доживут до утра, а остальные будут тяжело больны. Мы с вами осмотрели их очень тщательно. Здоровехоньки. Поскольку, конечно, вообще можно считать их здоровыми. Ни даже насморка. Ведь если молодого, действительно здорового, парня подвергнуть подобной про-

цедуре, он свалится через полчаса. Вы старый опытный врач. Как вы это себе объясняете? —

Браверман посмотрела на смущенную, недоумевающую начальницу. Потом горько усмехнулась. С затаенной завистью сказала:

— А вы разве не слышали вчера как они сами все объяснили, когда пели:

«...да будет воля Твоя»

Эксзека

Лидия  
Петровна

## ОБРАЩЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

В Верховный Совет СССР

В Комиссию по защите прав человека при ООН

10 декабря 1948 г. сессией Генеральной Ассамблеи ООН была принята Великая Декларация прав человека. Голосовала за эту Декларацию и делегация СССР. Возразить против нее значило поставить себя в глазах всего мира в ряды противников прогресса и демократии, в ряды противников свободы. Посол Царапкин от имени и по поручению советского правительства торжественно скрепил ее своей подписью. С тех пор официальные органы СССР ежегодно отмечают этот день как важный шаг человечества к свободе.

К сожалению, история учит, что мало принять десятки самых гуманных и справедливых деклараций, опубликовать сотни красноречивых резолюций, издать самые лучшие законы. При отсутствии желания их выполнять они оказываются пустой фразой. Это обстоятельство и заставило нас, политзаключенных Советского Союза, обратиться к депутатам высшего законодательного органа страны в канун 23-ей годовщины Дня Свободы. «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и свободное их выражение. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами», — говорит § 19 Великой Декларации Прав Человека. Свободу убеждений декларирует и Конституция СССР, основной закон страны. Но возьмите наши приговоры. В большинстве из них — криминал — это пропаганда идей. Не идей человеконенавистнических, грабежа, разбоя, а идей свободы — демократии.

В 1969 г., выступая в защиту греческих политзаключенных, официальный юридический орган СССР, Комитет советских юристов, опубликовал заявление, в котором говорилось: «В Греции людей судят только за пропаганду своих взглядов и убеждений, что с точки зрения любого права является незаконным.» Так кто же такие те судьи, которые осудили нас за пропаганду взглядов и убеждений? Разве они не советские юристы? Или то, что с точки зрения любого права незаконно в Греции — законно у нас? Мы считаем, что произвол остается произволом, где бы он ни совершался. «Каждый человек для установления обоснованности предъ-

явленного ему обвинения имеет право на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом», — гласит ст. 10 ВДПЧ. «Обеспечить обвиняемому все возможности для защиты», — требует § 1 ст. 11. Как же совместить эти требования, кстати, санкционированные и Уголовно-процессуальным законодательством СССР, с проведением официально закрытых судов по делам, не содержащим государственных тайн; так называемых «открытых» судебных заседаний, на которые не допускается никто, кроме представителей КГБ и строго отобранных официальных лиц? Как совместить требования возможности защиты с тем положением, что адвокату, осмеливающемуся просить оправдания подзащитного, грозит чуть ли не уголовное наказание?

Нас обвиняют в том, что мы занимались распространением антисоветских взглядов, «клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». И судят за это. Но под антисоветскими взглядами судьи понимают любые критические замечания по адресу ЦК КПСС и советского правительства. Под клеветой понимается любая самостоятельная оценка действительных фактов, даже простое упоминание о фактах, про которые официально не давалось никакой информации. Вот почему в приговорах нет никакой расшифровки понятий «антисоветский» или «клеветнический». Факты, позорящие советский общественный и государственный строй, к сожалению, еще существуют, ничего общего не имеющие ни с советским законодательством, ни с международными правовыми нормами, ни с элементарной порядочностью. Наши приговоры несомненно относятся к этим фактам.

Депутаты! В Конституции СССР записано: «Каждая союзная республика имеет право на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». Для кого и для чего записаны эти слова? Если это норма права, гарантированная государством, то чем можно объяснить, что в тюрьмах и концлагерях Советского Союза находятся десятки и сотни людей, вся вина которых заключается в том, что они добивались этого самоопределения? Добивались не с оружием в руках, а путем агитации и пропаганды. И этих людей не только судят за антисоветскую агитацию и пропаганду, но зачастую — за измену Родине, отрывают от родных и близких на 10 и более лет. Здесь, в концлагерях и тюрьмах, находятся по 10-15 лет десятки «изменников Родины», которые хотели воспользоваться правом, предоставленным ст. 12

ВДПЧ: «Каждый человек имеет право покинуть любую страну, включая свою собственную». Возникает вопрос: как можно подписывать международный правовой документ и не соблюдать ни одной его статьи? Как можно ежегодно отмечать и не соблюдать ни одной его статьи? Как можно ежегодно отмечать принятие величайшей Декларации нашего века и в то же время на практике глумиться над ее содержанием?

Депутаты! Ст. 5 ВДПЧ говорит: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению и наказанию»; «Наказание не преследует цели причинения физических мучений или унижения человеческого достоинства», — вторят этой статье исполительно-трудо-вые кодексы союзных республик. Для нас, политзаключенных Советского Союза, эти слова звучат горькой насмешкой. Брошенные на основании грубейшего нарушения элементарной законности в концлагеря и тюрьмы, мы подвергаемся постоянным издевательствам — моральным и физическим. На наших руках нет крови, мы не грабители, воры, насильники, однако, нас содержат хуже, чем уголовных преступников. Только как надругательство над всеми гуманными помыслами и поступками можно расценивать содержание нас вместе с теми, кто осужден за преступления против человечности в годы Второй мировой войны. В советских концлагерях, например, евреи сидят вместе с теми, кто когда-то помогал нацистам уничтожать евреев; наряду со здоровыми, в советских концлагерях и тюрьмах содержатся престарелые, едва передвигающиеся инвалиды, люди, страдающие тяжелой формой желудочных, сердечных и легочных заболеваний, паралитики и даже сумасшедшие. Одетые в бумажную арестантскую одежду, стриженные наголо, — мы лишены права в сорокградусные морозы в холодных бараках концлагерей, в сырых казематах тюрем носить теплую одежду. За долгие годы, проведенные за колючей проволокой, в тюрьмах, мы забыли не только вкус, но и вид свежих овощей, фруктов, мяса, масла и многих других продуктов питания. Постоянный рацион больных и здоровых — овес, гнилые овощи, полутухлая рыба и т. п. «деликатесы».

С целью окончательно подорвать наше здоровье (иную цель трудно себе вообразить!) из тюремных ларьков, где нам разрешают приобрести продуктов на 3-5 руб. в месяц, изъяты все более или менее калорийные и витаминизированные продукты, так же как и из посылок, которые разрешается получать раз в год весом до 5 кг. после отбытия полсрока наказания. А разве не пытка на

истощение первый месяц пребывания в тюрьме, когда заключенным умышленно выдается такое питание, которое доводит его до частичной дистрофии? Бросив за мысли и убеждения за тюремную решетку, нас всячески стремятся отрезать от внешнего мира, от связей с нашими родными, близкими, друзьями. Письма, которые нам разрешено отправлять, 2 письма в месяц в концлагере, 1 письмо — в тюрьме, — «теряются» на почте (как и те, которые отправляют нам), изымаются официально под любым предлогом. Литература, высылаемая нам, — не выдается. Свидания, предоставляемые нам (раз в год — до 3-х суток, как гласит закон, ограничиваются двумя ночами, а иногда и одной, т. е. 8-9 часами!). И из-за этих 8-9 часов больные, престарелые родители, жены, с маленькими детьми ездят за сотни и тысячи километров, подвергаются всевозможным унижительным процедурам, а иногда — и личному обыску. Политзаключенные, бывшие студенты, брошенные в концлагеря и тюрьмы с различных курсов институтов и университетов, навсегда лишаются реального права на окончание образования, допускается лишь обучение в пределах средней школы.

Единственным средством нашего «перевоспитания» является рабский бесплатный труд. Вернее — почти бесплатный, т. к. половина заработка идет на содержание наших тюремщиков (практика, осужденная в свое время М.Н.Т.). Квалифицированные инженеры и преподаватели ВУЗ-ов, директора школ, юристы выполняют самую неквалифицированную тяжелую работу, которая зачастую фактически им не под силу и вредна. Однако, за отказ от работы, так же, как и за невыполнение нормы выработки, нас бросают в карцеры, лишают свиданий, посылок, права пользования ларьком и т. д.

Формально имеются какие-то исправительно-трудовые кодексы, которые фиксируют какие-то наши «права». Но фактически вся наша жизнь зависит от произвола лагерной и тюремной администрации и органов КГБ. Если мы и пробуем протестовать против нарушений того или иного «права», то почти всегда оказывается, что имеются инструкции, большей частью — секретные, которые отменяют или изменяют это «право».

Депутаты! Если то, о чем здесь говорится, гуманно и справедливо, то что же тогда называется бесчеловечностью?! Брошенные на многие годы в концлагеря и тюрьмы в нарушение не только международных, но и советских законов, мы и после «освобождения» не становимся равноправными гражданами, не перестаем быть своеобразными бессрочными заключенными — нам

устанавливается так называемый «административный надзор»: мы не имеем права после определенного часа выходить из дома, появляться во многих общественных местах, выезжать куда-либо по личным делам и т. д. § 1 ст. 13 ВДПЧ говорит: «Каждый человек имеет право свободного передвижения и выбора себе места жительства в пределах каждого государства». То же самое говорит и Конституция СССР. Но тем не менее мы не имеем права проживать почти во всех крупных городах, даже если там проживают наши дети, жены, престарелые родители. И после «освобождения» нас обрекают на разлуку с ними. В ст. 23 § 1 ВДПЧ говорится: «каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы». Большинство из нас имеет высшее или незаконченное высшее образование. Депутаты, задумывались ли Вы, почему почти все мы после «освобождения» «предпочитаем» работать не по специальности, а грузчиками, кочегарами, чернорабочими и т. д. Разве это не продолжение наказания? Весь мир возмущается, когда А. Дэвис за пропаганду коммунистических убеждений отстранили от преподавательской работы. В хоре возмущенных голосов звучали и ваши голоса. И почему же молчите Вы, депутаты, когда сотни и тысячи наших жен, отцов, братьев и сестер, просто друзей — ваших избирателей, увольняют с работы, репрессируют так же или иначе только за то, что они знали о наших мыслях и не донесли об этом в КГБ, а зачастую и просто за то, что они наши родные и близкие.

Граждане депутаты! Со всех — отечественных и международных — трибун громко звучит голос Советского правительства в защиту Свободы и Демократии. Но разве можно защищать свободу где-то, и подавлять ее у себя дома? Разве можно призывать к справедливости и гуманности другие страны, и руководствоваться у себя в стране беззаконием и произволом, нарушать все международные и отечественные законы, издеваться над своими гражданами? В день 23-й годовщины Дня Свободы мы, советские политзаключенные, обращаемся к вам, и требуем:

1. Соблюдения Правительством СССР международных и советских законов, не противоречащих общедемократическим положениям, в том числе ВДПЧ, Конституции СССР, Конвенции о запрещении принудительного труда и др.

2. Признать ст. 70 УК РСФСР и соответствующие ей статьи уголовных кодексов союзных республик антиконституционными с противоречащими международно-правовым обязательствам, приня-

тым правительством СССР, и пересмотреть все дела осужденных по этим статьям.

3. Немедленно прекратить преследования лиц за пропаганду своих взглядов и убеждений, кроме взглядов и убеждений, противоречащих международно-правовым конвенциям.

4. Немедленно прекратить преследования лиц за пропаганду идей национального самоопределения.

5. В СССР нарушаются не только отечественные, но и международно-правовые нормы. Поэтому мы обращаемся в Комитет по защите Прав Человека при ООН с просьбой направить в советские концлагеря и тюрьмы международную комиссию для обследования реального положения и требуем от советского правительства создать все условия для свободной работы комиссии.

6. Мы требуем от вас проявить инициативу в деле разработки конвенции «Режим содержания политзаключенных» и внесения ее на утверждение 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

7. По разработке и принятии указанной Конвенции мы требуем немедленного официального признания нас политзаключенными с введением условий содержания, установленных обычаем для этой категории во всех цивилизованных странах, а именно: а) добровольного труда и немедленной отмены оплаты лагерной и тюремной администрации за счет средств политзаключенных; б) отмены ограничений на переписку и свиданий; в) отмены ограничений на получение литературы; г) отмены ограничений на получение посылок и приобретение продуктов питания за счет личных средств; д) возможности научной работы, заочного обучения в ВУЗ-ах; е) ношения собственной одежды и отмены унижающей человеческое достоинство практики стрижки наголо.

8. Немедленно освободить душевнобольных, инвалидов, тяжело больных хроников, женщин, имеющих малолетних детей.

9. Немедленно отменить все секретные инструкции, а также инструкции и Правила, противоречащие закону — действующие в концлагерях и тюрьмах.

10. Немедленно прекратить преследования в любых формах наших родственников, друзей и знакомых; наказания лиц, организующих такие преследования.

11. Отменить все внесудебные наказания — «административ-

ный надзор», запрещение проживания в курортных городах и т. п. — как противоречащие Конституции СССР<sup>э</sup> международно-правовым нормам и элементарной справедливости.

12. Подготовить и провести всеобщую политическую амнистию в отношении лиц, преступления которых вызваны наличием в УК советских союзных республик статей, противоречащих ВДПЧ.

Лишенные возможности обратиться к правительствам других стран, мы, советские политзаключенные, поручаем законодательному органу СССР от нашего имени потребовать от правительств государств, где имеются политзаключенные, их немедленной амнистии.

В поддержку своих требований мы используем единственное реально принадлежащее нам право — право на голодовку, которую и объявляем с 8 по 10 декабря.

Абанькин В. А. рабочий

Бондарь Н. В.

Гаврилов Г. В.

Иванов Н. В.

Павленков В. К.

Федоров Ю. И.

Чеховской А. К.

Кандыба И. А. (с некоторыми оговорками)

## ЛИТЕРАТУРА и ЖИЗНЬ

### НА СМЕРТЬ ТВАРДОВСКОГО

Есть много способов убить поэта.

Для Твардовского было избрано: отнять его детище — его страсть — его журнал.

Мало было шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырем, — только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало! — и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости. Это жжение прожгло его в погода, через полгода он уже был смертельно болен и только по привычной выносливости жил до сих пор — до последнего часа в сознании. В страдании.

Третий день. Над гробом портрет, где покойному близ сорока и желанно-горькими тяготами журнала еще не борожден лоб, и во всё сиянье — та детски-озаренная доверчивость, которую пронес он через всю жизнь, и даже к обреченному она возвращалась к нему.

Под лучшую музыку несут венки, несут венки... „От советских воинов“... Достоинно. Помню, как на фронте солдаты все сплошь отличали чудо чистозвонного „Теркина“ от прочих военных книг. Но помним и: как армейским библиотекам запретили подписываться на „Новый мир“. И совсем недавно за голубенькую книжку в казарме тягали на допрос.

А вот вся нечётная дюжина СЕКРЕТАРИАТА вывалила на сцену. В почётном карауле те самые мертво-обрюзгшие, кто с улюлюканьем травили его. Это давно у нас так, это — с Пушкина: именно в руки недругов попадает умерший поэт. И расторопно распоряжаются телом, вывертываются в бойких речах.

Обстали гроб каменной группой и думают — отгородили. Разогнали наш единственный журнал и думают — победили.

Надо совсем не знать, не понимать последнего века русской истории, чтобы видеть в этом свою победу, а не просчет непоправимый.

Безумные! Когда раздадутся голоса молодые, резкие — вы еще как пожалеете, что с вами нет этого терпеливого критика, чей мягкий увещательный голос слушали все. Вам впору будет землю руками разгрести, чтобы Трифона вернуть. Да поздно.

А. Солженицын

К девятому дню.

*ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО*

Анна АХМАТОВА

В каждом колосе тело Христово,  
В каждом древе распятый Господь,  
И молитвы пречистое слово  
Исцеляет болящую плоть.

1946.

\*\*\*

И вовсе я не пророчица.  
Жизнь моя светла как ручей.  
А просто мне петь не хочется  
Под звон пюремных ключей.

\*\*

Ах, тебе еще мало по-русски  
И ты хочешь на всех языках  
Знать как круты подъемы и спуски  
И почему у нас совесть и страх.

\*\*

Я всем прощение дарую,  
И в Воскресение Христово  
Меня предавших в лоб целую,  
А предавшего — в уста.

\*\*

Под узорной скатертью  
Не видать стола.  
Я стихам не матерью —  
Мачехой была.  
Эх, бумага белая,  
Строчек ровный ряд,  
Сколько раз глядела я,  
Как они горят  
Сплетней изувечены,  
Биты кистенем,  
Мечены, мечены  
Каторжным клеймом.

1955.

Анатолий РАДЫГИН

ВЕНОК СОНЕТОВ

I.

Пылают у моих усталых ног листки стихов...  
Я жадно жгу бумагу.  
Я жадно пью отравленную брагу.  
Я от невзгод и бедствий изнемог.

Но мне кузнец неведомый помог.  
В сиянии горнов подобен магу.  
Он вытянул изломанную шпату  
В кинжальный ослепительный клинок.

И я опять спешу в привычный путь.  
Преодолеть гремящие пороги  
На узкой, но устойчивой пироге

Вооружен для схватки, грудь на грудь.  
И снова не манят меня ничуть  
Камин покоя и костер дороги.

“Венок сонетов” написан в тюрьме г. Владимира.

## II.

Камин покоя и костер дороги,  
Тепла и света сказочный уют,  
Прохладных комнат и сухих кают  
Немыслимо роскошные чертоги.

В забытом Богом и людьми остроге  
В толпе зловонных, алчущих иуд  
Тепло, и право, и сухие крохи  
В обмен на честь и совесть выдают.

Интеллигенты скользки, как миноги,  
Простолюдины гадостно хитры.  
Солгал Платон,

Что где-то есть миры  
Хранят покой и вечность до поры  
И ждут меня, как в скучном эпилоге.

## III.

И ждут меня, как в скучном эпилоге,  
И все считают сколько дней в году,  
И ждут, что я, как блудный сын приду  
И припаду лицом к отцовской тоге.

Не ждите! Мне носить мою беду  
По тропам, где увязнут козероги  
Иглою пропадать в горящем стое  
И замерзать на заполярном льду.

Дают мне силу в многолетней пытке  
Ни клятва, ни присяга, ни зарок,  
Но мудрых истин золотые слитки.

Я хорошо усвоил свой урок.  
Оставьте слабым слабые напитки  
Ленивый квас и добродушный грог.

## IV.

Ленивый квас и добродушный грог.  
Закружен мир, он призрачен и ясен.  
Сиди и верь, как среди старых басен  
Жил был смешной и добродушный царь-горох.

А спирт!? Глоток! и обжигает вздох.  
Похмелье тяжело, а хмель опасен!  
Разбойнички Болотников и Разин,  
Как я, дышали в казематный мох.

Взгляни, Степан, сквозь щель по грязным нарам,  
Последним, взятым в Персии динаром  
Скатился солнца золотой кружок.

Чего мы ждем, мы босы и убоги,  
Завязан сталью каменный мешок,  
Но я вас жду, как прежде, на пороге.

## V.

Но я вас жду, как прежде, на пороге,  
Я знаю тайны чисел и чудес.  
Я слышу, как земные бродят соки  
И даже видел, как Христос воскрес.

Я твердо знал, что разорится Крез,  
Хранили Рим покладистые боги,  
Но я то знал, мохнаты и двуроги  
Войдут германцы в Тевтобурский лес.

Смел, как поэт и мудр, как йог  
Я разгадал в гуденьи ветхой лиры  
Крушение империй и эпох.

И день, когда огнем дохнут мортиры,  
Когда падут зловещие кумиры,  
Когда придет неотвратимый срок.

## VI.

Когда придет неотвратимый срок  
И грохнет гром в моем краю посконном.  
Солдаты мы, но будет нелегко нам  
Дослать патрон и отвести курок.

Провал измены черен и глубок.  
Философ от него ползет к иконам,  
Фрондер к ярму, республиканец к тронам,  
Я в правоте ужасной одинок.

Потопчут, растерзают и сомнут  
За свой родной, отечественный кнут.  
Да! Я живу с врагом в одной берлоге.

Прости, Россия-мачеха, прости  
У нас не будет общего пути,  
Когда меня поднимут по тревоге.

## VII.

Когда меня поднимут по тревоге,  
Я потянусь к английскому мечу,  
К хохлятской сабле, к тюркскому клычу,  
К литовским вилам и к грузинской тохи.

И пусть подходят ордами косого  
Душить Редеду я не поскачу.  
Заплачены ясаки и оброки  
И буря гасит Пимена свечу.

Приверженец версты, стронник фунта,  
Вчера сменивший лапоть на сапог,  
Придется выбрать, пошлый скоморох,

Пожар вторженья или факел бунта,  
Свободу или два аршина грунта,  
Набат Руси или Роландов рог.

## VIII.

Набат Руси или Роландов рог  
Глушить привыкли Бородинским маршем  
Все было барским, божьим и монаршим  
Железа пик и деревяшки сох.

А сонный патриот молился старшим,  
Не видел правды между лживых строк,  
Жевал набитый шовинистским фаршем  
Тысячелетней черствости пирог.

Но правду с кривдой кинул на весы я,  
Не выручат теперь тебя, Россия,  
Ни красный флаг, ни знаменитый Спас.

Москва слезам не верила. Так значит —  
Увидеть надо, как Москва заплачет.  
И я чутьем угадываю час.

## IX.

И я чутьем угадываю час:  
Приход цунами, грозного прибоя,  
И древних троллей зеркало кривое  
Осколками осыплется на вас.

Я Лаокоон! И мне до боя  
Грядущее прозрачно как алмаз.  
В руинах, без мифических прикрас  
Лежит моя обугленная Троя.

Ты, патриот, подверженный инфартам,  
Слепой и слабодушный Рюи Блаз,  
Взгляни, земля горит уже сейчас,

Змея фронтов ползет уже по картам.  
Прислушайся, глухой, как перед стартом  
Торпедоносцы прибавляют газ.

## X

Торпедоносцы прибавляют газ,  
Шасси роняя в голубое море.  
Я камикадзе, смел и узкоглаз,  
Взлетаю на стремительном приборе.

Меня бросают в воздух не приказ,  
Не ставка чести в самурайском споре,  
Не жертвенный восторженный экстаз,  
А ненависть чугунная. И вскоре

Я разнесу неслыханного груза  
Жестокий, но осмысленный аккорд.  
Мой курс неколебим, а разум тверд,

И где-то у пролива Лаперуза  
Построясь в мой торжественный эскорт  
Эсминцы взяли якоря под клюзы.

## XI.

Эсминцы взяли якоря под клюзы,  
Но для меня закончены торги.  
Глядит в мою решетку лик пурги  
Змееволосый часовой медузы.

Подводят к стенам римские турусы  
И хоть обречены мои враги,  
Они успеют растоптать круги  
И сжечь мои родные Сиракузы.

Придется быть заложником  
И слыть предателем, отступником, безбожным  
Повсюду за орнаментом острожным,

Сквозь толстых прутьев ржавые узлы,  
Глаза врагов бессонны,  
Настороженно холодны и злы.

## XII.

Настороженно холодны и злы  
Конвойцы грандиозного этапа —  
Профессора наручника и кляпа,  
Жандармы песьей морды и метлы.

На пол-планеты достает из мглы,  
Без промаха хватаящая лапа,  
Она куда искусней, чем гестапо:  
Застрелит и продаст из-под полы.

Убьют и закопают до рассвета  
Потом найдут кого судит за это,  
Потом друг друга втиснут в кандалы.

„Доколе же“, и как последний аргумент капета  
Расчехлены тяжелые стволы.

## XIII.

Расчехлены тяжелые стволы,  
Капралы хрипнут, батальоны строя,  
Еще чисты до жуткого раскроя  
Хирургов белоснежные столы.

Совсем свежи, вчера из-под пилы  
Для тех, кто в плен сдадутся; как герои,  
Уже блестят березовой корою  
Запретных зон, высокие колы.

Восстаний нет, не начали войну,  
А я уже изранен и в плену.  
И месть шершавым ложем аркебузы

Ложится на мою ладонь:  
Поджечь ракеты, „гвардию в огонь“,  
И отступая, умолкают мумы.

#### XIV.

И отступая, умолкают музы,  
Когда война в оглобли колесниц  
Уже впрягает диких кобылиц  
И Лист в эфире вытесняет блюзы.

Азарт и страх поселков и столиц,  
Вражда, любовь, симпатии и вкусы  
Уже вошли как минусы и плюсы  
В сухие коды боевых таблиц.

Что мне законы, кодексы и билли —  
Я разрубил, как в древности рубили,  
Своих сомнений спутанный клубок.

И брошены под гусеницы танков  
Развалины чужих воздушных замков  
Пылают у моих усталых ног.

#### XV.

Пылают у моих усталых ног  
Камин покоя и костер дороги  
И ждут меня, как прежде на пороге  
Ленивый квас и добродушный грог.

Но я все жду, как прежде на пороге  
Когда придет нетвратимый срок,  
Когда меня поднимут по тревоге  
Набат Руси или Роландов рог.

И я чутьем угадываю час  
Торпедоносцы прибавляют газ,  
Эсминцы взяли якоря под клюзы.

Настороженны, холодны и злы  
Расчехлены тяжелые стволы  
И отступая, умолкают музы.

*Анатолий Влад. Радыгин*

Андрей ПЛАТОНОВ (1899-1951)

#### ЧЕВЕНГУР\*)

(Несколько страниц из неизданного романа)

...Близ кладбища, где помещался ревком, находился длинный провал осевшей земли.

— Буржуи лежат, — сказал Пиюся. — Мы с японцем из них добавочно души вышибали.

Копёнкин с удовлетворением попробовал ногой осевшую почву могилы.

— Стало быть, ты должен быть так! — сказал он.

— Этого нельзя миновать, — оправдал факт Пиюся, — нам жить необходимость пришла...

Пашинцева же обидело то, что могила лежала неутрамбованной — надо бы ее затрамбовать и перенести сюда на руках старый сад, тогда бы деревья высосала из земли остатки капитализма и обратили их, по-хозяйски, в зелень социализма; но Пиюся и сам считал трамбовку серьезной мерой, выполнить же ее не успел, потому что губерния срочно сместила его из председателя чрезвычайки; на это он почти не обиделся, так как знал, что для службы в советских учреждениях нужны образованные люди, не похожие на него, и буржуазия там приносила пользу. Благодаря такому сознанию, Пиюся, после своего устранения из должности революционера, раз навсегда признал революцию умнее себя — и затих в массе чевенгурского коллектива. Больше всего Пиюся пугался канцелярий и написанных бумаг — при виде их он сразу, бывало, смолкал и, мрачно ослабевая всем телом, чувствовал могущество черной магии мысли и письменности. Во времена Пиюся, сама чевенгурская чрезвычайка помещалась на городской поляне; вместо записей расправ с капиталом, Пиюся ввел их всенародную очевидность и предлагал убивать пойманных помещиков самим батракам, что и совершалось. Нынче же, когда в Чевенгуре имелось окон-

(\*) Написанный в начале 30-х годов, главный роман известного писателя, *Чевенгур*, так и остался под запретом вот уже больше сорока лет. В апреле месяце он наконец увидит свет в Париже в издательстве YMCA-PRESS. Французский перевод готовится издательством Stock, итальянский — издательством Mondadori. *Чевенгур* повествует о невозможности осуществления социализма и о том как эта мечта калечит души людей.

чательное развитие коммунизма, чрезвычайка, по личному заключению японца, закрыта навсегда и на ее поляну передвинуты дома.

Копёнкин стоял в размышлении над общей могилой буржуазии — без деревьев, без холма и без памяти. Ему смутно казалось, что это сделано для того, чтобы дальняя могила Розы Люксембург имела дерево, холм и вечную память. Одно не совсем нравилось Копёнкину — могила буржуазии не прочно утрамбована.

— Ты говоришь: душу добавочно из буржуев вышибали? — усомнился Копёнкин. — А тебя за то аннулировали, — стало быть били буржуев не сплошь и не насмерть! Даже землю трамбовкой не забили!

Здесь Копёнкин резко ошибался. Буржуев в Чевенгуре перебили прочно, честно и даже загробная жизнь их не могла порадовать, потому что после тела у них была расстреляна душа.

У японца, после краткой жизни в Чевенгуре, начало болеть сердце от присутствия в городе густой мелкой буржуазии. И тут он начал мучиться всем телом — для коммунизма почва в Чевенгуре оказалась слишком узка и засорена имуществом и имущими людьми; а надо было немедленно определить коммунизм на живую базу, но жилье покоя века занято странными людьми, от которых пахло воском. Японец нарочно уходил в поле и глядел на свежие открытые места — не начать ли коммунизм именно там? Но отказывался, так как тогда должны пропасть для пролетариата и деревенской бедноты чевенгурские здания и утварь, созданные угнетенными руками. Он знал и видел, насколько чевенгурскую буржуазию томит ожидание второго пришествия и лично ничего не имел против него. Пробыв председателем ревкома два месяца, японец замучился — буржуазия живет, коммунизма нет, а в будущее ведет, как говорилось в губернских циркулярах, ряд последовательно-наступательных переходных ступеней, в которых японец чувством подозревал обман масс.

Сначала он назначил комиссию, и та комиссия говорила Чепурному про необходимость второго пришествия, но Чепурный тогда промолчал, а втайне решил оставить буржуазную мелочь, чтоб всемирной революции было чем заняться. А потом Чепурный захотел отмучиться и вызвал председателя чрезвычайки Пиюсю.

— Очисти мне город от гнетущего элемента! — приказал Чепурный.

— Можно, — послушался Пиюся. Он собрался явочным по-

рядком перебить в Чевенгуре всех жителей, с чем облегченно согласился японец.

— Ты понимаешь, — это будет добрей! — уговаривал он Пиюсю. — Иначе, брат, весь народ помрет на переходных ступенях. И потом, буржуи теперь все равно не люди: я читал, что человек, как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз есть пролетариат, то к чему ж буржуазия? это прямо некрасиво.

Пиюся был знаком с буржуазией лично: он помнил чевенгурские улицы и ясно представлял себе наружность каждого домовладельца: Щекотова, Комягина, Пихлера, Знобилина, Шапова, Завын-Дувайло, Перекрутченко, Сюсюкалова и всех их соседей. Кроме того, Пиюся знал их способ жизни и пропитания и согласен был убить любого из них вручную, даже без применения оружия. Со дня своего назначения председателем чрезвычайки, он не имел душевного покоя и все время раздражался: ведь ежедневно мелкая буржуазия ела советский хлеб, жила в его домах (Пиюся до этого работал двадцать лет каменным кладчиком) и находилась поперек революции тихой стервой. Самые пожилые щербатые личности буржуев превращали терпеливого Пиюсю в уличного бойца: при встречах со Щаповым, Знобилиным и Завын-Дувайло — Пиюся не один раз бил их кулаками, а те молча утирались, переносили обиду и надеялись на будущее; другие буржуи Пиюсе не попадались, заходить же к ним нарочно в дома Пиюся не хотел, так как от частых раздражений у него становилось душно на душе.

Однако, секретарь уика Прокофий Дванов не согласился по-дворно и явочным порядком истребить буржуазию. Он сказал, что это надо сделать более теоретично.

— Ну, как же — сформулируй! — предложил ему Чепурный.

Прокофий в размышлении закинул назад свои эсеровские задумчивые волосы.

— На основе ихнего же предрассудка! — постепенно формулировал Прокофий.

— Чувствую! — не понимая, собирался думать японец.

— На основе второго пришествия! — с точностью выразился Прокофий. — Они его сами хотят, пускай и получают — мы будем не виноваты.

Чепурный, напротив, принял обвинение.

— Как так не виноваты, скажи пожалуйста! — Раз мы — революция, то мы кругом виноваты! А если ты формулируешь для своего прощения, то пошел прочь!

Прокофий, как всякий умный человек, имел хладнокровие.

— Совершенно необходимо, товарищ Чепурный, объявить официальное второе пришествие. И на его базе очистить город для пролетарской оседлости.

— Ну, а мы-то будем тут действовать? — спросил японец.

— В общем — да! Только нужно потом домашнее имущество распределить, чтобы оно больше нас не угнетало.

— Имущество возьми себе, — указал Чепурный. — Пролетариат сам руки целыми имеет. Чего ты в такой час по буржуазным сундукам тоскуешь, скажи пожалуйста! Пиши приказ.

Прокофий кратко сформулировал будущее для чевенгурской буржуазии и передал написанную бумагу Пиюсе; тот должен по памяти прибавить к приказу фамильный список имущих.

Чепурный прочитал, что советская власть предоставляет буржуазии все бесконечное небо, оборудованное звездами и светильниками на предмет организации там вечного блаженства; что ж касается земли, фундаментальных построек и домашнего инвентаря, то таковые остаются внизу — в обмен на небо — всецело в руках пролетариата и трудового крестьянства.

В конце приказа указывался срок второго пришествия, которое в организованном безболезненном порядке уведет буржуазию в загробную жизнь.

Часом явки буржуазии на соборную площадь назначалась полночь на четверг, а основанием приказа считался бюллетень метеорологического губбюро.

Прокофия давно увлекала внушительная темная сложность губернских бумаг и он с улыбкой сладострастия перелагал их слог для уездного масштаба.

Пиюся ничего не понял в приказе, а японец понюхал табак и поинтересовался одним, почему Прокофий назначил второе пришествие на четверг, а не на сегодня — в понедельник.

— В среду пост — они тише приготовятся! — объяснил Прокофий. — А затем сегодня и завтра ожидается пасмурная погода, — у меня же сводки о погоде есть!

— Напрасная льгота, — упрекнул японец, но на ускорении второго пришествия особо не настаивал.

Прокофий же, совместно с Клавдюшей, обошел все дома имущих граждан и попутно реквизирует у них негромоздкие ручные предметы: браслеты, шелковые платки, золотые царские

медали, девичью пудру и прочее. Клавдюша складывала вещи в свой сундучок, а Прокофий устно обещал буржуям дальнейшую просрочку жизни, лишь бы увеличился доход республики; буржуи стояли посреди пола и покорно благодарили. Вплоть до ночи на четверг Прокофий не мог освободиться и жалел, что не назначил второго пришествия в ночь на субботу.

Чепурный не боялся, что у Прокофия очутилось много добра: к пролетариату оно не пристанет, потому что платки и пудра изведутся на голове бесследно для сознания.

В ночь на четверг соборную площадь заняла чевенгурская буржуазия, пришедшая еще с вечера. Пиюся оцепил район площади красноармейцами, а внутрь буржуазной публики ввел худых чекистов. По списку не явилось только трое буржуев — двое из них были задавлены собственными домами, а третий умер от старости лет. Пиюся сейчас же послал двух чекистов проверить — отчего обвалились дома, а сам занялся установкой буржуев в строгий ряд. Буржуи принесли с собой узелки и сундучки — с мылом, полотенцами, бельем, белыми пышками и семейной поминальной книжкой. Пиюся все это просмотрел у каждого, обратив пристальное внимание на поминальную книжку.

— Прочти, — попросил он одного чекиста. Тот прочитал.

— О упокоении рабов Божьих: Евдокии, Марфы, Фирса, Поликарпа, Василия, Константина, Макария и всех сродственников.

О здравии — Агриппины, Марии, Косьмы, Игнатия, Петра, Иоанна, Анастасии со чадами и всех сродственников и болящего Андрея.

— Со чадами? — переспросил Пиюся.

— С ними! — подтвердил чекист.

За чертой красноармейцев стояли жены буржуев и гулко рыдали в ночном воздухе.

— Устрани этих приспешниц! — приказал Пиюся. — Тут сочады не нужны!

— Их бы тоже надо кончить, товарищ Пиюся! — посоветовал чекист.

— Зачем, голова? Главный член у них отрублен!

Пришли два человека с проверки обвалившихся домов и объяснили: дома рухнули с потолков, потому что чердаки были перегружены солью и мукой сверх всякого веса; мука же и соль буржуям требовалась в запас — для питания во время прохожде-

ния второго пришествия, дабы благополучно переждать его, а затем остаться жить.

— Ах, вы так! — сказал Пиюся, и выстроил чекистов, не ожидая часа полуночи. — Коцай их, ребята! — и сам выпустил пулю из нагана в череп ближнего буржуя — Завын-Дувайло. Из головы буржуя вышел тихий пар, а затем проступило наружу волос, материнское сырое вещество, похожее на свечной воск, но Дувайло не упал, а сел на свой домашний узел.

— Баба, обмотай мне горло свивальником! — с терпением произнес Завын-Дувайло. — У меня там вся душа течет! — и свалился с узла на землю, обняв ее раскинутыми руками и ногами, как хозяин хозяйку.

Чекисты ударили из нагана по безгласным, причастившимся вчера буржуйам — и буржуи неловко и косо упали, вывертывая сальные шеи до поврежденья позвонков. Каждый из них утратил силу ног еще раньше чувства раны, чтобы пуля попала в случайное место и там заросла живым мясом.

Раненый купец Шапов лежал на земле с оскудевшим телом и просил наклонившегося чекиста:

— Милый человек, дай мне подышать — не мучай меня. Позови мне женщину проститься! Либо дай поскорее руку — не уходи далеко, мне жутко одному.

Чекист хотел дать ему свою руку:

— Подержись, — ты теперь свое отзвонил!

Шапов не дождался руки и ухватил себе на помощь лопух, чтобы поручить ему свою недожитую жизнь; он не освободил растения до самой потери своей тоски по женщине, с которой хотел проститься, а потом руки его сами упали, больше не нуждаясь в дружбе. Чекист понял и заволновался: с пульей внутри, буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули — любили одно имущество.

Пиюся тронул Завын-Дувайло:

— Где у тебя душа течет — в горле? Я ее сейчас вышибу оттуда!

Пиюся взял шею Завына левой рукой, поудобней зажал ее и упер ниже затылка дуло нагана. Но шея у Завына все время чесалась и он тер ее о суконный воротник пиджака.

— Да не чешись ты, дурной: обожли, я сейчас тебя царапну!

Дувайло еще жил и не боялся:

— А ты возьми-ка голову мою между ног, да зажми, чтоб я криком закричал, а то там моя баба стоит и меня не слышит!

Пиюся дал ему кулаком в щеку, чтоб ощутить тело этого буржуя в последний раз, и Дувайло прокричал жалующимся нарочным голосом:

— Маменька, бьют! — Пиюся подождал, пока Дувайло растянется и полностью произнесет слова, а затем дважды прострелил его шею и разжал у себя во рту нагревшиеся сухие десна.

Прокофий выследил издали такое одиночное убийство и упрекнул Пиюсю:

— Коммунисты сзади не убивают, товарищ Пиюся!

Пиюся от обиды сразу нашел свой ум:

— Коммунистам, товарищ Дванов, нужен коммунизм, а не офицерское геройство!.. Вот — и помалкивай, а то я тебя тоже на небо пошлю! Всякая б..дь хочет красным знаменем заткнуться: тогда у ней, дескать, пустое место сразу честью зарастет... Я тебя пулей сквозь знамя найду!

Явившийся Чепурный остановил этот разговор:

— В чем дело, скажите пожалуйста? Буржуи на земле еще дышат, а вы коммунизм в словах ищите!

Японец и Пиюся пошли лично обследовать мертвых буржуев; погибшие лежали кустами — по трое, по пятеро, и больше — видимо старались сблизиться хоть частями тела в последние минуты взаимного расставания.

Чепурный пробовал тыльной частью руки горло буржуев, как пробуют механики температуру подшипников, и ему казалось, что все буржуи еще живы.

— Я в Дувайле добавочно из шеи душу вышиб! — сказал Пиюся.

— И правильно: душа же в горле! — вспомнил Чепурный. — Ты думаешь, почему кадеты нас за горло вешают? — от того самого, чтоб душу веревкой сжечь: тогда умираешь, действительно, полностью! А то все будешь копать! убить ведь человека трудно!

Пиюся и Чепурный прошупали всех буржуев и не убедились в их окончательной смерти: некоторые как будто вздыхали, а другие имели чуть прикрытыми глаза и притворялись, чтобы ночью уползти и продолжать жить за счет Пиюси и прочих пролетариев;

тогда японец и Пиюся решили дополнительно застраховать буржуев от продления жизни: они подзарядили наганы и каждому лежачему имущему человеку — в последовательном порядке — прострелили сбоку горло — через железки.

— Теперь наше дело покойнее! — отделавшись высказался Чепурный. — Бедней мертвеца нет пролетария на свете.

— Теперь уж прочно, — удовлетворился Пиюся. — Надо пойти красноармейцев отпустить.

Красноармейцы были отпущены, а чекисты оставлены для подготовки общей могилы бывшему буржуазному населению Чевенгура. К утренней заре чекисты отделались и свалили в яму всех мертвецов с их узелками. Жены убитых не смели подойти близко и ожидали вдалеке конца земляных работ. Когда чекисты, во избежание холма, разбросали лишнюю землю на освещенной зарею пустой площади, а затем воткнули лопаты и закурили, — жены мертвых начали наступать на них из всех улиц Чевенгура.

— Плачьте! — сказали им чекисты, и пошли спать от утомления.

Жены легли на глиняные комья ровной бесследной могилы и хотели тосковать, но за ночь они простыли, горе из них уже вытерпелось и жены мертвых не могли больше заплакать.

Свящ. Павел ФЛОРЕНСКИЙ (1882-1943)

## Воспоминания детства \*)

### II.

#### ПРИРОДА

(Окончание)

Между тем в безоблачность моих детских восторгов стали вторгаться ужасы, как ни оберегали от них мой внутренний мир. По мере того как рос я, росли со мною и духовные существа, населяющие природу, или оттеснялись другими существами, о которых раньше я не думал и о которых раньше я и не знал. Эльфы теперь реже были в моих мыслях, а лешие — чаще. Раньше русалки были только очаровательны своими длинными зелеными волосами, а теперь я стал догадываться и об опасной их стороне. Губительные духи природы стали выползать из тени по ту сторону ограды моего Эдема, и я чувствовал, как они смеются и теряют свое благодущие. Каждый куст, каждый затон, каждое темное пространство теперь становились опасными и вызывали тревоги.

Меня пронизывал иногда внезапный страх в комнате днем, и еще больше — на ярком солнце около полудня, когда я оставался один.

Ничего похожего на такую спутанность понятий мое мировосприятие не содержало, и границы разделения проходили там же, где и теперь они проходят для меня, и где они проходят для всякого человека. Если уж говорить о различии тогдашнего и теперешнего, то оно имело как раз обратный смысл: эти границы между отдельными вещами, существами и явлениями были несравненно глубже, чем теперь, и сознавались острее и непроходимее. Ведь в самом деле, детское восприятие — более эстетического характера, нежели восприятие взрослого, научное, или хотя бы наукообразное. И потому, каждый отдельный объект в детском восприятии, как созерцаемый эстетически, целостно замкнут в себе, и от единства его нет никаких переходов к самозамкнутому же единству другого объекта. Преобладание в детском восприя-

\*) Начало этого произведения см. в Вестнике № 99, стр. 48, № 100, стр. 230. Полностью "Воспоминания" будут напечатаны отдельной книгой.

тии вещей над пространством делает мир несравненно более прочно расчлененным, нежели в восприятии взрослого. Научное познание устанавливает общность где её раньше не было видно, разыскивает промежуточные явления между крайностями, мостит мосты для перехода чрез дотоле непроходимые бездны, вообще смазывает чёткую раздельность мира, притупляет пафос различия. В критическом и последовательном научном миропонимании непосредственное чувство невозможности каких бы то ни было сближений, переходов, превращений должно быть задерживаемо, и в этом — дух науки « *Celui qui en dehors des mathématiques prononce le mot « impossible » manque de prudence* », — отчеканено славным Ампером, и притом в расцвете рационализма, когда верилось, что всё в основе известно, и круг знания почти замкнут.

Итак, не по нечувствию естественных границ между явлениями воспринимал я жизнь мира. Научное миропонимание ослабляет внешнее различие между явлениями, оставляя самые явления, даже когда они по качеству своему тождественны, чуждыми друг другу, и мир, лишенный яркого многообразия, — не только не объединяется, а напротив — рассыпается. Детское восприятие преодолевает раздробленность мира **изнутри**. Тут **утверждается** существенное единство мира, не мотивируемое тем или другим общим признаком, а непосредственно ощущаемое, когда сливаешься душою с воспринимаемыми явлениями. Это есть мировосприятие мистическое.

Конечно я отлично сознавал, что фиалка не имеет ничего общего со мною, и прекрасно знал о несуществовании у неё глаз (увы, теперь я этого не знаю, и потому взор фиалки, для разговора, могу и заказывать: и по ботанике, растения имеют глаза). Но непосредственно я принимал к самому существу скромного цветка, ощущал его жизнь, столь близкую мне внутренне и столь далекую по внешне учитываемым проявлениям, и вот эту, постигнутую мною, внутреннюю жизнь рассказывал себе в словах, как говорится, метафизических: Какой-нибудь малый и даже трудно формулируемый признак мог **тогда**, но только тогда, т. е. когда **изнутри** существо было уже познано, стать свидетельством, что я правильно уразумел существо дела. Но он был для меня не внешним доказательством, обязательным для других, и я бы даже постеснялся сказать о нем кому бы то ни было: это было знамение, некоторое природное чудо, — когда сокровенная сущность приподымала завесу своей тайны и бросала оттуда лукавый взгляд.

Я хорошо помню это внезапное и далеко не повседневное ощущение, что взор встретился со взором, глаз уперся в глаз — мелькнет, острое, и прекратится, да и не выдержать бы длительного этого прямого созерцания лица Природы. Но, и мгновенно, это ощущение давало абсолютную уверенность в подлинности этой встречи: мы друг друга увидели и насквозь друг друга понимаем, не только я его, но и, еще острее, он меня. И я знаю, что он меня знает еще глубже и видит еще определеннее, чем я его, а главное — меня всецело любит.

Однажды, уже много лет спустя, я пережил ту же встречу перекрестными взорами, и ощущение, что меня взор пронизывает насквозь, до самых сокровенных тайников моего существа. И это был взор приблизительно двухмесячного ребенка, моего сына Васи. Я взял его ранним утром побаякать полусонного. Он открыл глаза и смотрел некоторое время прямо мне в глаза сознательно, как ни он, ни кто другой никогда не смотрел, в моей памяти: правильнее сказать, что был взгляд сверх-сознательный, ибо Васиними глазами смотрело на меня не его маленькое, несформировавшееся сознание, а какое-то высшее сознание, большее меня, и его самого, и всех нас, из неведомых глубин бытия. А потом всё прошло, и предо мною снова были глаза двухмесячного ребенка. Вот этот-то опыт постоянно направлял курс моего отношения к природе. Ничего, ничего; а вдруг — и метнётся взгляд, то нежный и глубокий, полный какого-то ожидания от меня, то лукаво-веселый, говорящий, что мы-то с природою знаем, чего другие не знают, и знать не должны. Природа, как верил я и ощущал, скрывает себя от людей; но я — любимец её, и мне себя она хочет показать в своей подлинной сути, впрочем так, чтобы не стать явной пред другими. И она посылает мне свои знамения, говорит мне знаменательными формами, мне одному доступными, чтобы я знал, где надо насторожить свое внимание.

Молодые животные, некоторые птички, малые ящерицы с прекрасными карими глазами, иногда маленькие зеленые лягушата, ну, и конечно, многие цветы так общались со мною. Минералы, различные природные явления, в особенности многие цвета, запахи и вкусы — были пронизаны глубинной энергией природы несравненно более животных и птиц, даже цветов, но в них эта напряженная и клокочущая мощь немотствовала лишенная органа выражения. Она набухала, стремясь ко мне, как и во мне набухла по направлению к ней, но между нами всегда оставался прозрачный слой тонкой, но непробиваемой изоляции, и стремление

к мистическому разряду никогда не удовлетворялось до конца. Всегда я чувствовал себя несатым своим зеленым цветом, своими искрами, своим запахом и шумом моря.

Знаменательными и потому особенно таинственными бывали разные, полу-уловимые, признаки. Но были кроме того и целые классы природных форм волнующие, всегда желанные, всегда вызывавшие стремление охватить их изнутри, проникнуться ими и самому им уподобиться, конечно, не внешне, а в каких-то недрах глубинной воли.

Ах, почему я не та форма? Или: ведь та форма — это я, — между двумя этими формулировками неустойчиво колебалось тогда мое чувство.

Многие из форм мне нравились в природе, многим я любовался, но брало за сердце и волновало до глубины далеко не всё, и мне думается, не только сейчас, задним числом, но и тогда я достаточно точно устанавливал в слове свою внутреннюю потребность. Вот что я говорил себе:

Внутренне приковывают меня к себе формы определенные, ограниченные упругими поверхностями, упругими линиями. Я ищу проработанности форм, но черствость их и засушенность отчуждают их и слишком большая нежность, ухищренность, сложность. В растениях мне наиболее привлекательны прямые линии, или незаметно мало изогнутые, но и те и другие должны быть упругими; малейший перехват либо в сторону черствости и механической правильности, — как палка, либо, напротив, — в мягкость, одрябление, или кокетливое склонение — и всё очарование прямой бесповоротности исчезло, сделав ее в одном случае — скучной и мертвой, а в другом — какой-то липкой и гадкой. Естественно, эта упругость прямизны должна держаться и выражаться соответственным строением, в котором явно преобладает направление по самой линии, так что линия представляется плотно связанным пучком продольных волокон. В растениях вообще меня волновала их волокнистость, особенно когда она и на поверхности выражалась тончайшими каннелюрами стебля, как например, хвоща, у некоторых водяных растений, у лилий, или же зримой структурой продольно-вытянутых клеточек с серебриющимися между ними продольными же воздушными пузырьками, как у стеблей водяных лилий, многих луковичных и других. Эта же упругая вытянутость определяла чаще всего и мои влечения к птицам и животным.

Тоненький и длинный, упругий клюв вальдшнепа, еще более тонкие и еще более вытянутые клювы колибри, такие же клювы

и ноги аистов, журавлей, куликов, вообще голенастых, едва ли не были главной причиной моей духовной близости к ним. Поэтому же я любил джейранов, газелей, оленей, ланей — за их тонкие ножки и упругую шею. Когда я чувствовал в поверхности, ограничивающей некоторое тело естественную поверхность равновесия упругих сил всего организма, когда внутренним взором видел как её, упругую, выпячивают внутренние силы, и она, скажу теперешними словами, решает задачу на минимум, тогда и во мне что-то набухало ответно, и я ощущал её как свою поверхность, и себя, — как её содержимое: такова была, например, поверхность некоторых раковин. Меня волновала сдержанная мощь природных форм, когда за явным предвкушается беспредельно больше — сокровенного. В упругости форм я улавливал жизнь, которая могла бы проявиться, но сдерживает себя и лишь дрожит полнотою. Упругий стебель водяного растения, упругие лепестки белых лилий, упругие темно синие бубенцы полевых гиацинтов, упругие капли росы, собравшиеся на волосистых листьях манжеток, упругие выпуклости раковин, упругая шея джейрана и карабахской лошади, и бесчисленное множество других гибких и вместе исполненных внутренней силы форм волновали меня до щекотания в сердце именно как откровение самой творческой мощи природы. Вещь, как таковая уже всецело выразившаяся, мало трогала меня, раз только я не чувствовал, что в ней нераскрытого гораздо больше, чем ставшего явным: меня волновало лишь тайное.

Я чрезвычайно любил бутоны и почки, но роскошная красота на своей вершине принималась мною с таким оттенком, с каким относятся взрослые к тряпичным цветам. Да, роза прекрасна, но она вся тут, она не волнует неразгаданностью, и жизнь, её произведшая, дошла в ней до вершины и теперь иссякает. Роза явна, и потому не таинственна. Так и всякая другая вещь, — волнует пока в ней чувствуешь бутон другого бытия; а когда она — сама по себе, чувственно данная, она слишком понятна и потому не приковывает к себе.

У меня всегда было определенное чувство, что подлинно знаменательное скромно и прячется, тогда как в откровенной красоте великолепных магнолий, роз, тюльпанов и т. д. есть что-то такое, от чего приходится конфузиться за них. И я предпочитал фиалку, скромный, хотя и священно пурпурный цветок, спрятавшийся под кустами среди собственной зелени, опять таки скромную и мало доступную незабудку. Верхом же привлекатель-

ности был, почти мифически в моем сознании, ландыш, который я знал больше из рассказов тётки Юли и рисунков, и позже — по садовым его экземплярам. Иногда находил я в лесу ландышевые листья и, в восторге от тончайшего строения их жилок, всех параллельных между собою, целовал их. Моею мечтою было найти растение в цвету; но в окрестностях Батума цветение ландыша происходит вероятно так рано, что мои поиски никогда не достигали цели.

Впоследствии мои чувства к розе и другим растениям роскошного вида изменилось; но не потому, что бы изменился характер внутренних моих требований, а — в связи с открывшейся мне незавершенностью и розы. Может быть, самые восприятия мои стали менее сильными, так что эта преизбыточная роскошь в моих глазах и сделалась скромнее. Но во всяком случае, она потеряла свою пышную самодовлеимость и стала бутонем иных возможностей и иной полноты.

Точно так же и в других областях: мои восприятия и сами по себе были слишком яркими для того, чтобы яркое и преизобильно роскошное давало мне удовлетворение. Конечно, многое может быть занимательным, многое хочется узнать и увидеть, но совсем вплотную мило лишь скромное. Птичка, может быть несуществующая, светло-коричневого цвета, как кофе с молоком, с голубою головкой прыгала передо мною в воображении, как обаяние этой заветной скромности.

Моему сердцу мила была незаметность, тихость, смирение. А вместе с тем и вопреки тому, душою влекся тот же я к экзотическому, хотя и тут с чем-то соответствующим этой скромности. Мне всегда хотелось жить среди возможно простой обстановки; окруженным скромной природой, но имея где-то поодаль природу тропическую. Отчасти в этой двойственности отражается горный пейзаж, где суровая и пустынная нелюдимость высот почти касается субтропической флоры. Не таково ли и место моего рождения Евлах, где преизобилующая природными богатствами и обременительная избытком роскошной жизни степь стеснена двумя снеговыми горными группами?

Но скорее в этой двойственности природы, меня воспитавшей, я склонен видеть наглядное выражение собственной моей двойственности, в которой север и юг, через кровь исторически самую молодую и самую древнюю, напряженно противостоят друг другу, не только не смешиваясь, но и напротив возбуждая друг друга к более крепкому самоопределению.

Так вот, в то время как передо мною скакала та коричневая с голубым птичка, я страстно и почти болезненно мечтал о колибри, и мне казалось, может ли быть лучше удел, как поцеловать живого колибри — больше всего я любил эльфа, как за малость его и несколько смешной нахохленный вид, так и за самое название, — и умереть.

Я жадно выспрашивал у всех подробности об этих очаровательных птичках, бесчисленное множество раз смотрел имевшиеся изображения их и с горечью помнил, что их держать в неволе не удавалось, что сироп, которым их кормили, засахаривался в их маленьком желудочке и убивал их, и что поэтому нет надежды увидеть мне их живыми.

Тогда я умолял поверенную моих желаний, тётку Юлю, приобрести чучело колибри. А для того чтобы мотивировать это приобретение, я просил её посадить колибри на шляпу, — чего впрочем мне и на самом деле хотелось по моему увлечению нарядами. Долго приставал я, всячески доказывая необходимость такого украшения на шляпе. Наконец папа сказал, чтобы выполнили мое желание. Было уже довольно поздно и несколько холодно, т. е. по Батумскому климату, когда мы с тёткой отправились за вожделенной покупкой. Кажется, это была поздняя осень или зима. В Батуме было тогда еще порто-франко, и потому в убогих батумских магазинах продавались весьма изящные и добротные заграничные товары. Среди большого выбора шляпных чучел колибри глаза мои разбежались, я выбирал то ту, то другую, потом откладывал обратно и снова выбирал, пока наконец не стало темнеть и пришло время запирать магазин. Несколько недовольная моей нерешительностью тётка Юля наконец помогла мне сделать выбор и расплатилась за довольно дорого стоившую покупку. Птичку завернули, слегка загнув с обеих сторон бумагу, чтобы не смять её.

Покупки тётка мне не хотела давать, опасаясь, что я сомну её, но я так умолял дать её нести мне, что тётка уступила, предупредив лишь еще раз о том же, и показав, как надо нести воздушный пакет за один край, чтобы не повредить колибри. Я вцепился в этот край и добросовестно выполнил все предписания. Но, когда, пройдя некоторое расстояние, тётка захотела проверить, не мну ли я птичку, оказалось, пакет развернулся снизу, птичка выпала, а я старательно нес пустую бумагу. Я так огорчился этой потерей, что даже не заплакал, а тётка огорчилась за меня. Мы пошли обратно, но было темно и сыро, птички конечно не нашлось.

Этот случай нанес душе моей рану, одну из тех, что не заживает никогда, хотя бы о них сознательно и забыли мы. Мне уже больше не хотелось даже покупать нового колибри, и предложение в этом смысле мною было отклонено, даже говорить о колибри было мне тягостно.

Несколько лет спустя, папа прочел где-то объявление о вышедшем в Париже роскошном цветном альбоме колибри и, вспомнив, как замирал я расспрашивая об этих птичках, ничего не сказав, выписал этот альбом и подарил мне. Альбом был действительно замечательный. Но моя полузабытая рана в сердце была так болезненна, что альбом оставил меня холодным, и я запрятал его куда-то подальше.

Еще через несколько лет, в третьем или четвертом классе гимназии одноклассник мой, Володя Эри, как-то попросил у меня какую-нибудь книгу с картинками для срисовывания. Я дал ему тогда альбом колибри, но уже обратно его не получил, несмотря на просьбы. Подозреваю, что, страстно увлеченный тогда курами, Эри превратил моих колибри в кур.

Тогда я даже не жалел об этом альбоме, и только теперь, когда с каждым днем возвращаются впечатления детства, снова он стал вспоминаться. Но так уж много в жизни не повезло с этими птичками, в которых было для меня самое острейшее изящное.

У меня осталось такое ощущение от детства, что я собственно никогда, или почти никогда, не приходил в состояние спокойное; целый день меня не оставляла экзотическая приподнятость, когда я либо говорил без умолку, за что у Лизы тётки в деревне крестьянские девушки называли меня по-армянски «цицернак», т. е. ласточка, либо во мне всё пелось и распушалось в экзотических звуках. Едва ли эти состояния были заурядною живостью всякого ребенка. Повидимому в моем мозгу происходило что-то, если и не неладное, то во всяком случае необыкновенное, что причиняло мне не мало страданий. Я хорошо помню с раннейшего детства начавшиеся и прекратившиеся лишь лет десяти, если не ошибаюсь, головные боли, которые можно отчасти сравнить с сильной мозговой усталостью в конце длительной и напряженной умственной работы. Вероятно, это были сильные притоки крови, притом именно к задней, нижней части головы, и я старался найти себе облегчение от этой боли и тяжести довольно частым подниманием, запрокидыванием головы и прижиманием на мгновение затылка к шее; мне кажется, это мое движение несколько напоминало характерный рефлекс при менингите. Не легко ходить с такой голо-

вою, и если бы не мой всегдашний восторг и интерес к бытию до самозабвения, вероятно я бы непрестанно хныкал от своей боли. Бедного папу всегда беспокоило мое здоровье, и по многу раз в день он ощупывал мой лоб, нет ли у меня жару, и неизменно спрашивал: «не болит ли головка?» Но и его ощупывание и его вопрос были излишними: голова у меня болела, и я старался только забыть о ней, а жар тоже был почти всегда, от малярии, которой страдало всё семейство, начиная от папы.

Я уж не знаю, были ли у меня приливы крови к голове от моей всегдашней внутренней взволнованности, или, наоборот, самое возбуждение усиливалось притоками крови.

К тому же мы все, не только наше семейство, но и все знакомые сидели в Батуме на хинине, поглощая его банками, и едва ли это могло не отражаться на общем самочувствии.

Но от чего бы то ни было, а всё из области природы меня интересовало, не давая уму ни минуты отдыха. Сколько раз в день бывало влезу я на перила балкона и, держась за деревянный столб, исследую снова и снова хорошо уже рассмотренное лавровишневое дерево возле балкона и в тысячный раз глажу и прикладываю к лицу его словно лакированные темно-зеленые листья, жую их, думаю о том, как из его черных ягод делаются капли, нюхаю цветочные кисти и нахожу в их запахе сходство с горьким миндалем. Потом такому же обследованию подвергаются растущие у нас на балконе в ящиках большие апельсиновые и лимонные деревья с недозрелыми еще плодами и белыми, любезными мне цветами. В подобных занятиях проходит, как мне кажется, много времени. Потом я принимаюсь за исследование привлекательное, как и рискованное: внимательный осмотр зияющих черными эллиптическими отверстиями червоточин в балконных столбах. Уже давно сообразил я, что эти темные отверстия имеют тайный смысл, и потому мимо ушей пропускал разъяснение взрослых, будто их выедают какие-то червяки. Одна из нянюшек (впрочем, вспоминаю, это была Люсина няня, пожилая вдова, по имени Софья, а по фамилии Романова; она сказала нам, что муж её, как Романов, был царем, и мой полу-скептический вопрос, почему же она живет в няньках, не изгладил во мне впечатления от её слов), — так вот эта самая нянька, желая отвлечь меня от червоточины, сообщила, что там живет бука. Конечно, я ей сразу поверил, ибо и сам пришел к такому заключению, только не знал имени таинственного существа, но, конечно, лишь усилил свою внимательность к обиталищу этого буки.

Иногда выходила на балкон тётя Юля пересаживать растения или насаждать их в длинных ящиках, устроенных по распоряжению папы, кругом всего дома, по перилам балкона. Тётя любила копать в земле с цветами, а я — ей помогать: меня интересовали корни растений, молодые побеги, прячущиеся в земле, прорастающие семена, и приводила в ужас, хотя и без позднее развившейся брезгливости, копавшаяся в земле медведка. Но это отдельные впечатления. Они умножались и обострялись, когда я попадал за город. Папа любил и считал полезным устраивать нам целодневные прогулки по окрестностям Батума. Нанимался фаэтон, иногда два, делался запас провизии и, главное, столовых принадлежностей, и мы с волнением катили по одному из шоссе.

Наиболее любимым и наиболее часто посещаемым местом таких прогулок была первая станция строившейся отцом моим Батумо-Ахалцыхской шоссеиной дороги — Аджарис-Цхали. Дорога идет сперва неподалеку от морского берега, плоского, пустынного — это хорошая подготовка к последующему богатству и отвесным скалам Аджарского Ущелья. Но и этот пустынный кусочек в 2-3 версты не лишен занимательности для нас. Вот недалеко от дороги виднеются хижины, крытые сухими кукурузными стеблями и из тех-же стеблей на деревьях целые стога округлой формы, словно гнезда исполинских ос. Эти хижины и эти скирды кукурузы принадлежат негрской колонии, расположившейся около Батума. К нашему удовольствию рослый негр, почти великан, или женщина негритянка с младенцем у черной груди и другим негритёнком цепляющимся за руку или за подол, пересечёт дорогу и с любопытством остановится возле нас. В них мне чувствуется кротость богатырей и открытость в природу, которая впоследствии стала мучительно искаться мною. Черный цвет их меня несколько не смущает, я только соображаю про себя, ваксой или тушью мне придется краситься, если я поселюсь среди них. Как странно: в детстве мне чуждо ощущение близости к людям, чужим, кроме очень немногих. Но при таких встречах протягиваются нити симпатии.

Едем дальше. Вот речка, с которой начинается дорога под управлением папы и первый на этой дороге им построенный мост. Мы гордимся, что папа строит мосты, и на этом основании считаем их своею собственностью и потому вместе с папой должны осмотреть его хозяйственным взглядом, всё ли там благополучно. Папа останавливает «фаэтонщика», упирая ему в спину палкой, — почему-то все уверены, несмотря на гуманные идеи, что иначе

фаэтонщик не услышит. Мы бросаемся под мост поплескаться в прозрачной, текущей по песку воде, — хотя пить её нам строго воспрещается, — вылавливаем лягушечью икру или головастиков, смотря по времени года, и, конечно, это во всякое время, подбираем со дна хорошенькие витые черные ракушки. Мы бы остались с охотой и еще, но нас торопят, садимся в экипаж и затеваем с Люсей ссору, если не успели её устроить при выезде, кому сидеть на неудобной, передней скамеечке, которая представляется нам местом почетным и самостоятельным, а кроме того имеет преимущество обсервационного пункта. Папа рассказывает нам о развитии лягушечьей икры или о выплавке меди из медного колчедана, по поводу огромных куч, расположенных вдоль дороги. В этих курганах из колчедана, распространяющих запах сернистого газа — я давно уже усвоил всю эту химию, — выгорает сера, а образующаяся медная окись, как я узнал, будет впоследствии восстановлена углем. От папы я научился тоже сожалеть о разлетающемся сернистом газе, из которого можно было бы сделать занимающую меня серную кислоту и без огня сжечь ею тряпку. Я знаю также, что добыча колчедана производится тут же неподалеку и внутренне горжусь, что наш, я бы хотел сказать, мой Батум не лишен настоящей руды, т. е. какой-то связи с подземным миром. Втайне я вывожу отсюда и дальнейшие последствия что раз есть руда, то есть или могут быть подземные шахты и коридоры, вводящие в самую преисподнюю, а затем и сталактитовые пещеры; на заднем же фоне всего этого виднеется и несколько туманная пока возможность встречи с гномами.

И еще более волнует меня рассказ папы о золотоносном песке. Я конечно хорошо помню поход аргонавтов к устьям Фазиса в Колхиду за золотым руном. И давно также я твердо себе усвоил, что эти «мифические места» — именно те, где мы живем, и что, следовательно, миф столь же реален, как и сам я и наша Колхида. Фазис — это нынешний Рион, и знал я также, что доселе стоит скала в Рионском ущельи, на которой был распят Прометей.

Кстати сказать, родители мои тут, кажется, дали маху, изолировав меня от церковного учения и сказок, как еще живущих, они легко относились к античной мифологии, вероятно считая её безнадежно умершей. Последствием же такой оплошности было то, что я чувствовал себя древним эллином яснее, нежели русским, и фавнов и нимф любил и знал больше нежели леших и русалок. Итак, греческий миф мне был близок, а земля, по которой

я ходил, пропитана испарениями античности. Относительно золотого руна я знал от папы, что в древности (а это слово казалось мне наполненным тем же таинственным мраком, что и пещеры, и потому было так же волнительно) пески Колхидских рек, в том числе Риона и Чороха, были золотоносны и остаются такими доныне, т. е. до меня; а добыча золота производилась промывкою золотоносного песку над овечьей шкурой. Когда кудрявая подстилка напитается застрявшими в ней золотыми крупинками, её сжигают, а золото остаётся. Вот за этим-то золотым руном и приезжал к нам некогда такой герой, как царь Ясон. Как же было не гордиться своей страной? — приезжал ведь почти что ко мне. Правда, было тут и некоторое преткновение в виде злой волшебницы Медеи, которою наградила в придачу к руноу тоже наша Колхида. Но Медея внушала мне неприязненное чувство, за обман отца и расправу с своими детьми, и в своих мыслях я старался миновать её образ. Так говорил нам папа, около Артина, т. е. верстах в тридцати от Батума по течению Чороха, добывается золото помощью такой шкуры, однако содержание золота в песке весьма незначительно. Как раз около этого времени, золотоносные пески Чороха подали мысль каким-то двум ловкачам сделать дельце: они привезли из Сибири золотоносный песок, отчасти уже промытый, т. е. с очень высоким содержанием золота, и подсыпали его в определенном месте к песку Чороха. Была назначена их происка комиссия, которая должна была поверить в Чорохские золотые прииски, и следовательно способствовать продаже их по соответственным ценам. Но обман был легко обнаружен, потому что песок, насыпанный в какую-то яму, был явно сибирский, и не находился на берегах Чороха. Как-то был причастен к этой комиссии и папа. После расследования, он привез мне с этого места подсыпанного магнитного железняка с мелкими блёстками золота. Мне очень нравился этот угольно-черный песочек, из которого я извлекал булавкой крупинцы золота, и сам блистая в своих собственных глазах заимствованным блеском золотопромышленности. Хранился он у меня в деревянном футляре от термометра, откуда я по временам высыпал его на лист бумаги и смотрел, как он притягивается магнитом. — Разоблачение описанного обмана мне не нравилось. Во-первых, моя мысль не вмещала мошеннических проделок, я не понимал корыстной стороны всего этого дела, и оно представлялось каким-то недоразумением. А во-вторых, огорчительно было, что папа сомневается в настоящей золотоносности нашего Чороха, конечно, несомненной, раз изда- лека к нам приезжал Ясон.

Миновав это, всё еще оставшееся для меня под вопросом место неудавшихся приисков, дорога поворачивает в узкое ущелье Чороха и идет над отвесным, скалистым его берегом, тогда как с другой стороны дороги высятся скалы и лесистые горы. Такие же горы поднимаются на другом берегу Чороха. Любо было видеть, как туманно-голубые во влажной Батумской атмосфере, Аджарские горы, на наших глазах, по мере приближения к ним, синели, затем начинали чернеть, и наконец оказывались зелеными, или черно-зелеными, если это не была зима, тогда как на вершинах их долго держались сверкающие снега и почти всегда по утрам и по вечерам клубились туманы. Отвесные скалы во многих местах прикрыты чистейшими белыми вуалями водяных брызг и пены от бесчисленных ручьев, падающих сверху и разбивающихся с такою силою, что воды не остается и в помине.

Я особенно любил великолепные базальты с их вертикально стоящими шестигранными призмами, черные и еще более чернеющие от влаги. Высоко, так высоко, что и голову не закинешь, поднимается почти отвесная широкогрудая лестница базальтовых столбов, с четко срезанными вертикальными гранями и точно горизонтальными шестиугольными площадками. И вся эта огромная поверхность во всю свою высоту и ширину задёрнута прозрачной, нежно-белой водяной тканью и дышит прохладой и чистотою.

Столбчатая отдельность базальтов проявляла мне, как я чувствовал, внутреннее строение скал, и перекликалась с моими любимыми кристаллами. Когда не удавалось добраться до строения и какой-либо материал стоял пред глазами слитой массой, чувствовалась стена, отделяющая от природы, каменная стена тайны.

Напротив, всевозможные отдельности, слоистости, порядок и ритм показывали доверие природы и радовали — не рациональностью, ибо что-ж тут рационального, когда их самих нужно объяснять, а именно доверием, открытым пульсом жизни природы.

На Аджарском шоссе я с детства приучился видеть землю не только с поверхности, а и в разрезе, даже преимущественно в разрезе, и потому на самое время смотрел сбоку. Тут дело совсем не в отвлеченных понятиях, и до всего указываемого мною чрезвычайно легко подойти руководясь рассуждениями. А дело здесь в всосавшихся спервоначала и по своему сложивших мою мысль привычках ума: известные понятия, вообще представляющиеся отвлеченно возможными, сделались во мне необходимыми приемами мышления, и мои позднейшие религиозно-философские убеждения вышли не из философских книг, которых я, за редкими

исключениями, читал всегда мало, и притом всегда неохотно, а из детских наблюдений, и может быть более всего — из характера привычного мне пейзажа. Эти напластования горных пород в отдельности, эти слои почвы, постепенно меняющиеся, пронизанные корнями, этот слой дерновины, их покрывающий, кусты и деревья над ними — я узнал о них не из геологических атласов, а из разрезов и обнажений в природе, к которым привык, как к родным.

В строении моего восприятия, план представляется внутренне далеким, а поперечный разрез — близким; единовременность говорит и склонна распасться на отдельные группы предметов, последовательно обозреваемые, тогда как последовательность — это мой способ мышления, причем она воспринимается как единовременная. Четвертая координата — времени — стала настолько живой, что время утратило свой характер дурной бесконечности, сделалось уютным и замкнутым, приблизилось к вечности. Я привык видеть корни вещей. Эта привычка зрения потом проросла всё мышление и определила основной характер его — стремление двигаться по вертикали и малую заинтересованность в горизонтали.

Отвесная скала слева, отвесная крутизна справа над стремительно несущимся Чорохом. Узкая дорога идет как по полочке, и мое сердце то сжимается ужасом, что вот немножко повернут лошади в сторону, и мы окажемся в Чорохе, или что я как-нибудь упаду прямо в эту пропасть, — то расширяется жадным рассматриванием теплых скал, усеянных шустрými ящерицами. Помню, один раз я зазевался на них и вывалился из экипажа, да так незаметно, что старшие не обратили на это внимания и отъехали некоторое расстояние прежде чем хватились меня. А я лежал на дороге и, несмотря на порядочный ушиб ноги, наблюдал своих ящериц. Ради этих ящериц папа довольно часто останавливал экипаж или экипажи, и мы вылезали ловить милых зверьков. Но чаще всего эта ловля кончалась для них плохо, потому что ящерица, освободив себя от схваченного нами хвоста, убегала. Хвост-же делался нам вдруг противным, вследствие наших угрызений совести, хотя было занятно, но не удивительно, смотреть, как бьется он, сгибаясь кольцом то в одну, то в другую сторону. Твердо запомнились мне слова старших, что он будет биться до захода солнца, и мы уезжали далее, оглядываясь на бьющийся хвост.

Пропасть Чороха сама по себе должна была быть занятой. Уж одно то, что в дальнейшем своем течении Чорох был русско-турецкой границей, должно было привлекать к нему внимание. Быстрым течением этой реки стремительно несло плоты и много-

численные фелюги, нагруженные фруктами, маслинами, маслом, мёдом. Даже страшно смотреть было: длинная фелюга почти падает прямо на обломок скалы в реке, и гибель узенькой, как стручок, скорлупки кажется неизбежной; но в роковой момент столкновения фелюжник отталкивается от скалы шестом, и только что быв на волосок от смерти, проносится мимо. И маленький, я понимал, в каком напряжении и готовности к смерти надо быть часами, чтобы сплавить свой груз до устья. Назад же предстоит томительный путь столь же медленный сколь тот был быстр, и столь же требующий терпения, сколь тот нуждался в бдительности; пробираясь среди бережных скал и по камням, волоком тащит на шерстяной верёвке свою фелюгу владелец. — На яву я сам не сознавал, как сжималось от этого Чороха и его грозного по звучанию имени мое сердце. Но за то во сне, может быть в связи с каким-то мозговым процессом моей головы, каждую или почти каждую ночь просыпался я от мучительного видения. Наглядным материалом сонной фантазии послужили в нем впечатления от Чороха, а исходным ядром образования — душевная рана, полученная в самом раннем младенчестве от моего падения с высокого берега Куры, где внизу купались мама и тётя. Крик мамы при виде того, как качусь я по откосу, причем подхватила меня только у самой воды тётя Ремсо, самое падение — всё это врезано в мой организм, и мне безразлично, будут ли или нет верить, что я помню это, — настолько ярко и мучительно напоминал о себе этот случай в течение всего моего детства. Видел же я вот что: мы с папой и тётей Юлей едем по Аджарской дороге, или, чаще, я один, совсем маленький, плетусь по шоссе. Всё залито знойным светом, и душно. Слева — высокая шоколадно-бурая скала, раскалиённая солнцем, она вся заткана тончайшей паутиной и почти сплошь покрыта бесчисленными только что вылупившимися паучками, немного поболее булавочной головки; большинство их ярко красного цвета, как артериальная кровь на сильном солнце, а есть также ярко желтые и ярко изумрудно-зеленые. Паучки эти бегают взад и вперед, а у меня — ощущение, что как-то они у меня в голове. Теперь, вчувствуясь в этот доселе стоящий пред моими глазами сон, я определенно знаю, что красные паучки были какою-то проекцией притока крови в мозговые капилляры, а желтые и зеленые имели отношение к каким-то мозговым клеточкам или центрам; наконец горячая шоколадного цвета скала проецирует во сне внутреннюю сторону моего черепного свода. Говорю же это я не рационально толкуя сновидение, а по непосредственному ощущению, ибо я сейчас вижу каким-то другим зрением

внутреннюю картину своей анатомии и вижу, как она облекается символическими образами, витающими предо мною в пространстве ином, нежели пространство чувственных восприятий. Однако всё описанное доселе есть только обстановка. Суть же сновидения в том, что по правую руку от дороги, по которой я иду, — отвесный берег реки, в которой тонет мама и кричит не своим голосом, а иногда сюда присоединяется еще и тётя Юля, тоже тонущая. Мне смертельно жаль маму, я силюсь помочь ей, но не в силах двинуться — словно связан, спелёнут, по рукам и по ногам, а кого-нибудь другого тут нет, или же они не слышат ни криков мамы, ни моих порывов, — говорю порывов, потому что и сказать им я ничего не могу. Маму я собственно не вижу, а только слышу её, главное-же — непосредственно знаю, что она там внизу. На этом мучительном чувстве беспомощности и полной невозможности помочь, обливаясь слезами, я каждый раз просыпался. Почему-то этого сна в детстве я никогда никому не рассказывал, несмотря на упорное старание взрослых добиться, о чем я собственно плачу и чего я испугался. Я ощущал виденное во сне настолько в каком-то **своем** смысле реальным, что, казалось, одно слово о виденном — и та реальность прорвется сюда, в эту жизнь, угрожая маме.

Я знал про себя, что от малейшего моего намёка должно произойти что-то бесповоротное и губительное, притом именно в отношении мамы, и потому держал на запоре — своим молчанием — сонную угрозу.

Так фаэтон катил над грозным обрывом, а на другой стороне дороги со скал били холодные ключи и свисали яркие цветы.

Правая сторона дороги была защищена каменной стенкой. Вдоль стенки, на правильных между собою расстояниях, стояли пологими конусами кучи щебня. Иногда попадались рабочие, греки или персы, разбивавшие молотами булыжник. Иногда папа останавливал палкой фаэтонщика, чтобы осмотреть заготовленный щебень. Куча промерялась особым наугольником, затем размывалась с целью проверки, не содержит ли она в себе земли. При этом размывании кучи, я тоже бросался осматривать щебень, разыскивая интересных минералов, и нередко находил жеоды агата, или сердолика, искрящиеся друзья горного хрусталя, дымчатого топаза или бледных аметистов в кварцитах, занимавшие меня куски фосфорита, при трении друг о друга издававшие запах и светившиеся в темноте, включение колчеданов. Затем мы бросались испить от холодного хрустального ключа, бьющего из ска-

лы и нарвать цветов, за которыми приходилось лезть на скалы. Но нас уговаривали оставить это до обратного пути — чтобы цветы не повяли. Следовали дальше.

Уже с нетерпением считаем версты на столбах, Вдруг ущелье расширяется — ощущение, как если бы пробку проталкивал в бутылку, и вдруг она провалилась. Это станция Аджарис-Цхали. Отсюда одна дорога, по мосту переходя Чорох, идет по ущелию Чороха — на Артвин, а другая, — по Аджарскому ущелью, — на Ахалцах.

Папа собственно строил Батумо-Ахалцыхскую дорогу, а Артвинскую — наш знакомый инженер Пассек. Но мост через Чорох папиной постройки. Я помню, раньше тут был паром на каюках, и, приезжая в Аджарис-Цхали, мы обязательно совершали паромную переправу на другой берег — жуткое удовольствие ощущать, как паром, увлекаемый стремительно-мощным течением, кажется вот-вот сорвется с каната. Потом, на моей памяти, стали свозить в Аджарис-Цхали большие железные трубы, фермы, бочки цемента, лебедки и краны, а к одному из приездов появился и мост; но он отнял что-то от дикости нашего Аджарис-Цхали и лишил нас парома.

Мы прочно считаем Аджарис-Цхали **своим** поместьем, гораздо более своим, нежели Батумскую квартиру. Тут всё уже поделено между мною и Люсей. Речка при въезде в Аджарис-Цхали — **моя**, и взрослыми называется не иначе, как Павлина речка. Она стала моею, когда Люся была еще совсем мала, и не стремилась к собственности. Но в одну из поездок, услышав о Павлиной речке, Люся вдруг сообразила усмотреть здесь обиду для себя, раскапризничалась, как она вообще умела капризничать. Её еле успокоили, сделав компенсацию из ручья, протекавшего несколько далее, за Аджарис-Цхали. Правда, этот Люсин ручей был менее Павлиной речки; но, я помню, у него оказались какие-то свои достоинства, так что мне стало завидно.

Оба этих горных потока впадают в реку Аджарис-Цхали, протекая по сравнительно небольшим ущелиям. А между ними, на пригорке, стояла каменная двух-этажная сторожка для остановки проезжающих. В нижнем этаже жил чрезвычайно преданный папе, как и все папины подчиненные, сторож Ахмет, а в верхнем — было две или три комнаты, разделенные коридором. Мы считали эту сторожку собственным нашим домом, т. е. не отца своего, а нашим, детским, и одна комната была моя, другая — Люсина. Приехав, располагались в этих комнатах гораздо свобод-

нее, чем дома: ведь дома нужно было соблюдать порядок, не разводить грязи, а тут, в почти пустых комнатах, можно было делать все, что угодно. Раз или два, за всё время, какой-то проезжающий инженер остановился в одной из этих комнат. Хотя он весьма скоро уехал, но нашему внутреннему негодованию и ревности не было конца.

Мы не могли понять, как смеет «какой-то чужой человек» располагаться в нашей сторожке и почему папа, столь внимательный ко всем нашим прихотям, не примет мер, чтобы удалить незванного гостя. Мое негодование смягчалось только тем, что занята была Люсиная комната, а не моя.

Нас встречал приветливый к нам Ахмет, которого мы очень любили. Он был аджарец. Это — народ картвельской группы, весьма близкой к грузинам, населяющий долины Чороха и Аджари-Цхали. Находясь то в пределах Турции, то на границах её, это племя, когда-то христианское, издавна перешло в магометанство, но не стало, с ренегатами, фанатиками новой веры. Почти поголовно разбойники, они в то же время скрытны, умеренны и, как все разбойники, знают чувство преданности.

По Батумо-Ахалцыхской дороге редко кому удавалось проехать в то время, не будучи ограбленным, несмотря на сопровождение стражи и на оружие. Даже поездка в Аджарис-Цхали в те времена, т. е. в восьмидесятых годах, считалась далеко не безопасной и многим такой пикник не проходил без большой неприятности. Но я по крайней мере внутренне радовался, что мои аджарцы защищают мои владения от непрошенных гостей. Несомненно, я, хотя и не зная этого названия, чувствовал себя феодалом, а со стороны аджарцев действительно не видел ничего кроме знаков верноподданства. Это не было детским самообольщением; но это не было и столь само собою разумеющимся, как представлялось мне, ибо происходило в силу совершенно исключительных отношений этих аджарцев к моему отцу.

С ним на этой дороге ни разу ничего не случилось, даже встречи неприятной не было, и вещей с задка фаэтона у него никогда не отрезали. Между тем отец всегда отказывался от стражников, предлагавшихся ему властями в виду опасности подобных разъездов, и не только не возил с собою, но и дома не имел никакого оружия: единственное, с чем он ездил, — была палка. Мало того, он не давал поблажек и требовал от служащих «добросовестного», как он обычно говорил, отношения к делу и, если усматривал противное, то по вспыльчивости мог сильно накри-

чать. Он требовал абсолютной чистоты, и малейший признак нечистоты, грязи и беспорядка мог вызвать в нем приступ гнева, правда, очень кратковременного, но — до самозабвения. В частности, абсолютная чистота требовалась им и на всём протяжении шоссе. Он выходил из себя, заметив на шоссе сколько-нибудь пыли, немного земли, бумагу, или щепки. Когда он кричал, рабочие претерпевали гнев, принимая его как должное: но высшей мерой гнева — уже нам непереносной — было другое, — это молчание папы: выхватив метлу у ближайшего из рабочих, папа начинал усиленно мести сам и делал это довольно долго. Возможность этого знали и чрезвычайно боялись её, рассматривая как свой позор. Однако, несмотря на все эти вспышки, все служащие были очень преданы папе за его справедливость, благожелательность и щедрость. По тесной клановой сплоченности всех аджарцев, преданность одних, служащих, обязывала к тому же всех рабочих. Сам того не зная, папа всегда окружен был стражей, готовой отстаивать его от малейшей неприятности, и даже те, посторонние, кого поручал папа кому-нибудь из служащих, как своих гостей, пользовались тою же безопасностью. Повидимому, папа даже не вполне сознавал, под какую угрозою находился бы он, если бы не был признан горцами законным главою Аджарского ущелья. Уже после кончины его, один из служащих приехал в Тифлис искать у отца места себе, и, узнав, что его уже нет в живых, расплакался и стал восхвалять его. А затем он рассказал об этой охране его в Аджарии самими горцами, и в частности вспоминал один случай, отцу моему оставшийся неизвестным: однажды он ночевал в сторожке на станции Хулó. Прослышав, что кто-то остановился на ночевку, окрестные разбойники явились сделать свое дело. Но их встретили бывшие тут служащие и объявили, что они не допустят даже разговоров, которые могли бы взволновать их начальника, и разбойники мирно разошлись по своим аулам. Рассказчик говорил мне, что без такого вмешательства, отец тогда же не остался бы в живых.

Вот эта-то преданность отцу распространилась и на нас, и я ясно чувствовал себя владетельным князьком Аджарских гор.

Вышедший навстречу Ахмет вносил меня на руках по лестнице, а Люсю, если она тоже приезжала, нес сам папа. Умывшись холодной водой из ключа, мы, больше я, бежали в ущелье моей реки. В это время ставился самовар, варились крутые яйца, и жарились на вертеле куры, неизменная принадлежность Аджарис-Цхали, и иногда — варились в солёной воде аджарис-цхальская

форель с красными пятнышками по бокам. Кроме того, неизменно же подавался Ахметом кукурузный хлеб — чад, мацони, т. е. особого вида кислое молоко, в глиняной чашке, и лепешка местного сыру, весьма странного и до сих пор мне не понятного по своему сложению: он состоял из длинных упругих волокон, наподобие туго спрессованной кокосовой мочалки для мытья, и стоило схватиться за конец этих волокон, как сырная спираль разматывалась. Всё это было очень свежее, а после поездки двух-часовой, или более, елось с большим аппетитом. Но мирность нашего завтрака каждый раз нарушалась делением аджари-цхальской курицы. Большинство частей её были именные, и нарушать права собственности представлялось нам почти в том масштабе, как теперь представляется нарушение между-народного равновесия. Малейшая невнимательность со стороны тёти Юли, или кого-либо еще из старших, — и возникала угроза основам мировой справедливости. Это — не преувеличенный способ выражения: правовые понятия мои были абсолютными и несомненно были священными нормами. Тут дело — не в любимых кусках, а именно в сознании вековых устоев священного права; уступить — я уступал охотно, но я не мог допустить невнимательности к порядку, который, казалось мне, коренится в существе вещей. Я — хозяин Аджари-Цхали (остальные участвуют в этом только из-за меня), и было бы порухой моему владетельному достоинству легкое отношение к древним ритуалам, — а я ощущал себя незапамятные годы владеющим этим феодем, другого владетеля, казалось мне, у этих мест никогда не было, и, хотя я знал, что некогда родился и даже любил считать себя и называть маленьким, но в вопросах подобных владению Аджарис-Цхали, отношению к родителям и т. д. определенно ощущал себя над-временным. Знаком моей вечной власти была аджарис-цхальская курица или куры. Некоторые части я — и не любил, и, — главное, считал не возвышенными. Но их как раз ценила Люся. Поэтому, когда ей давались куриные ноги, я нисколько не возражал, да и не посягнул бы на часть, принадлежавшую ей по праву; моими же были крылья, высушенные и поджаренные в пламени до полной твердости. Я с удовольствием грыз их, особенно кончики, причем мне нравился запах поджаренного мяса и возвышенность названия: в моем делении вещей и явлений полет и крылья относились к разряду благородного и поэтического, о чем я никогда не мог подумать без трепета, тогда как ходьба и ноги — к житейскому и прозаическому. Владетелю Аджарис-Цхали конечно приличествовала хотя и тощая, но благородная часть, а вульгарная мясистость ног не делала их достой-

ной пищей. Далее, Люсе принадлежала печёнка, а мне желудок. В дряблом сложении печени и в её жирности я ощущал нечто низменное, и даже когда за отсутствием Люси, мне предлагалась и печёнка, я отказывался от нее, как от чего-то ниже своего достоинства. Напротив, напряженная упругость желудка и определенность структуры его ткани свидетельствовали мне о достоинстве этой части. Конечно, тут значил нечто и вкус; но главными всё же были соображения о достоинстве может быть и смутные но метафизического порядка. Белого мяса мне хотелось, и при случае я ел его. Но так как ценил его я лишь в порядке вкусовом, метафизически же его достоинство не было мне ясным, то настаивать на грудинке я никогда себе не позволял: требовать метафизически безразличного и следовательно обнаружить свое стремление к еде, как чувственному вкусовому предмету, значило в моих глазах утратить свое священное достоинство и лишиться какого-то сана. — Наконец, самый трудный вопрос дележа были яйца, не вареные яйца в скорлупе, а — из курицы. Мои интересы тут сталкивались с Люсиными. Правда, в обыкновенных крутых яйцах желток, как желтый, жирный и слишком материальный — рассыпается и мажется, — представлялся мне не из числа возвышенных предметов, не в пример белому, таинственно голубеющему и упругому белку. Ценил я лишь этот последний, тогда как у Люси был взгляд обратный, и потому мы обменивались не любимыми частями яйца. Но яичные желтки непосредственно из курицы, во-первых, таинственны по самому происхождению. Эти яйца надо было разделить, начиная с наибольшего, одно мне, — другое Люсе, одно мне, другое Люсе. Но трудность — кому первое. Конечно я считал, что первое приличествует мне; но тут Люся нередко подымала скандал и тем получала желаемое, а я успокаивался тогда на мысли, что доставшиеся мне в виде компенсации, самые мелкие яички, в неопределенно большом числе, и несут в себе самую тайну.

После завтрака, со всеми его подводными камнями, надо было приступить к наиболее важному — цветам.

Выходили все, рассыпались в разные стороны. Позади сторожки была поляна. Теперь там густые насаждения суб-тропических кустов и деревьев, сделанные папой. Помню, как в один из приездов мы нашли всю нашу поляну изрытой ямами, и среди них одна была особенно велика. Около сторожки лежали и стояли растения, привезенные, помнится, из Сухума. Папа распорядился о посадке этих растений при нас, и мы тоже посадили, каждый

себе на память, по дереву. Все насаждения были сделаны; общее недоумение возбуждала огромная яма, причем уже не оставалось непосаженным ни одного дерева. Тогда привезенный садовник, на дружный смех всех рабочих, вынес из сторожки еле видный саженец, который объявил кедром. Сад этот впоследствии пышно разросся, но кедр, несмотря на тщательно разрыхленную и заготовленную для него почву, не прижился.

Вот на этой-то поляне, и до и после насаждений, мы начинали свои цветочные сборы, а оттуда, увлекаясь, шли и ползли далее, хотя это считалось не совсем безопасным, — кажется, из-за змей, которые выползали из-под всех кустов, и, шелестя листьями, скрывались в сплошных зарослях.

Кто не видывал собственными глазами лесов Черноморского Побережья, и в особенности, — аджарских, — тому трудно дать представление о преизбытке растительной жизни, делающей здешние заросли сплошным клубком сплетающихся между собою стволов, гибких стеблей, растительных плетей, веток. Растения тут громоздятся друг на друга; разные виды плюща снизу доверху обрастают стволы каштанов, ясеней, дубов, диких яблонь и груш и т. д. Но эти красивые, покрытые темно-зеленой мозаикой плющевых листьев стволы обречены на гибель, и можно видеть много деревьев уже засохших и гнилых, стоящими, а то и упавшими, от этого украшения. Между больших деревьев — меньшие: жёсткая зелень кавказской пальмы, или самшита, произрастающей здесь, стволы до поларшина толщиной поперечником, джогджали, курма, разные виды алучи, мумшала, негнап. По деревьям вьётся виноградная лоза, всё переплетено колючими и словно стальными стеблями салсапарачи, ежевикой и другими вьющимися растениями. Они взбираются по стволам до вершины деревьев и свисают оттуда мощными сплетениями, перебрасываются с дерева на дерево, перепутываются между собою, загораживают непроходимыми завалами все проходы. Пробраться сквозь эти лианы нет никакой возможности. Не видишь ничего, кроме таинственного зеленого полумрака ни вверх, ни вниз, ни по сторонам. Не понимаешь куда идешь, на что ступаешь. Под ногами огромные, густые, пахнущие не то огурцами, не то сыростью, папоротники весьма различных видов, по сторонам везде задержки, и бесчисленные шипы вонзаются так, что не сделать ни шагу. Если как-нибудь всё-таки забрести в такой лес, то в нем пришлось бы погибнуть, несмотря на обилие растительной пищи. И мы, конечно, не осмеливались делать таких попыток, хотя с удовольствием собирали плоды и

ягоды при входе в него. Лесной виноград, одичавшие яблони и груши — вероятно остатки старинных садов, ягоды салсапарели, земляника и полевая клубника, курма и мумшала, плоды которой называются на Кавказе «шишками», крупные ягоды шиповника, черника, каштаны, грецкие и мелкие орехи, буковые орешки, ягоды жидовской вишни и многое другое, доставляли нам окраины лесных зарослей. Были там такие дикие абрикосы, очень вкусные, но почему-то считавшиеся вредными и нам почти запрещенные. В разные времена появлялись разные добычи, иные, вроде винограда, курмы и шишек, были хороши лишь после первых заморозков, но зато держались на деревьях всю зиму. Наиболее же достойными внимания казались нам, в связи с далеким севером, березы и рябины, которые росли в горах и о которых сообщал нам папа. Грозди рябины после заморозков доставлялись нам из Аджарии и шли на варенье. Но плоды и ягоды считались нами за баловство, а делом были цветы. Они появлялись в Аджарис-Цхали, и вообще в окрестностях Батума, рано, приблизительно с половины января. Сперва крокусы, колхики белые, розовые, сиреневые, иногда фиолетовые, безлиственные вестники весны покрывали своими чашечками все поляны. Затем «молочный цвет», по выражению древних, подснежник, и другой, — двух видов, из которых с более крупными, но более грубыми цветами, произрастал на болотах и был потому нам мало доступен, а другой — более благородный, по моей оценке, можно было находить и на сухой почве. Я волновался изысканным видом этих цветов с тремя осями симметрии, двойным рядом лепестков различной формы и тонким зеленоватым ободочком, в сочетании с белой окраской всего цветка и желтыми тычинками казавшимся мне исключительно изящными. Принадлежность подснежников к луковичным, их трехосность, почти флюоресцирующего самосвечения, яркая желто-зеленость их листьев и стеблей, упругая сочность всего растения, всюду упругих, тонкая перепонка на цветочной стрелке, застенчивая опущенность цветочного венчика, свисающего колокольчиком, наконец, первое появление его после зимы, хотя и слишком недолгой в нашей Колхиде, — всё делало этот цветок мне родным. Другой же вид, более пышный и менее упругий, я признавал лишь за сходство с этим.

Начиная с поздней осени и до ранней весны, по аджарской дороге находили мы рождественскую розу. Этот крупный и грубоватый цветок, с жесткими лепестками, без запаха, казался скорее занятым, нежели привлекательным, по своему названию и странному, грязно-бледно-зелёному цвету своих лепестков, тычи-

нок и пестика. Странно было видеть цветок, мало отличающийся по окраске от листьев и стебля: вид его и цвет были совсем ноябрьскими — хмурые, угрюмые, враждебные. Сюда присоединялась еще его ядовитость. Он был для нас цветком зимы. Напротив, наступление весны мы узнавали по фиалкам и цикламенам. Обычно старались не пропустить первого появления этих цветов, всегда распускавшихся вместе. Отправлявшимся по дорожным делам служащим папа наказывал посмотреть, не распустились ли они, и оповестить, когда это случится. Получив эту весть, папа объявлял нам: «фиалки и цикламены распустились», вероятно не менее торжественно афинского жреца, провозглашавшего наступление весеннего праздника цветов — анфестерий, и это значило: на-днях едем в Аджарис-Цхали. Бедный папа. В своих заботах о семье ведь он восстанавливал культ ларов и пенатов, только обратно — из прошлого в будущее, а в любви к природе тоже древнее культовое отношение к ней. Я радовался цикламенам, потому что казалось нарушением всякой правды не восхищаться этими нежными розовыми цветками иногда красными, иногда сиреневыми, с тонко проработанной окраской их лепестков, с красными хрупкими цветоножками, со странными сердцевидными листьями и еще более странными несколько приплюснутыми в виде апельсина клубнями. Серовато-зелёный цвет листьев, их красный испод, тончайшая зернистость лепестков, искрившаяся на солнце — всё это должно было привлекать к этому растению. Но чувство к природе так же прямолинейно, как и чувство к человеку: я был враждебен к цикламенам за какую-то, почти неуловимую, нескромность, за нарочитую изысканность отворота их лепестков. Они казались мне прямою противоположностью своим же ближайшим родственникам фиалкам, с их теплым благоуханием, с их бездонным пурпуровым бархатом венчиков, оттеняемым золотисто-оранжевыми тычинками и с тончайшими темно-пурпуровыми жилками лепестков. От папы я знал, что не удаётся искусственно составить эфирное масло фиалки (— это удалось значительно позже —), как не удаётся извлечь его из самых фиалок. Цвет их — подлинный цвет — древнего священного пурпура. И вместе с тем эти священные глаза природы, царственные и благоуханные, прячутся, издали лишь объявляя себя нежным запахом. Есть только один запах родственник этому, хотя несколько грубее, а также — сильнее. Я волновался им, долго не был в состоянии себе уяснить, почему вдруг так пахнет иногда, явно что издали, фиалковыми лугами. Расспрашивал, и никто не давал ответа. Наконец нашел сам источник этого благоухания в цветочках еще более

скромных и видом и цветом: благоухала распускающаяся виноградная лоза с высоких дерев. Потом детством пахло мне, уже в Академии со страниц Библии, когда самым признаком весны в Песне Песней указывается:

«И виноградная лоза, распускаясь, издает благоухание.» Так и весна моей жизни была провеяна для меня этим благоуханием фиалки и виноградной лозы.

Среди первых цветов Батумской весны с детства мне запомнились также первоцветы — примулы. Сперва распускался розовый вид с отдельными цветами, затем и другой розовый, у которого на стрелке подымается цветочная кисть, затем желтый, теплого, иногда персиково-желтого цвета, тоже с цветочными кистями, несколько напоминающий средне-русские баранчики. Но легкий персиковый запах северных баранчиков там был густым, словно от корзины настоящих персиков, и необычно вкусным, хотя и слишком сытым, съедобным слишком для цветка.

В Аджарис-Цхали, преимущественно в тенистых местах скромно прятался приятно-глубокий темно голубой барвинок; выскакивали из земли синие подснежники (*Icilla amaeha*), идущие там в посоленном виде на еду; любимые мною палевые гиацинты (*muscaris*) темно-синие, темно-фиолетовые и темно-голубые, иногда почти черные, привлекали меня своей луковичностью, тугою плотностью своих кистей из четко точеных шариков, в которых, при внимательном разглядывании, можно было рассмотреть множество мельчайших, четко проработанных подробностей.

Было немало ирисов, фиолетовых и желтых, из которых первые росли в воде источников и отличались крупными цветами. Я знал, что из корня их делается «фиалковый порошок», и это само по себе было достоинством в моих глазах. Была привлекательная непонятная мне трехосность их цветов, уплощенность их листьев, их воздушность. Но и они одобрялись мною как-то формально, с тайным неодобрением их нарочитой поэтичности, слишком явной нарядности, через несколько минут превращавшейся в букете в слизистый черно-фиолетовый комочек. Меня самого удивляет детская двойственность: наряды весьма занимали меня, изящный костюм и забота о нем вовсе не представлялась пустяком, несмотря на внушения мамы. Но когда я в природе усматривал малейший оттенок вычурности, я сразу утрачивал личное нежное чувство и смотрел внешним взглядом. Пурпурные кашки, чудесные темно-голубые болотные незабудки, глубоко-синие горечавки и другие простые цветы были мне гораздо ближе, и я чувствовал их себе родными, и потому старался оказать им полное

внимание. Во мне жило убеждение, убеждение моего сердца, что цветы — мои цветы, любимые мною — любят меня, цветут именно для меня, и что мое невнимание к их красоте было бы оскорблением, скорее — раню, их горячему ко мне чувству. Люди, и тогда, и после, казались мне самостоятельными и свободными, так что каждый любит или не любит — по своему желанию, и, не получая ответа, не только не должен жаловаться, но и огорчаться. Когда впоследствии я стал глотать романы Вальтер Скотта, любовные вздохи мне казались настолько бессмысленными, что я считал этот род явлений придуманным нарочно для фабулы романа, и не верил искренности этих томлений. Совсем другое — цветы. Они любят меня потому что не могут не любить, для любви и вырастающие. Правда, любят не все: есть грубые цветы в роде рождественской розы или царского скипетра, которые тупо воспринимают жизнь. — Есть также самодовольные цветы, занятые самими собою, в роде цикламенов, и ирисов. Но большинство цветов видят во мне своего повелителя и друга. Не сорвать такой цветок и не повезти его домой, когда он только и ждал моего приезда и нарочно к этому времени распустился, — разве это не значит огорчить его в лучших его чувствах. И я старался, сколько хватало сил, никого не обидеть. Не разгибая колен и ползая на животе, я собирал, собирал до изнеможения, относил к тётке Юле вороха цветов, потом бежал на новые сборы, опять притаскивал ей и опять убегал, заваливая её цветами. Меня уговаривали: «посиди, отдохни», но я отзывался недосугом: «надо порвать еще цветочков», и снова убегал.

В тётке Юле чувствовалось мне сочувствие и, не знаю, было так, или мне казалось, она молчаливо разделяет мое отношение к цветам. Своим долгом, долгом ответной любви, считал я оборвать все цветы до единого, все, а тем более — все фиалки. Но предо мною расстилались густо поросшие цветами, теми же фиалками, поляны, за полянами другие, и все, как в лучшем цветнике, сплошь покрыты цветами. Как ни старался я, а моей работы даже на ближайших местах не было нисколько видно: ведь вороха цветов можно было набрать там не сходя с места. К тому-же, при обсуждении отдельных цветов я мог почувствовать относительно их нечто неодобрительное, но цветочное царство в целом — любил до самозабвения и считал, что я не могу не любить его, если даже моя фамилия, — как я тогда думал — происходит от Флоры, богини цветов. И потому внутренняя необходимость собирания цветов распространялась на всё царство Флоры. Я рвал и рвал, а предо мною простирались горы, все склоны которых были по-

крыты цветами, и тогда я начинал чувствовать, что обиженных останется целое Аджарис-Цхали.

День клонится к вечеру, папа зовет нас собираться домой. Я говорю «сейчас» и продолжаю рвать; потом снова зовут — «папочка, подожди немного», и опять рву, уже судоржно, а сам плачу от жалости, целую цветы, обливая их слезами, испрашивая прощения, обещаю очень скоро снова приехать и тогда уж наверно сорвать их. Тем временем старшие ломают огромные букеты рододендронов, великолепных розовых, белых, красных, сиреневых, с крупными но к сожалению легко опадающими венчиками и красивыми глянцевидными листьями. Этот вид, растущий большими кустами, не следует смешивать с поэтическим же видом рододендрона, мелкорослым и сравнительно мелкоцветным, сплошными непроходимыми зарослями по многу квадратных верст покрывающих кавказские горы и растущих так плотно, что иногда происходят пожары их от самовозгорания. В Аджарис-Цхали рос более благородный крупный вид.

Кроме того, непрременная принадлежность Аджарис-Цхальской поездки — не менее огромные букеты темно-желтых акаций, так густо цветущих, что их клейкие от смолистого сока ветки имеют даже мало листьев.

Все эти букеты, веники, ветви, венки, куски дёрна с целыми растениями, наконец просто охапки цветов с большим трудом и совокупными усилиями всех, начиная от папы и кончая Ахметом, размещаются в фаэтонах, буквально со всех сторон, так что нам самим еле можно стиснуться. Цветы привязываются на задок, на верх фаэтона, который обыкновенно подымается из-за наступившей вечерней сырости, всовываются в фонарные кронштейны, на козлы фаэтонщику, кладутся ему под ноги, надеты на нас на головах и ими заняты все руки. Когда уже мы уселись, укутавшись обязательно пледом, Ахмет заставляет подножки фаэтона новыми связками привязываемых там цветов. Наконец упаковка нас с цветами кончена, и папа говорит извозчику «пошел». Мы выкрикиваем прощание Ахмету и другим служащим и милостиво утешаем их в своем отъезде, обещая скоро приехать снова. Из-за передней скамейки теперь уж особенных споров не происходит: прохладно, и мы скорее стараемся стиснуться в теплое гнездышко между взрослыми, или мирно устраиваемся на дне кузова среди цветов и под пледом.

По шоссе катится цветочная корзина; теперь уже быстро, — тогда как туда экипаж ехал постоянно замедляемый отцом.

Не останавливаемся, насыщенные и впечатлениями и цвета-

ми, благоухание которых к ночи окружает и фазтон. Наскоро съедаем чего-нибудь, не останавливаясь. Вот чернеет и марганцевая гора при въезде в Чорохское ущелье. Значит, недалеко и Батум. В полу-тьме мелькает негрская колония, проезжаем по последнему мосту, и вот уже нас целует мама, соскучившаяся по нас, как будто мы уезжали на год. После ужина наскоро раскладываются в сосуды с водою привезённые цветы; кроме многочисленных ваз, — из них некоторые совсем большие, — приходится занять под цветы и салатники, и супники и блюда, и глубокие тарелки, и стаканы... Чистойой разбор цветов предстоит завтра, с утра, лишь только встанем. А сейчас сквозь полу-сон я слышу беспокойные разговоры старших, что нельзя же оставлять на ночь в комнатах такое количество сильно пахучих цветов, особенно азалий. Папа напоминает случаи, едва ли не батумские же, когда неопытные приезжие любители цветов засыпали и уже не просыпались, поставив на ночной столик возле постели один только букет этих желтых, поэтических азалий. Он рассказывает также, уже не первый раз, что благоуханнейший мёд с этих цветов смертелен, но убивает при еде одним только своим ароматом; изредка он попадает у нас на рынке, но знающие люди тщательно избегают его. Действительно азалии изливают по всем нашим комнатам крепкий до едкости запах. Это не душистый запах черёмухи, не липкий запах многих садовых растений; в нем нет ни приторности ни влажности, ни чувственности, — он строг, отчасти напоминая некоторые сорта ладана. Безмерно превосходящий по силе прочие благоухания, которыми сейчас наполнен воздух всей квартиры, и заглушающий всех их, запах азалий не кажется однако навязчивым или неприятным: просто воздух стал плотным, как прозрачное твердое тело. Но, кажется ли это мне со сна, или есть на самом деле, а я вижу стремительно несущиеся от азалий по воздуху тончайшие, как те лучики, что окружают ночник, при зажмуренных глазах, с мой тогдашний палец длиною, стрелы. Они того-же янтарного-желтого цвета, как и самые цветы, их рассылающие. Они несутся потоками воздуха и так тонки, что втыкаются своими ядовитыми остриями без боли. Но если их воткнётся много, то умрешь, отравленный этими стрелами, похожими на золотые стрелы Аполлона. В полусне же я слышу, как взрослые, закончив свой ужин, двигают стульями и уносят часть губительных цветов наружу, и я засыпаю, как это весьма редко случается, без мучительного ворочания с боку на бок и сплю без кошмарных снов всю ночь.

В. ВЕЙДЛЕ

## ПОСЛЕ "ДВЕНАДЦАТИ"

Приношение кресту на могиле Александра Блока

### 6. «Семь лет ужаса»

Письмо адресованное Блоком 8-го января 21-го года из Петербурга в Москву, Надежде Александровне Нолле полностью не печатается. Оно начинается, в восьмом томе Собрания Сочинений (1963), с одной из тех (как сказано в предисловии) «немногочисленных купюр», при помощи которых прячут от России — в этом случае, как и в других — все то, чего не полагается ей знать. «Много будешь знать, скоро состаришься». Советским гражданам всегда и повсюду, даже и на каторге, надлежит быть бодрыми и молодыми.

Усеченное письмо, неизвестно почему все-таки печатаемое — состав государственного преступления тут без сомнения налицо — как нельзя более драгоценно, для того, кто хочет понять кем был Блок, как и почему он умер, что думал незадолго до смерти. Привожу его целиком. Надежда Александровна, истинный друг Блока в последние два года его жизни, ждала в то время ребенка. О нем идет речь в письме. После обращения и трех точек в угловых скобках, вот текст его:

«Я бесконечно отяжелел от всей жизни, и Вы помните это и не думайте о 99/100 меня, о всем слабом, грешном и ничтожном, что во мне. Но во мне есть, правда, 1/100 того, что надо было передать кому-то, вот эту лучшую мою часть я бы мог выразить в пожелании Вашему ребенку, человеку близкого будущего. Это пожелание такое: пусть, если только это будет возможно, он будет человек **мира**, а не войны, пусть он будет спокойно и медленно созидать истребленное семью годами ужаса. Если же это невозможно, если кровь все еще будет в нем кипеть, бунтовать и разрушать, как во всех нас грешных, то пусть уж его терзает всегда и неотступно прежде всего **совесть**, пусть она хоть обезвреживает его ядовитые, страшные порывы, которыми богата современность наша и может быть будет богато и ближайшее будущее.

«Поймите, как я говорю это, говорю с болью и отчаянием в душе; но пойти в церковь все еще не могу, хотя она зовет. Жа-

лейте и лелейте своего будущего ребенка; если он будет хороший, какой он будет мученик, — он будет расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней».

Следует подпись: «преданный вам Александр Блок».

Это самый значительный текст из всех рукой Блока написанных в последние годы жизни и до нас дошедших. В тексте этом он себя раскрыл, как ни в каком другом, — глубже, чем в пушкинской речи, через месяц, и чем в Записке о «Двенадцати» за девять месяцев до того.

Еще в великопостные дни 18-го года, через какие-нибудь два месяца после окончания «Двенадцати» он писал (в обрывке автобиографии «Исповедь язычника»): «Я очень давно не исповедывался, мне нужно исповедаться»; письмо это и есть исповедь — хоть и краткая, но не фрагментарная (к одному какому-либо эпизоду относящаяся); хоть и не церковная, как и та первая, которую он не довел даже и до ее настоящего предмета, но, как и та, не без помысла о церковной; и не без разъяснения почему она церковной **никак** не может быть (в первом случае) или (во втором) **еще** не может быть. Ключевые слова второй исповеди — не последней? кто знает?, но для нас последней — боль, отчаяние, грешность, ничтожество, совесть, расплата. Расплата — «за каждую минуту наших дней». Читается «наших», звучит «моих», или наших и моих, мучительно между собой сплетенных.

«Пойти в церковь все еще не могу, хотя она зовет» — это ведь не значит, что «товарищ поп» (Помнишь, как бывало /Брюхом шел вперед,/ И крестом сияло/ Брюхо на народ») посылал за ним псаломщика; это значит, что зовет его церковь в собственной его душе, и не со вчерашнего дня стала звать («все еще не могу»). Возвращает нас это «все еще» к апрелю 18-го года, к только что отзвучавшему: «эх, эх, без креста», и к тому первому наброску исповеди, где, после приведенных только что слов читаем: «Одно из благодеяний революции заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека, если он идет к ней навстречу, она напрягает все его силы и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты». Эти «пропасти сознания» с тех пор, повидимому, больше не закрывались. Интеллигентский, в цветочном, а не в терновом венце Христос, и даже ренановский «женственный призрак» оказался, значит, и впрямь для Блока...

Или лучше подумать не о том, что получилось, а о том, с чего началось. «Белое как снег пятно впереди», «быстро растет, стано-

вится огромным», «превращается в силуэт человека», «волнует, влечет». «Смотрю: Христос!» «Не поверил, не может быть Христос». «Он идет, я всматриваюсь: нет, Христос!»

Нерукотворный ли Спас Успенского собора или благочестивая картинка, художеству которой грош цена; евангельское ли слово или «цветы красноречия», пусть и бумажные, пусть и насквозь отравленные цветочки; для сути того, что никогда не должно (по принуждению), но всегда может (вольною волей) произойти в слышащей и зрячей человеческой душе, — это совершенно различно. Да и никакого облика еще в пятне, в силуэте, в ком то огромном, выросшем во тьме, когда факел бьется на ветру. И слов никаких. Неизвестно, из материнского Евангелия вычитал ли сын тогда что-нибудь еще, кроме «днесь со мною будеши в раю»; но и читая Ренана возможно к другим мыслям прийти, ведущим не к пошленько-греховной «пьесе об Иисусе Христе», даже будучи — чуть ли не с пеленок (уверяют нас) — «озлобленным антиклерикалом». Та метанойа, зăумь ума, тот выворот души, «покаянием» или «обращением» так тщедушно на нынешние языки переводимый, — никто не указал границ поводам, большим или малым, которые содействуют ему, вызывают его, толкают нас ему навстречу.

Блок записал все в том же еще восемнадцатом году (13 июня) рассказ Иванова-Разумника о «священнике Введенской церкви» Егорове — «попом его Блок не называет» — в проповеди упомянул «Двенадцать», говоря что «Христос там, где Его не ждут.» И задолго до этого, 28 февраля, ровно через месяц после того, как вчерне были закончены «Двенадцать»: «Сегодня я потерял крылья, и не верю потому. Опять — ложь на 10 лет. А там — старость, бездарность». Крылья эти те, что окрыляли его, когда он поэму свою писал; та самая и «вера». Но в вере этой оказалась — сам он этого не ждал — вкраплена совсем другая вера. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию». Этими словами кончал он 9-го января статью «Интеллигенция и революция», эту музыку слышал все время покуда слагал свою поэму. Не раз писал и рассказывал об этом; столь настойчиво слышанье это подчеркивал, как будто хотел описать какой-то едва выносимый шум в ушах. «Скифы» в два дня написал, все еще его слыша. Потом слышать перестал. Навсегда. «Потерял крылья». Стихи перестал писать. Но была в этой музыке — на-верхах, в обертонах ее — другая, совсем другая музыка. Ее слышать — пусть едва-едва, изредка — он не перестал.

Не делаю из всего этого никаких «окончательных», никаких «решительных» выводов. Из текстов не стремлюсь вычитать то, чего в них нет. Не просто боюсь лубков, вроде «разуверился», «уверовал», «проклял то, чему поклонялся», «обрел тихую — или пусть даже и бурную — пристань». Знаю твердо: никакой пристани не обрел, так и не пошел по-настоящему «врачеваться ко Христу», всенародно не покался в том грехе ненависти и, на последней глубине, гордыни, через который он разрушению сказал «да», и кроваво-бумажному слову «революция» подарил прописную букву. Знаю также, что дневниковые записи, вроде как от 11 апреля все того же свежее-революционного, но успевшего стать безмузыкальным года, «я уничтожен, меня нет уже три дня. Умереть?» говорят, как и прежде бывало, как и будет до конца, о резкой смене настроений, о перемежающемся, а не сплошном отчаянии, и что искать в них какого-то завещания или последнего слова было бы опрометчиво или нечестно. Бывало, до самого конца, на душе по временам и светлее, и бодрее; не вижу, однако, чтобы хоть изредка просветления эти вызывались тем, что происходило вокруг него, на его родине. В 18-м еще году (7-го марта) вспоминал он суждения Ключевского насчет того, что ход развития России «напоминает полет птицы, которую вихрь несет, и подбрасывает не в меру силы ее крыльев», и записывал, после телефонного разговора с Ивановым-Разумником его слова: «Отвратительный — социалистически-мещанско-большевистский рай». Не думаю, чтобы цитаты эти в тот момент выражали в точности собственное его мнение: оно еще только складывалось, боялось сложиться. Да и то, что делалось вокруг, на рай — пусть и мещанский — слишком уж не было похоже, при всем понимании того, что речь шла о сомнительности идеала, не об его отличии от действительности. Что же до «крыльев», то тут, своих лишившись, он должно быть и о России с большой быстротой то же самое почувствовал и, вспомнив Ключевского, твердой рукою от своего имени записал: «Птица, которую 'подбрасывает ветер', — вот и сбросил».

И Россию «сбросил», и его. Письмо Надежде Александровне, через три почти года после того написанное, не о нем ведь только говорит, не ему одному подводит итоги. В этом дополняющем «записку» о поэме, завещании его — не последнем слове, но последней воле — сказано, что не рожденному еще «человеку близкого будущего» придется расплачиваться за все, что мы наделали и «медленно созидать истребленное семью годами ужаса». Истребление, расплата, созидание — России касаются, а не одного Блока.

«Семь лет ужаса», это не об ужасе для него одного сказано. Это прежде всего сказано о России, которую любил он всегда и продолжал любить острой, мучительной любовью, самое качество которой победителям тогдашним было совершенно чуждо, да и побежденными должным образом к сердцу принималось тоже не всегда. Но сказано это было Блоком, это его суд, его оценка, зачеркивающая все его прежние оценки, смертью закрепленная.

Семь лет ужаса. Какие это семь лет? Сказано это было за семь месяцев до смерти, но, конечно, повторить он это мог бы и перед смертью, когда исполнилось ровно семь лет со дня объявления войны. Пусть нерожденный тот младенец «будет человеком мира, а не войны, пусть он будет спокойно и медленно созидать истребленное семью годами ужаса». «Спокойно и медленно» — это приглашение не к революции, а к исцелению от революции, которая — видел это Блок — еще истребительней была, чем война. И главное, — да и самое знаменательное вообще в этом письме: никакого принципиального различия Блок не делает между первыми тремя годами ужаса и четырьмя дальнейшими его годами. Гневом некогда горел, но и теплилась надежда в этом гневе. «На непроглядный ужас жизни /Открой скорей, открой глаза/. Пока великая гроза /Все не смела в твоей отчизне, —/ Дай гневу правому созреть...» Через три года ярче разгорелась надежда, грянул гром, прошла «великая гроза», подбросил ветер Россию — и что ж? Сбросил. Припоминать осталось старые горькие слова; «Все одинаково смрадно, грязно и душно — как всегда было в России», и вернее еще: «Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция». Так думалось порой и до нее, а теперь? —  
— Опять ложь. А там старость, бездарность... Умереть?

## 7. «Писать стихи забывший Блок»

Этой слегка неуклюжей строчкой закончил он, за год с лишним до смерти, довольно бледное, даже в шутливости своей, альбомное стихотворение. Конечно, он не забыл как пишутся стихи, не разучился их писать. За полгода всего до конца, написал, легкой поступью издали следуя пушкинским шагам, легкие — как бывают руки у тяжело больных — стихи Пушкинскому Дому. Не в умень было дело.

«На днях я подумал о том, что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать.» Записал он это давным давно (как должно было ему казаться в 21-ом или 20-м году):

25 марта 1916 года, через три дня после того, как выделил из черновиков «Возмездия» стихотворение «Коршун», одно из лучших и последних лирических и трагических, о России печалующихся своих созданий. Редко писал он стихи уже и тогда. В записи, после приведенных слов, читаем: «Надо еще измениться или чтобы во-круг изменилось, чтобы вновь получить возможность преодолевать материал». Вернее было бы сказать: «чтобы получить материал для преодоления», потому что возможность его преодолеть, когда он есть, зависит от умения, в котором недостатка не ощущалось. Изменений вокруг оставалось ждать всего год, но следовало ли предполагать, что изменения эти непременно на помощь придут поэту? Одно дело внутренние, если только не совсем уж скверные. Насчет внешних возможна и такая «циническая» (как иные скажут) мысль: ежели безоблачное благополучие водворится на земле, где ж тогда пристанище найдет «муза мести и печали» (знаю не блоковская была именем этим названа, но разве не подошло бы и к ней это имя?). — Не случилось этого; не случилось, не только «на земле», но и у нас. Однако ответ судьбы на эту запись Блока оказался все же ироническим, и очень для него печальным.

Сперва казалось: ясновидцем проявил себя поэт. Перемена «вокруг» произошла — да еще какая! Уже в марте 17-го года радость была велика, но когда и совсем рухнула, рассыпалась вдрызг и ввласть и матушка Русь, и «Российская Империя наша», как Боря Бугаев (т. е. Андрей Белый) скоморошествуя, но и любя, ее величал, тогда и друг его, уже не в 48-ой записной своей книжке, а в 56-ой, отметил 28 января прописными буквами «Двенадцать» (наверно он поэму в тот день и закончил), а 29-го, уже работая над «Скифами», три слова в ней начертал и их подчеркнул: «Сегодня я — гений». Больше ни о «Скифах», ни о «Двенадцати» в ней не упоминается, до 18-го февраля, когда запись завершается словами: «Я как-то измучен. Или рожаю, или устал». Роды, однако, к тому времени кончились. Усталость так и не прошла. Запись 28-го марта: «Старость».

Продолжались перемены, но главная была позади. Революция, с прописной буквы, кончилась; «революция 17-го и первой половины 18-го года» (это его выражение); но однажды высказал он еще более верную (если о нем самом подумать) мысль: он сказал, что революция длилась от 1901-го до 1918-го года; и в речи о Соловьеве (в 20-м году), что «уже январь 1901 года стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года»: «самое начало столетия было исполнено существенно новых знамений и пред-

чувствий». Но теперь прекратился «шум от крушения старого мира», а с ним умолкла и музыка вообще. Он не слышал больше ничего. «Оглох» (он говорил это не раз). В 20-м году вспоминал: «тогда чувствовалась большая усталость; тогда заметна стала убыль творческого хмеля, той музыки, которая звучала в конце 17 и в первой половине 18-го года». Повторял у Гоголя найденные слова: «Если и музыка нас покинет, что будет тогда с нашим миром?» Уже в предыдущем году (30 марта) в коротенькое юбилейное приветствие Горькому их вставил — совершенно некстати — а затем, еще более неподходящими словами закончил свое приветствие: «Только музыка способна остановить кровопролитие, которое становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием».

Тоскливая пошлость? Очередным скачком в самочувствии такого презрения и гнева не объяснишь. Да ведь и не заговорил он ни на следующий день, ни через год снова о «священном безумии». Свиристество власти, ради своей защиты свиристествующее, священным ему не представлялось. Мать могла ему напомнить письмо его 1909 года: «Пусть вешают, подлецы, и околевают в своих помоях». Виселиц, правда, не было. «Подлецы» были другого звания, не расстреливали даже, а пристреливали (в подвалах), но...

А ведь как хорошо все началось! Три года назад 23 марта 17-го года он писал матери из Петербурга: «Картина переворота для меня более или менее ясна: нечто сверхъестественное, восхитительное». И в том же письме: «Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобранных людей, кишаших на нечищенных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса».

Он не ошибался. Наступил еще более необыкновенный и чудесный Октябрь. «Мы русские, — писал он в статье «Интеллигенция и Революция» (9-го января 18-го года), — переживаем эпоху, имеющую не много равных себе по величию» (...) Дело художника, **обязанность** художника — видеть то, что задумано (...). Что же задумано? — Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.» Когда **такие** замыслы (...) разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов — это называется революцией. Меньшее, более

умеренное, более низменное называется мятежом, бунтом, переворотом; но **это** называется **революцией**.»

Блок перепутал имена. Восхищался он именно бунтом или мятежом очень больших размеров, восстанием (которое казалось ему всенародным), а вовсе не революцией, не заменой одного правящего слоя другим, одной бюрократии и армии другой бюрократией и армией, и осуществлением на деле того, что уже существовало на бумаге, то есть идеологии, кем то сострепанной из таких-то составных частей, и о которой сам он к тому же имел представление более чем смутное. То что он называл революцией, в предчувствиях и вспышках действительно существовало с начала века и действительно кончилось приблизительно тогда же, когда он кончал писать «Двенадцать». Музыка восстания умолкла. Начались те будни революции, которые именно «тоскливой пошлостью» и обернулись. Вернулась, водворилась заново «лживая» — еще более лживая, оттого что истина подверглась более строгому запрету — и нисколько не менее «грязная, скучная и безобразная» жизнь. «Замыслы» померкли, стали пропагандной приманкой, разбалтывались казенной болтовней. Поэту утверждать, что жизнь по сути своей прекрасна и должна стать прекрасной для всех людей, становится неловко, когда газеты пишут, что и сейчас она прекрасней во сто раз чем прежде, и станет завтра прекрасней в двести раз. А печаловаться о нынешнем и смутно мечтать о завтрашнем дне делается и вовсе невозможным. Жаль, что мы не знаем, какие мысли приходили в голову Блоку, когда он перечитывал стихотворение свое «Коршун» через три или четыре года после того как оно было написано:

Чертя за кругом плавный круг,  
Над сонным лугом кошун кружит  
И смотрит на пустынный луг. —  
В избушке мать над сыном тужит:  
На хлеба, на, на грудь, соси,  
Расти, покорствуй, крест неси.  
Идут века, шумит война,  
Встает мятеж, горят деревни,  
А ты все та ж моя страна,  
В красе заплаканной и древней. —  
Доколе матери тужить?  
Доколе коршуну кружить?

Вся грусть, но и вся поэзия чудесных этих строк держится на «Идут века...», «А ты все та ж...» и на безответных заключитель-

ных вопросах. Ну, а теперь, в 20-м, скажем, году, мог бы Блок написать эти стихи? Даже, если допустить, что напечатали бы их, вопреки доктрине о том, что в социалистическом отечестве коршуны не кружат и матери не тужат? Нет, не мог бы. Краса заплаканная и древняя заметно бледнела и таяла уже в то время, да и говорить о ней было бы крайне неуместно. О хлебе тоже лучше было не упоминать. Хлеба в деревне, да и молока, даже и материнского, как раз и не было. В центральных и приволжских губерниях не малочисленны были случаи людоедства. Какой-нибудь мрачный шутник мог бы сказать поэту: «Сынок-то этот съеден, пожалуй, давно; чего доброго и матерью». Что же до «покорствуй, крест неси», то беспрекословное повиновение идеологии и власти в таких выражениях больше не прославлялось, прославлять покорство чему-либо другому было строго воспрещено, осуждать же в стихах это воспрещенное покорство было бы к лицу лишь поклоннику самосудов и пуль в затылок... «Идут века, шумит война /Встает мятеж...» Теперь не то: не та музыка, да и нет никакой музыки. «А ты все та ж, моя страна» — почувствовать нечто сходное можно было еще, но писать об этом стихи было невозможно.

Больше Блок стихов и не писал, — кроме шуточных, альбомных, да еще того пушкинского, прощального (\*). Перечитывал старые, правил их иногда. Готовил новое издание старого собрания стихотворений. Записал однажды (6 февраля 1921): «Следующий сборник стихов, если будет: «Черный день». Но не из чего было составить сборник даже и с таким заглавием. При Надежде Павлович, однажды, «взял свой первый том и бесстрастным, глухим голосом, как она пишет, прочел:

Когда мы воздвигали зданье  
Его паденье снилось нам —

и закрыл книгу: «Так все и вышло. А казалось, что хватит сил на постройку большого здания». Две строчки эти он совершенно произвольно вырвал из их контекста; (стихотворенье «Мы все простим — и не нарушим») придал им смысл угрюмого пророчества, которого вовсе у них не было. Но именно это и показательно. Они **теперь** стали для него предзнаменованием — не гибели «старого мира», которой он так страстно желал, а гибели всего,

(\*) По странному недоразумению, в книге К. В. Мочульского о Блоке (Париж, 1948) стр. 419, стихотворение «Душа! Когда устанешь верить?», написанное 26 марта 1908 года, датировано 1918 годом.

что он и люди его поколения стремились воздвигнуть собственными руками и умами. «Жизнь изменилась, — записывал он в последний год своей жизни (18 апреля); она изменившаяся, но не новая, не пиова» (то есть не дантовская Vita piova, не просветленная, преображенная жизнь, и продолжал: «вошь победила весь свет, это уже совершенное дело, и все теперь будет меняться только в **другую** сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы.» И снова могла бы ему напомнить мать письмо его, девятого года: «Переделать уже ничего нельзя, не переделает никакая революция.

«Простим угрюмство, разве это /Сокрытый двигатель его:/ Он весь дитя добра и света, / Он весь свободы торжество». Мы готовы это и сейчас повторить; но он в 21-м, да и в 19-м году написать этого уже не мог. Между новым его угрюмством и старым как раз ведь гроза и разразилась: та революция, насчет которой не сумел он все-таки твердо решить, что она ничего не переделает. Слов о торжестве свободы он бы сквозь зубы сказать, прошептать бы теперь не мог. Что думал теперь о себе лучше всего высказал опять-таки в переосмыслении прежних своих стихов. По рассказу Чуковского, перелистывая с ним свой третий том, указал на стихи:

Как тяжело мертвецу среди людей,  
Живым и страстным притворяться!

и сказал: «Оказывается это я писал о себе. Когда я писал это, я и не думал, что это — пророчество».

### 8. Год седьмой и последний

Последний год жизни Блока был последним из «семи годов ужаса». Ужасными стал он их считать после того, как исчез восторг, внушенный ему «Февралем», а затем и «Октябрем»; когда его «Скифы» и «Двенадцать» отошли в прошлое, и остался голодать и холодать, заседать, рапорты писать «писать стихи забывший Блок». Уже 6-го января 19-го года, когда позвонили ему из Госиздата: — «Здрассте. Говорит Ионов (...). Предлагаю издать Двенадцать в Петроградском Совдепе», он сказал: — Не находите ли вы, что в Двенадцати — несколько запоздалая нота?»

— «Совершенно верно», ответил Ионов. Интересует нас, однако, мнение Блока, а не Иопова. Хоть и был Ионов одним из его мучителей, но не те мучения были теперь главными, что причи-

нялись ему отдельными людьми. Черные дни для него наступили и становились все черней, в соответствии с придуманным теперь заглавием несуществующего сборника. Девятнадцатый год был черен, двадцатый черней, в двадцать первом на кладбище мы его снесли и Ахматова справедливо написала «Наше солнце в **муке** погасшее». Горько, но и смешно глядеть как нынешние его биографы или комментаторы взапуски копошатся, чтобы истину затушевать. Последние два-три месяца — куда ни шло: был болен, но во все другие полагается ему быть бодрым, жизнерадостным и революционным, как если бы «запоздалая нота» продолжала звучать для него, как звучала в Октябре (на самом деле она еще бодрей звучала в Феврале). Едва ли не самый забавный пример такого тщетного старанья (говорю «забавный», чтобы не сказать чего похуже) являет нам уже не раз упомянутый архикомментатор нашего поэта В. Н. Орлов. В седьмом томе Собрания Сочинений (1963) на странице 458, упомянув о мрачном колорите личных записей Блока, он поясняет, что такие настроения вовсе не поглощали поэта целиком и уживались в нем с «буйным весельем». «Так, например, в декабре 1919-го года он записывает подряд в записной книжке: «тяжело», «чудовищный день» и так далее, и именно в это же время, 6 декабря, пишет заразительно веселые, брызжущие неподдельной бодростью стихи в рукописных альманахах К. И. Чуковского:

А далекие потомки  
И за то похвалят нас,  
Что не хрупки мы, не ломки,  
Здравствуем и по сей час  
(Да-с).»

Бодрые стишки, нечего сказать! Неужели кто-нибудь и впрямь может поверить, что водевильно-куплетный этот тон казался «буйно-веселым» Блоку или, в стихах Блока, Чуковскому? Да и смысл ведь ясен: здравствуем и по сей час на удивление потомству, но если бы хоть немножко были хрупки и ломки, давно перестали бы здравствовать. Что ж тут веселого? Где тут «неподдельная бодрость»? Юмор стихов этих — висельный; он в полном соответствии с мрачным колоритом записей того месяца; как и юмор всего стихотворения, всех этих иронических виршей, озаглавленных Блоком «Стихи о предметах первой необходимости». Речь в них о том, что романтический голубой цветок, нынче, в 19-ом году (о голоде тогдашнем архикомментатор молчит) зовется другим именем: «В этом мире, где так пусто, / Ты ищи его,

найди, / И, найдя, зови капустой, / Ежедневно в щи клади, / Не  
взыщи, что щи не густы — / Будут жижее впереди». Ах какие  
«брызжущие неподдельной бодростью» стихи! Вот и их заклю-  
чение: «Имена цветка не громки, / Реквизируют — как раз, / Но  
носящему котомки / И капуста — ананас, / Как с прекрасной не-  
знакомки, / Он с нее не сводит глаз. / А далекие потомки, / И за  
то похвалят нас, / Что не хрупки мы, не ломки, / Здравствуем и  
посейчас. / (Да-с). / Иль стихи мои не громки? Или плохо  
рвет постромки / Романтический Пегас, / Запряженный в таран-  
тас?» Если верить комментатору, он не только рвет постромки,  
но и «брызжет» «заразительным весельем»: «Не взыщи, что щи  
не густы — / Будут жижее впереди». А ведь знает комментатор,  
что среди записей Блока есть и такие: «Я голоден», «Умру с  
голоду»; знает, что «будут жижее впереди», если не к одним шам  
это относить, оказалось подлинным пророчеством. Хорошо из-  
вестно ему, что после смерти Блока Чуковский писал: «В 1919  
году Блок еще мог смеяться. Но потом перестал», и что 26-го мая  
21-го года Блок писал тому же Чуковскому: «Итак, — он упо-  
минал перед тем о своей болезни, — здравствуем посейчас ска-  
зать уже нельзя: слопала-таки поганая, гугнивая, родимая ма-  
тушка Россия, как чушка своего поросенка».

Так и случилось: слопала; и еще издевается до сих пор че-  
рез подставных лиц над горьким его смехом, яко бы брызжущим  
неподдельной бодростью, и над всей его долгой, месяцами, го-  
дами длившейся предсмертной мукой. Материальные лишения,  
физические страдания не были главным в этой муке, но люди  
старательно преуменьшающие их заслуживают — хотел сказать  
— презрения, но нет, боюсь, что еще больше заслуживают жа-  
лости. Тот же Орлов, похвалив бодрые строки «Здравствуем и  
посейчас / (Да-с)», пишет: «Тон записей 20-го года тоже в подав-  
ляющем большинстве случаев крайне мрачен». Этого, значит, и  
он не решается отрицать; продолжает, однако: «Но вот каким  
показался Блок в это время Сергею Городецкому» и цитирует  
затем статью Городецкого из «Печати и революции» 1922-го го-  
да. «Первое, что он мне сказал, — пишет Городецкий, — когда  
мы обнялись летом 20-го года, после долгой разлуки, это, что он  
колет и таскает дрова и каждый день купается (...). Он был за-  
горелый, красный, похожий на финна. Про дрова сказал не с  
дамски-интеллигентской кокетливостью, как все, а как здоро-  
вяк... Никакого нытья я в нем не заметил». — Загорелый, крас-  
ный, это соответствует действительности, и, конечно, «нытья»  
ожидать от Блока не приходилось, а ныть при Городецком было,

пожалуй, и рискованно. Но вот не знаю, академик Шахматов,  
сердце которого не выдержало тасканья дров на шестой этаж,  
говорил ли он об этом тасканьи «как здоровяк» или с «дамски-  
интеллигентской кокетливостью»? Разве это важно? Не важнее  
ли этим вызванная «безвременная кончина» (как извещать лю-  
бят в траурной рамке) большого ученого? Блок был моложе и  
жил пониже, чем на шестом; но существует все же мнение, что  
он себе этим тасканьем сердце надорвал. Неужто ни Городец-  
кий, ни Орлов никогда об этом не слышали?

Недоеданием в голодный год нажил себе Блок цыngu, а ба-  
лыки и растегаи НЭПА были ему не по карману. Но я, конечно,  
не утверждаю — был такой зарубежного изделия лубок — будто  
он умер с голоду. Пища весьма доброкачественная и обильная  
была в его распоряжении, когда он есть ее был уже не в силах.  
Точно также, как и разрешение на выезд в финскую санаторию  
вместе с женой (один он туда поехать не мог) было получено,  
когда он лежал уже не в постели, а на столе. Годами томили его  
словопрениями на бессмысленных заседаниях и вынуждали ис-  
кать пропитания трудом литературного поденщика. В начале  
21-го года (17-го января) записал: «Утренние, до ужаса острые  
мысли, среди глубины отчаянья и гибели. Научиться читать  
«Двенадцать». Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и орде-  
ра иметь всегда...» Не всерьез, конечно, намеренье это («Две-  
надцать» он всегда предоставлял читать жене), но видно, что  
дело идет к концу. Однако, уже и в 19-м году, когда он еще умел  
смеяться, записано было им (11 июня): «Чего нельзя отнять у  
большевиков — это их исключительной способности вытравливать  
быт и уничтожать отдельных людей. Не знаю плохо это или не  
особенно. Это — факт».

Потому, должно быть, не знал, плохо это или не очень, что  
лишь совсем незадолго до того перестал прославлять Револю-  
цию, а ведь и вытравливанье и уничтоженье трудно было бы  
рассматривать не как прямое ее следствие. Далее, впрочем, он  
все таки упомянул — не о ней: о сынах ее, поросятах той чушки,  
которая скоро его слопает. Каким способом они «вытравливают  
быт», рассказано в той же записи (она относится к прогулкам  
Блока в сторону Ольгина и Лахты): «Загажено все, еще больше,  
чем в прошлом году. Видны следы гаженья сознательного и бес-  
сознательного». Правда, об уничтожении людей не прибавлено  
в записи ничего; не сказано, что и оно может быть названо вы-  
травливаньем, когда начинается с травли.

Блока начали травить в последний год его жизни. В мае,

когда он уже больной поехал в Москву его на вечере в Доме печати обозвали мертвецом. По свидетельству Чуковского и Алянского, он с этим согласился, сказал: они правы. Жить ему, и в самом деле, оставалось всего три месяца. По словам Алянского, ему сперва крикнул кто-то из публики, что его стихи мертвы. «Поднялся шум. Крикнувшему (...) предложили выйти на эстраду. Тот вышел и пытался повторить брошенные слова или объяснить их, но кругом было так шумно, что невозможно было ничего разобрать». Шумели, без сомнения, не одни защитники Блока. Рассказ Алянского следует дополнить рассказом Пастернака. Блок выступал сперва в Политехническом музее; в Дом печати его повезли оттуда. «На вечере в Политехническом, — пишет Пастернак, — был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят «бенефис», разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем пойти туда, чтобы предотвратить задуманную низость. Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на машине...» Так что они опоздали. «Скандал, которого опасались успел тем временем произойти. Блоку (...) наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно согласился.»

«Наговорили». А не то чтобы «кто-то наговорил». Поносили его коллективно, а не единолично. Из рассказанного Пастернаком ясно, что «бенефис» был подготовлен, и что подготовлен он был в таком литературском кругу, который Маяковского не стал бы принимать в штыки, — оттого Маяковскому замысел этот и был известен. По этой же причине, именно он имел возможность исполнению замысла помешать. Хотел ли помешать, или хотел под этим предлогом скандал Пастернаку показать, — об этом с полной уверенностью судить нынче никто не может. Покуда Блок был жив большого расположения к нему, во всяком случае, не проявлял: «не свой паренек», — так, должно быть, чувствовал. В поэме «Хорошо» доносил:

И сразу лицо скупее менял

Мрачнее, чем смерть на свадьбе:

Пишут...

из деревни...

сожгли...

у меня...

Библиотеку в усадьбе...

«Скупее менял» — выражение странноватое (может быть бластное?) но дело не в этом. Маяковский и в воспоминаниях о Блоке, записанных сразу же после его смерти, высказал ту же мысль с безупречной ясностью: революцию Блок одобрил, сказал ей «хорошо», о сожженной библиотеке, однако, жалел. «Славить ли это 'хорошо' или стенать над пожарищем Блок в своей поэзии не выбрал». Ну, а если так, прибавлю от себя, то зачем же его от его недругов защищать? От тех в Доме печати, или от таких, как Сергей Бобров, который, покуда Блок умирал, тиснул в «Печати и революции» (1921, I) гнусную статейку по поводу выхода «Седого утра», сборника прежних, великолепных до-октябрьских блоковских стихов: «Смертной тоской, — писал он, — невыразительным ужасом и нечленораздельными мольбами в пустое пространство заняты страницы. Разложению нет пределов». «Блока больше нет».

Покуда Блок еще был, он по поводу разгромленного и загаженного Шахматова, — любимого им не стяжательной, а такою любовью, какую Маяковский и вообразить едва ли был горазд — в самом начале последнего этого своего года записал, получив оттуда пакет кое с чем от разгрома спасенным: «Листки из записных книжек, куски погибших рукописей моих, куски отцовского архива; повестки (...), кое-какие черновики стихов, картинки, бывшие на стене во флигеле. — На некоторых грязь и следы человеческих копыт (с подковами). И все». (Письма, дневники, другие черновики исчезли бесследно).

Не о мощне жалел. И говорить таких слов, никому не говорил. «Туда ему и дорога» Чуковскому о Шахматове сказал. Да и о себе почти то же. Не лгал. А мы все-таки Маяковского или Боброва, или запись эту читая, чувствуем: больно ему было, хоть и не отсюда главная была боль. И не травлей была вызвана. Но помогает понять и все это, почему он накануне смерти бюст Аполлона разбил кочергой. Наш долг, невыполнимый наш — до поры, до времени — долг всю эту грязь, все следы человеческих копыт с памяти его смыть, снова тело его на плечах к Смоленской Заступнице снести и белый, высокий крест поставить вновь на его могиле.

## 9. За каждую минуту наших дней

Блок — предреволюционный поэт; но умер он не сразу после того, как с восторгом встретил революцию, и поэтом быть не перестал, даже и перестав писать стихи. В немногочисленных

письмах, статьях, записях, рассказах очевидцев передается нам нечто не менее важное, чем то, что высказано в его стихах; и хоть не поэзией оно передается, но относится к поэзии и к поэту, к поэтическому осмыслению жизни и поэтическому суду над ней. Передача отрывочна, несовершенна, да и не все архивные материалы опубликованы, а в опубликованных производятся до сих пор злостные, то есть преднамеренно искажающие истину купюры. Но в общих очертаниях истина эта ясна; трудно только в обобщенной форме ее высказать, не впадая в упрощенье.

Совсем грубо говоря: была Россия, которую Блок ненавидел, исчезновения которой желал всеми силами души. Наступило время когда исчезновение это совершилось и он порадовался ему. После чего очень быстро наступило другое время, когда он радоваться перестал, и когда новая Россия, исчезающую заменившая, стала казаться ему столь же или еще более проклятой заслуживающей, чем прежняя; тогда как прежняя повернулась к нему теперь другим, не столь ненавистным обликом своим. Всем существом перешел он сперва от ненависти к радости, а от нее потом не к новой ненависти, а к безвыходному, самоубийственному отвращенью. Ненависть стремится устранить, уничтожить, или хотя бы проклясть — в стихах; отвращение замыкается в себя, не до стихов ему, хочет уйти, а в данном случае еще и говорит: «ты сам этого желал, ты это сам на себя и на свою страну накликал.» «Возмездие» — это слово давно пламенело для Блока поэтическим огнем, или, пожалуй, более простое слово: «расплата» чаще еще могло приходиться ему на ум. Вот почему нельзя себе представить, чтобы не о себе он думал, когда в январе 21-го года другу своему Надежде Александровне писал о ее будущем ребенке, что мученичество его ждет, если будет он хорошим, что расплачиваться ему придется «за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней». Неужели, если «мы» наделали, то «нам» за это расплачиваться не надо, а только нашим детям? Нет, пусть начнется мученичество с нас, если что-то «хорошее» в нас осталось. Оно для Блока и началось, уже задолго до того; «я отворю, — говорила смерть, как в его стихах, — пускай немного еще помучается он». Недаром писала Ахматова: «Принесли мы Смоленской Заступнице / Наше солнце в муке погасшее». Избегать ответственности было чуждо Блоку. Он расплатился, принял муку за себя и за нас, за неопределенных «нас», разделявших некогда его гнев и его надежду, «за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней».

Едва кончив «Двенадцать», принялся стихотворно размы-

шлять о том, что — символически — разрушалось и было разрушено «двенадцатью». Думаю: совесть свою успокаивать стал. С поэтической ненавистью размышлял, оправдывал этой ненавистью разрушение. В конце февраля набросал начало «Русского бреда»:

Зачинайся русский бред...  
...Древний образ в темной раке,  
Перед ним подлец во фраке,  
В лентах, звездах и крестах...  
Воз скрипит по колее...  
Поп идет по солее...  
Три... в автомобиле.

Начал с таких привычных для него, для старой его ненависти образов — как в стихотворении «Грешить бесстыдно, непробудно», как в письме Розанову о нагайке и епитрахили. «Древний образ в темной раке», это ведь как будто и хорошо, но перед ним непременно почему-то, подлец во фраке» точно всегда все во фраках и являлись в церковь, точно перед образами никто и не молился, кроме «подлецов». А он-то сам, да еще в 1905-м году не молился разве, «устроив революцию против себя» как писал тогда же другу своему Жене, «трем Богородицам в Казанском и Исаакиевском соборе», и ведь лампадок до конца не разучился зажигать. Как бы-то ни было, стихи затормозились: больше года прошло покуда он, не то чтобы их закончил, но бросил их совсем.

Продолжал так: «Есть одно, что в ней скончалось» — в ней, то есть в России. И это «одно», это может быть сама Россия:

Есть одно, что в ней скончалось  
Безвозвратно,  
Но нельзя его оплакать,  
И нельзя его почтить,  
Потому что там и тут  
В кучу сбившиеся тупо  
Толстопузые мещане  
Злобно чтут  
Дорогую память трупа —  
Там и тут,  
Там и тут...

Там и тут, это значит и здесь и за рубежом, и уехавшие и оставшиеся. Но почему же трупа? Память трупа никто не чтит, чтут

память живого или живой, глядя на мертвое тело, или на гроб, или на могилу, на крест, который над могилой. «Эх, эх, без креста» — нет теперь его и над твоей. Но вот это «скончавшееся безвозвратно» в твоей стране, хотел бы ведь и ты его почитать — если бы только не толстопузые мещане, не подлецы во фраках. И больше никто, в самом деле? Ни там, ни тут? Ни там, ни тут. — Ничего не вышло; бросил писать. Три строчки еще прибавил в апреле 19-го года:

Так звени стрелой в тумане  
Гневный стих и гневный вздох,  
Плач заказан, снов не свяжешь  
Бредовым...

Оборвалось. Никакая стрела не зазвенела, никакого не родилось ни гневного вздоха, ни стиха. Плач он себе запретил, но без него не связались сны, связного бреда не получилось. А когда через два года, накануне последней своей болезни, вернулся он к черновикам продолжения второй и третьей главы «Возмездия», то во второй главе Шахматова своей юности вспомнил и себя:

Высокий белый конь, почуя  
Прикосновение хлыста,  
Уже волнуясь и танцуя,  
Его выносит в ворота...

Знаем мы, что это Саша поскачет к невесте из Шахматова в Боблово. Но и не одного себя вспомнил:

Белеет церковь над рекою  
За ней опять леса, поля...  
И всей весенней красотой  
Сияет русская земля...

Это, может быть, и есть «дорогая память трупа»? Только не злобно, совсем не злобно он ее чтит. И толстопузого нет ничего в церковке этой, что белела над рекой, а нынче очень вероятно, как над столькими другими реками, и над этой рекой больше не белеет. Что же до третьей главы, то еще в июле последнего своего лета пробовал он к ней вернуться, многое еще оставалось написать, но его тянуло к самому концу, где должен был умереть его герой — он сам — в объятиях женщины, по имени Мария. «Как называть тебя? — Мария / Откуда родом ты? — С Карпат». «Мария, нежная Мария, / Мне жизнь постыла и пуста».

Может быть и давно задумано было так женщину эту назвать, а все-таки не случайным кажется мне, что в «последней усталости своей» повторяет поэт столько раз не другое какое-нибудь, а это имя. «Скажи, ты о жене скучаешь? / Нет, нет, Мария не о ней».

Она с улыбкой открывает  
Ему объятия свои  
И все, что было отступает  
И исчезает (в забвении).

Потом написано: «И он умирает в ее объятиях», и еще фраза, относящаяся к фабуле поэмы, к давно задуманному ее концу. Но затем, в конце рукописи опять незаконченные стихотворные строчки: возвращение к жалобе, к призыву:

Мария, нежная Мария  
Мне пусто, мне постыло жить!  
Я не свершил того...  
Того, что должен был свершить.

Последние две строчки так и не вышли, но призыв и жалоба получили свою мелодию, лирически зазвучали, и не могу я отделаться от чувства, что звучит в них голос самого поэта, что сказаны они от его имени...

В каких мыслях он умер, этого мы в точности никогда не узнаем. Знаем только, что снова, в последние месяцы и годы, жил в страшном мире — только не совсем в том же, в котором жил прежде. Отчасти и в том же: никакой коренной — сверхъестественной, в сущности, — перемены, ожидавшейся им в семнадцатом-восемнадцатом году, не произошло. Мир был столь же страшен, во многом и еще страшней но уже не тот был это мир, ужасу которого он сам был сопричастен, и который поэтому питал его стихи, так что его поэтом он останется навсегда. Стихов он теперь не писал. Те, что написаны, в счет — в настоящий его счет — не идут; но читал он, в Петербурге, в Москве, когда надо было читать, как будто и глухо, бесстрастно, но с еще большей, быть может, сдержанной страстью, все те же о «страшном мире», и среди них самое пророческое, самое безнадежное из всех. Об одном чтении этих стихов на собрании Союза Поэтов рассказал Всеволод Рождественский, — как и о том, что было после чтения, но тут он не все понял или «всего» не хотел договорить. Приведу этот рассказ и я, сократив его, но и не сказанное до-сказав.

«Заседание закончилось круговым чтением стихов. Блок прочел не больше пяти-шести стихотворений. И когда уже никто не ждал, что будет продолжать — начал последнее. Лицо его, до тех пор спокойное, искажилось мучительной складкой у рта, голос зазвенел глухо, как бы надтреснуто.

Как часто плачем — вы и я —  
Над жалкой жизнью своей!  
О если б знали вы, друзья,  
Холод и мрак грядущих дней!

Лжи и коварству меры нет,  
А смерть — далека:  
Все будет чернее страшный свет,  
И все безумней вихрь планет  
Еще века, века!

«Он весь чуть подался вперед в своем кресле на глаза его упали, наполовину их закрывая, тяжелые веки:

Весны дитя, ты будешь ждать —  
Весна обманет.  
Ты будешь солнце на небо звать —  
Солнце не встанет.  
И крик, когда ты начнешь кричать,  
Как камень канет...

«Заключительные строки он произнес почти шепотом, с мучительным напряжением, словно пересиливая себя:

Будьте ж довольны жизнью своей,  
Тише воды, ниже травы!  
О, если б знали, дети, вы  
Холод и мрак грядущих дней!

«Всех нас охватило какое-то подавленное чувство». Блок улыбнулся, сказал несколько успокоительных слов, а затем предложил: «Прочитаем что-либо из Пушкина. Николай Степанович, теперь ваша очередь». «Гумилев несколько не удивился этому предложению и после минутной паузы начал:

Перестрелка за холмами;  
Смотрит лагерь их и наш;  
На холме пред казаками  
Вьется красный делибаш.

Здесь Рождественский обрывает цитату и пишет: «Светлое имя

Пушкина разрядило общее напряжение». Мочульский, в своей книге, без комментариев воспроизводит его рассказ. Но ведь Гумилев прочел все стихотворение, а кончается оно:

Мчатся, сшиблись в общем крике —  
Посмотрите! Каковы?...  
Делибаш уже на пике,  
А казак без головы.

Очевидно во время «минутной паузы» Гумилев сообразил, что ему прочесть. У поэтов бывают предчувствия, внезапные прозрения. Не на смерть была между этими поэтами вражда; не поединок померещился одному из них. Но Блоку не долго оставалось жить, а Гумилева расстреляли через три недели после смерти Блока.

## 10. Пропасти сознания

За полгода до смерти, в записке о «Двенадцати» (1 апреля 1920), он со всей твердостью и прямою сказал, что в последний раз слепо отдался стихии, когда писал свою поэму и что не отрекается от нее именно поэтому, а политику тут же сравнил с «небольшой заводью вроде Маркизовой лужи». «В этом стакане воды, — писал он, — тоже происходила тогда буря». «В последний раз», «слепо», «буря в стакане воды» — оттого то и был текст этой записки только раз — в 22-м году — полностью напечатан в переименованной политикою России. Если печатают ее там, то в выдержках, иногда подлинней, чаще совсем кратких. Кончалась она — после слов о том, что в поэме осталась капля политики — так:

«Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть она не убьет смысла поэмы, может быть, наконец, — кто знает — она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом лишь с иронией; но не будем сейчас брать на себя решительного суда».

А мы? На себя мы этот суд возьмем?

Много времени прошло, но ведь «наши времена» еще не кончились. То, от чего задохся Блок, от этого и сейчас задыхаются в его стране все, в ком «тайная свобода», по его и пушкинскому слову, уже проснулась, и кто в поисках явной попадает в лагерь, в тюрьму или в сумасшедший дом. Время, когда он пи-

сал «Двенадцать» уже не наше; но время, когда записку он о них писал, это все еще наше время. Только ясно все-таки сейчас, а мне и в 20-м году было ясно, что «Двенадцать» по ту сторону политики, хоть и кажется политической их тема, и что если есть в поэме мутная капля, то муть эта религиозного порядка и ничего по своей природе общего не имеет с политикой. Оттого-то эта ядовитая капелька внутри самой поэзии и просочилась. Политическая поэзия — не поэзия, покуда она политику не переросла. Ни малейшего сомнения нет, что Блок ее перерос в своей поэме. Но религию нельзя перерости, можно только ее обойти. Блок не захотел или, вернее, не смог этого сделать. Тем хуже для «Двенадцати». Но души нам не подсудны. Не решусь сказать: тем хуже для него.

Прямого кощунства в «Двенадцати» нет. Если о дневниковых записях, Ренаном навеянных, забыть, дымилось и мерцало оно порой у Блока возле образа Божией Матери, а не возле образа Христа. Не только в тех «итальянских» стихах, которых он и сам позже повидимому (хоть и не признаваясь в том) стыдился, но и во всем вообще розовом сумбуре обволакивающим — да и породившем — большинство стихов его о Прекрасной Даме. Зинаида Гиппиус, в гневе на «Двенадцать», стрелу свою отточила остро, но прицелилась дрожащею рукой. 7-го мая 19-го года Мережковский из рук в руки передал Блоку ее стихи, которым предпослано было пояснение в виде эпитафии: «На танцульке в Кронштадте выпивший матрос, обиженный отказом барышни, сорвал икону Божьей Матери и принялся с нею выплясывать. Через час он умер. — Легенда (или правда) наших дней». После чего Блок прочел:

«Впереди 12-ти не шел Христос:  
Так сказали мне сами хамы.  
Зато в Кронштадте пьяный матрос  
Танцевал польку с Прекрасной Дамой.  
Говорят он умер... А если б и нет?  
Вам не жаль Вашей Дамы, бедный поэт?

Он ответил тихо, кротко, а главное устало, — чувство это уже тогда владело им всего прочней:

Вы жизнь, попржнему нисколько  
Не знаете. Сменилась полька  
У них печальным кикапу...  
И что вам, умной, за охота  
Швырять в них солью анекдота  
В них видеть только шантрапу?

Ответил мудро, и хорошо сделал, что о Прекрасной Даме не упомянул: не участвует она в «Двенадцати». Если отождествлять ее с Той, чью икону сорвал со стены матрос, то и Блок, в былые годы с иконою этой «плясал», не безгрешен был перед прообразом этого образа. Но Гиппиус ничего об этом не сказала, да и отождествление произвела с не очень благочестивой легкостью. Возражать же ей насчет финала своей поэмы он не мог: убеждать ее в подлинности видения было безнадежно, да ведь знал он и сам, что «впереди 12-ти» если и шел Христос, то без их ведома, и что все сделавшие «Октябрь» или пользу извлекавшие из «Октября» решительно это отрицали.

Меньше чем за год до того, в первых числах июня 18-го года, отвечал он Гиппиус, получив ее книгу с надписью (до нас недошедшей) гораздо решительнее и бодрей; интернационал со знаменем сравнил, поднял это знамя над и без того ораторски приподнятыми (на подобие «Скифов») стихами. Теперь он одиночество свое осознал вполне; никаких знамен не поднимал; голос потерял, «оглох» и — какие ни предстояли еще перебои, возвраты — можно не колеблясь сказать: стал готовиться к смерти. Еще в сентябре предпоследнего года, через три месяца всего после того первого ответа, встретив Зинаиду Николаевну в трамвае, он спросил ее: «Вы, говорят, уезжаете?» и после ее ответа: «Что-ж... тут или умирать, или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении», помолчал, а потом произнес, как она пишет, «особенно мрачно и отчетливо»: «Умереть во всяком положении можно». В те дни «положение» это понимала З. Н. крайне упрощенно; позже однако, вскоре после смерти Блока, в 1922 году, кончая свои воспоминания о нем, написала то самое, решающее, что и надлежало написать: «Страданием великим и смертью он искупил не только всякую свою вольную или невольную вину, но может быть, отчасти позор и грех России».

Это веские слова. Жалею тех, кто под ними до сих пор не расписались, как и тех, кто до сих пор не вольны распоряжаться своею подписью. Тем более слова эти вески, что ведь это к Блоку Гиппиус в свое время обратила исправленный некрасовский стих: «Ты человеком быть обязан»; теперь она, хоть и поздно, да поняла, что среди всех поэтов, им обоим современных, его меньше, чем кого-либо, можно было обвинить в стремлении уклониться от такой обязанности. Быть может и о том, «кронштадтском» стихотворении своем пожалела. Но тут надо все таки признать, что не смотря на весь туман, обволакивавший для нее мишень, и на несправедливость ее гнева, она все таки стрелу —

«Вам не жаль вашей Дамы» — сомнамбулически верно выбрала, — если только не о Прекрасной Даме думать, а о Матери и Деве, изображенной на иконе.

Никто не знает, какие именно «пропасти сознания» открылись или приоткрылись Блоку, после того, как он «Октябрь» себе на плечи взвалил и «Двенадцать» написал; как и никто не знает в каких именно мыслях он Надежде Александровне Полле о «совести» писал за полгода до смерти. Или что в точности значила тяга последних его лет к стихам его юности.

«Светлой ангельской лжи не знавал я отрав». Знавал, знавал! Не тогда (1909), так раньше. Да и как же могут быть ангельскими ложь и отравы? Сумбур все это, и не просто розовый сумбур. Но вот последняя строфа очень сумбурного стихотворения, незадолго до того написанного (1908):

Напрасный жар. Напрасные скитанья.  
Мечтали мы, мечтанья разлюбя.  
Так — суждена безрадостность мечтанья  
Забывшему Тебя.

Нет сомнения, что это «Тебя», с большой буквы, нужно расшифровывать в женском роде, а не в мужском. И вот теперь, перед концом, муза безрадостного, но незабываемого создавшего мечтанья о страшном мире, умолкла. Остыл «напрасный жар». Кончились напрасные мечтанья. Память теперь могла проснуться — в каких тайниках, в каких пропастях — да и сознания ли? — хранимая...

Два существа были с ним неразлучны и в разлуке; оставались с ним, совсем к нему близко до конца. «Если бы на свете не было жены и матери — мне бы нечего делать здесь» записано в дневнике 15 июня 1912 года. Мать и жена. Тщедушная, щупленькая мать — он делился с ней всем, она знала все, ему казалось порой, как он писал, «что одна у них душа на двоих». Круглолицая, краснощекая, рослая жена. Не жена, — невеста. Осталась невестой и после того, как родила ему чужого младенца, умершего через несколько дней после рождения. «Милая, Господь с тобой», пишет в дневнике, когда не может ей этого сказать; крестит, когда ее нет, ее комнату, постель. Говорит о ней, как о малом дитяти. Что бы то ни было, как бы она ни поступала, она для него невинна и чиста. Это и есть то — совсем настоящее — что осталось от полуподдельного тумана тех, идиллических, но самых, в сущности, безумных, нечестиво-девической «Дамой», сумбурной о ней мечтой искалеченных юных лет.

Мать и жена и я мы в склепе  
Схоронены; а жизнь идет  
Вверху — все громче, все нелепей,  
И день последний настает.

Первый стих я привел в первоначальном его виде; потом, в стихотворении «Сон», матери посвященном, он стал читаться: «Я видел сон: мы в древнем склепе». Далее не было перемен:

Чуть брезжит утро Воскресенья.  
Труба далекая слышна.  
Над нами — красные каменья  
И мавзолеей из чугуна.  
И Он идет из дымной дали;  
И ангелы с мечами — с Ним,  
Такой, как в книгах мы читали,  
Скучая и не веря им.

Под аркою того же свода  
Лежит спокойная жена;  
Но ей не дорога свобода:  
Не хочет воскресать она...

И слышу мать мне рядом шепчет:  
— Мой сын, ты в жизни был силен:  
Нажми рукою свод покрепче,  
И камень будет отвален.

— Нет, мать. Я задохнулся в гробе,  
И больше нет бывалых сил.  
Молитесь и просите обе,  
Чтоб ангел камень отвалил.

Блок подтвердил это стихотворение последней минутой своей жизни. Ту, кого искал он и верою и неверием, Данте назвал в последней песне своей поэмы Девой-Матерью, дочерью своего Сына. Христианство чтит Невесту и Мать в одном лице. На земле они в одно лицо несоединимы. И в двух лицах не всегда дружба между ними и союз. Любовь Дмитриевна нелегко уживалась с матерью Блока, особенно в последние годы его жизни. Когда он смертельно занемог, она пожелала ходить за ним одна. Матери пришлось уехать. Она вернулась, по зову жены, только когда смерть подошла вплотную к сыну. В комнату к нему ее не пускали. Она просидела три последних ночи на стуле у закрытой двери. Никого туда не пускали: Блок был слишком слаб. Бредил,

буйствовал даже — затихал, повторял: «Боже, прости меня» впадал в забытие.

В этой комнате были воспоминания об Италии (вероятно и разбитый кочергой бог поэзии к ним принадлежал). Одно сравнительно недавнее: снимок с Мадонны Сассоферато, позднего и немножко приторного подражателя Рафаэля, в которой Блок находил сходство с Любовью Дмитриевной. Другое, напротив очень давнее, не о Флоренции 1909 года, испорченной для него шумом и пылью. О незапамятной, за четверть века до того. Над его изголовьем, в рамочке и под стеклом, всегда с тех самых времен висела скромная картинка, подаренная четырехлетнему Сашуре семилетней итальянкой, когда он жил с матерью близ Viale dei Colli, откуда на купол и колокольни, на черепицу крыш, на холмы за ними, открывался такой райски-безмятежный вид. Девочку звали София — многозначительное, не для четырехлетнего, конечно, но позже для юного, двадцатилетнего друга Сережи Соловьева и жениха Любви Дмитриевны имя — и на картинке была изображена Immacolata, Непорочная Дева, Приснодева Непорочного Зачатия. Когда пришел последний его день и час, когда крикнул он, позвал мать, сидевшую за дверью, велел ей стать по одну сторону постели, а жене по другую, та картинка все висела у него над головой.

«Молитесь и просите обе» —

незачем было произносить эти слова. Он по-видимому и вообще не сказал больше ни слова. Было воскресенье, десять часов утра. Благовещенская церковь от угла Офицерской и Пряжки недалеко. Со слов матери, сестра ее пишет: «Когда его бездыханное тело опустилось на подушку, раздались торжественные и отчетливые звуки благовеста, призывавшего к обедне».

Блок уже их не слышал. Но через три дня

Принесли мы Смоленской Заступнице,  
Принесли Пресвятой Богородице  
На руках во гробе серебряном  
Наше солнце, в муке погасшее —  
Александра, лебедя чистого.

В. Вейдле

## БИБЛИОГРАФИЯ

Андрей Боголюбов. Сын человеческий. Брюссель. Изд. "Жизнь с Богом", 336 стр. с иллюстрациями.

На первой странице книги Андрея Боголюбова нас встречает посвящение:

*Всем ищущим истину  
и верящим в возможность ее обретения*

На обороте — Лик Спасителя с Туринской Плащаницы.

В предисловии автор четко ограничивает круг читателей, на которых рассчитана книга: она обращена к современному русскому читателю, либо совсем незнакомому с Евангелием, либо знакомому с ним поверхностно или из третьих рук. Цель автора — пробудить интерес к внимательному и благоговейному чтению Евангелия у верующих и неверующих, помочь им приблизиться к пониманию смысла Вечной Книги.

Избранный А. Боголюбовым метод изображения жизни и учения Иисуса Христа как нельзя более соответствует поставленной задаче. Автор называет свой метод "синтетическим", мы позволим себе назвать его проще — художественным. С одной, впрочем, оговоркой: язык книги не всегда отвечает требованиям художественности, автор, местами, очевидно жертвует ею ради ясности мысли. Стройность композиции книги также иногда нарушается теоретическими экскурсами или длинными выписками из Вл. Соловьева. Несмотря на это вся книга кажется написанной единым порывом. Эта слитность повествования достигается в иных случаях удачным вплетением в авторский текст евангельских слов, в иных — почти точным пересказом их, а в иных — вдохновенными поэтическими отрывками.

Обстановка земной жизни Спасителя изображена так, что читатель видит цветущие сады и виноградники Галилеи, рыболовов-апостолов, ученых фарисеев и городское простонародье настолько реально, насколько это может дать художественное проникновение. Не случайна постепенность, с которой автор ведет читателя от простого описания событий к глубочайшим и труднейшим истинам христианства. Благодаря этому приему те, кто совсем не знаком с Евангелием, медленно и осторожно подводятся к его уразумению, те же, кто читал его поверхностно, получают возможность многое передумать и перечувствовать заново. Особенно ценно, что принятая А. Боголюбовым манера изложения, являющаяся новой и даже может быть неожиданной для русского православного читателя — единственная, дающая возможность взгляду нашего современника пробить толщу многовековых культурных напластований и предрассудков, увидеть евангельские события просто, непредвзято и открыто.

Следует отметить, что постепенность изложения вызвана, очевидно, не только пропедевтическими соображениями, но также и историзмом мышления автора. Историзм этот имеет своеобразный оттенок. Мы видим как бы два потока истории человечества — внутренний и внешний, видим их взаимодействие, следим за изменением их соотношения.

Так, "Пролог" читается почти как начало исторического романа. На широком историко-культурном фоне вырисовываются здесь основные представления, которыми жила Римская Империя накануне Рождества Христова. Выясняется противоречие Империи и Востока; кратко, но достаточно ярко, дано учение пророков.

В ходе изложения внешние события все более и более отходят на задний план, мотив же "истинной истории, которая делается в тиши", звучит все громче, все настоятельнее. Наконец, занимающее такое большое место в "Прологе" противостояние двух миров — Рима и Востока — совсем как бы забывается и все внимание читателя приковывается к Назарянину с небольшой группой учеников и собирающимися вокруг Него народными толпами. Лишь проскальзывающие местами напоминания о сегодняшнем дне заставляют читателя отрывать ненадолго взор от евангельских событий. Драматизм этих событий нарастает медленно и неуклонно, достигнув наивысшего напряжения в главе "Иисус на кресте". Радостный перелом — "Победа жизни" — дает как бы толчок обратному движению: история небольшой общины из захолустной Римской провинции разрастается в историю Церкви Христовой, охватывающей всю историю человечества.



Своеобразна манера автора в изложении чудес и таинственных событий. И здесь он остается верен принципу постепенного раскрытия смысла. Так, в начале книги величайшие события Священной истории даются как бы под покровом и от самого читателя зависит поверить или не поверить в их таинственный смысл. "Над темным историческим горизонтом вспыхнула утренняя заря. В двадцатый год правления Августа в маленьком галилейском городе Назарете Дева услышала слова: "Ты родишь Сына и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Вышнего и даст Ему Господь Бог престол Давида — отца Его и будет царствовать над домом Иакова и Царству Его не будет конца" (стр. 32).

Так в ткань "исторического романа" впервые вплетается золотая нить — весть о Благовещении.

После рассказа о появившихся на улицах Иерусалима волхвах и о жестокостях царствования Ирода следует скупое и непритязательное сообщение о Рождестве Христовом.

"В Вифлееме между тем уже распространился слух о таинственном Младенце, который был рожден в загоне для овец. Местные пастухи первые видели Его и говорили о чудесном видении, которое возвестило им о Младенце. Юная Мать, прибывшая в Вифлеем со своим мужем-опекуном во время переписи, жила теперь в одном из домов города, хотя вначале она не имела пристанища"...

"...Мир встретил грядущего к нему Спасителя угрозами и ненавистью. Но это был не весь мир. Те, кто верил и ждал, кто был чист сердцем и полон надежд, встретили Его иначе. Вифлеемские пастухи, благочестивый старец и восточные мудрецы признали в Нем Царя и поклонились Ему" (стр. 38-40).

Так вводится в повествование мысль о разделяющем мече духовном.

Первое подробно описанное в книге "Сын Человеческий" чудо — это первое чудо Самого Спасителя, претворение воды в вино на браке в Кане. Мы узнаем о нем, уже привыкнув достаточно к спокойному повествовательному тону книги, оно является на фоне страстий Господа по цветущим полям и рощам Галилеи, сразу вслед за словами: "Он всюду нес радость; Он благословлял жизнь, и это благословение преображало ее" (стр. 68). Наше внимание сосредоточено здесь не столько на мистическом, прообразовательном смысле чуда, сколько на мысли о силе Божественной любви несущей радость в мир: "...истинная радость, истинная жизнь может быть только там, где среди людей присутствует Он" (стр. 70). Далее чудесам Иисуса посвящается отдельная глава.

"Вера твоя спасла тебя" — говорил Господь, ставя таким образом возможность исцеления от недугов души и тела в прямую связь с верой больного. Связь эта прослеживается во многих событиях: и в исцелениях больных "по вере их" или по вере их близких, и в маловерии Петра, которое чуть не стало причиной его смерти, и в неверии назарян, из которых Господь смог исцелить лишь немногих, и, наконец, в печальных словах: "...вы ищете Меня потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище телесной, а о пище, пребывающей в жизнь вечную...". Связь эта объясняется тем, что: "горячая молитва и глубокая вера как бы поднимают человека от земли, делают его сопричастником сверхчувственного, запредельного мира и дают ему господство над материальным миром. В молитве и вере человек разрывает завесу, отделяющую нас от вечного Источника сил" (стр. 116).

Исцеления больных и бесноватых, умножение хлебов, претворение воды в вино, хождение по водам, прекращение бури — все эти чудеса Господа, не имеющие на первый взгляд ничего общего между собой, имеют, однако, в своей основе один, все освещающий смысл: они суть знак новой жизни, жизни в Царстве Нового Завета, где стихийные силы подчиняются Сыну Человеческому, "слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, и мертвые воскресают..." (Исаия 29,18; 35,5-6).

Таким образом тема чудес оказывается тесно сплетенной с основной темой книги, не случайно названной "Сын Человеческий". Здесь сознательно и планомерно подчеркивается Богочеловечество и Богосыновство Спасителя, подчеркивается мысль о двусторонней связи, которая возникла однажды в истории и постоянно вновь возникает в жизни каждого человека, когда порыв человеческой веры устремился навстречу вечно изливавшемуся потоку Божественной любви.

Новый порядок жизни, явленный миру в этой встрече, высвобождающий целящую и спасающую силу Божию, именуется в Евангелии Царством Божиим, Царством Небесным.

"Евангелие Царства" — так назвал автор главу, которая повествует о том, что Иисус Христос принес на землю благую весть об этом новом порядке жизни, о Царстве Божьем, Царем которого Он провозглашает Себя. "Только через Него человек может достигнуть истинного блаженства в общении с Отцом, поэтому Он есть единственный истинный Спаситель мира. Здесь мы вступаем в область самого таинственного и решающего в Евангелии. Здесь мгновенно разверзается непроходимая пропасть между Иисусом Назарянином и всеми пророками и основателями религий. "...Он говорит не от имени Бога, а как Бог. Он обещает спасение

уверовавшим в Него. Он прощает грехи, Он испытывает сердца” (стр. 92).

Однако, спасение от греха, приближение к Царствию Божию не есть легкий и безболезненный процесс. Христианство — не буддизм и не толстовство. Достижение Царствия Божия требует борьбы. Эта борьба идет непрестанно в течение всего исторического существования христианства и в течение каждой человеческой жизни. “...историческая руда должна будет пройти через огненное очищение прежде, чем пробьет час всемирного преобразования” (стр. 85).

Так в радостный и светлый рассказ о жизни и проповеди Иисуса из Назарета врываются нотки трагизма.

В главе “Тайна Сына Человеческого” читатель уже стоит лицом к лицу с мыслью о неизбежности Голгофы. Эта небольшая глава необычайно насыщена богословски. Она содержит почти все основные христианские представления. Мы говорим почти все, так как автор, верный своему художественному чутью, не позволяет себе выходить за рамки исторической правдоподобности, и в книге, кончающейся Вознесением, не останавливается подробно на догмате тринитности.

Мы находим здесь очень четко изложенное представление о грехопадении, о свободе воли человека, о бесплодности исторических попыток человечества своими силами освободиться от последствий грехопадения, об идее союза Бога и человека в религии Израиля, и, наконец, об ожидании Мессии-Освободителя. Мы узнаем также, что “недаром Евангелия написаны не в виде поучений, а в виде жизнеописания... великой и неповторимой Личности”, т. е. в центре христианства “стоит Личность Богочеловека, Иисуса Христа, через Которого небо соединяется с землей” (стр. 134).

Личность, а не идеи, хотя бы и самые прекрасные. “Он не покорял людей очевидностью Своего могущества. Он не применял силу, а оставлял неприкосновенной свободу человека. Он не хотел рабов, а хотел сынов, которые бескорыстно полюбят Его и пойдут за Ним, за Распятым Плотником из глухой провинции”. Для избранных учеников проткрылась завеса тайны, их осиял Фаворский свет, но все еще непостижимой оставалась и для них мысль о страдающем Мессии.

Все чаще вместо слов утешения и милости с уст Спасителя срываются слова обличений и горьких пророчеств. Одиночество Его растет, толпы последователей редуют, печальные слова, обращенные к ученикам: “Не хотите ли и вы отойти?” говорят сами за себя.

Здесь автор подводит нас к перевалу, с которого уже явственно видны маслины Гефсимании и высота Голгофы. Даже самые близкие Господу люди далеки от истинного понимания события, совершающегося на их глазах. Сыновья грома делят места у трона Мессии, Симон думает о человеческом... Он сказал страшные слова, заставившие содрогнуться даже самых мужественных учеников: “Огонь пришел Я принести на землю и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься и как я томлюсь пока это совершится! Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение” (стр. 145).

Незаметно светлый и теплый колорит книги меняется, тени сгущаются. Мы видим не великолепие торжественного въезда Царя в принадлежащий Ему по праву город, а едущего на осле печального Человека, погруженного в свои думы. Паломники, ученики и дети встречают Его восторженными кликами. При виде Иерусалима слезы появляются на Его

глазах: “О, если б и ты хотя в сей день твой узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто отныне от глаз твоих” (Лк. 19,42). “Он думал о горьком жребии народа, который оказался во власти пагубных иллюзий” (стр. 159).

Эта картина очень далека от нашего привычного представления о Входе Господнем в Иерусалим, преломленного через праздничность службы Вербного Воскресения, в которой так радостно-уверенно звучит мотив близости общего Воскресения.

С этого момента тема кенозиса, уничтожения Господа, уже не перестает звучать в повествовании. Все ускоряется темп рассказа, укорачиваются главы и фразы. Читатель, хорошо знакомый с Евангелием, может посоветовать на то, что Тайной Вечери и Гефсимании уделено в книге так мало места. Но дочитав главу “Иисус на кресте” мы невольно соглашаемся с автором, поняв, что неуклонно нарастающая трагичность не оставляет места для лишних слов. В этой части книги больше всего прямых цитат и близких к евангельскому тексту пересказов. Автор как бы оставляет читателя наедине с ужасом и необычайностью свершившегося, а сам умолкает, отходит в сторону.

Неправедный суд, бичевание и издевательства черни, ужас медленной мучительной казни, оставленность друзьями, которых Он три года учил, три года облегчал их страдания... И, наконец, мрак богооставленности.

Несколькими фразами автор дает нам понять, в какую страшную бездну пустоты и отчаянья погрузились ученики Иисуса после распятия. “Что оставалось им теперь? Вернуться в Галилею и снова начать ловить рыбу...”

Эти главы — едва ли не самые удачные во всей книге. Рассказ о Воскресении Христовом не уступает им, однако, по силе и яркости.

Автор заставляет нас как бы заново увидеть и пережить всю остроту той неожиданности и внезапности, с которой души учеников оторвались от безграничного отчаяния и погрузились в сияние пасхальной радости. Мы как бы шаг за шагом следуем за женами, Петром и Иоанном к пустому гробу, разделяем их изумление и их нетерпение понять, вместить... Разделяем мы и сомнение Фомы.

Уверению Фомы посвящено отдельное авторское отступление, особенно ценное сейчас, когда столь многие из нас не без оснований могут считать ап. Фому своим патроном. “Вера — это не простое доверие к услышанному, вера — дар Божий, но он действителен только тогда, когда воля наша не противится обладанию этим даром... Апостол Фома, когда говорил “не увижу — не поверю”, уже почти уверовал, уже почти проникся верой в воскресение... Поэтому-то Церковь говорит о “Добром Фомином неверии” (стр. 208). Таким образом Господь здесь, как и всегда и везде не нарушает свободы человека, а идет навстречу его свободному стремлению к вере. Далее идут строки, обращенные непосредственно к нашему современнику:

“И у каждого человека, воля которого открыта Свету, есть в жизни момент, когда он явственно слышит голос Божий, и уже от него зависит, внять ли этому голосу, или нет... Никакое, даже самое строгое доказательство истины не может заменить живого переживания, живой веры. Вера не доказывает себя, а показывает...” (стр. 209).

Далее следует блестящее по краткости и психологической убедительности опровержение различных объяснений факта Воскресения Христова, которые мы находим у атеистов разных толков. При этом А. Боголюбов особенно подчеркивает, что “все основание христианства заключается в факте воскресения Иисуса, Его победы над смертью”. Воскресение Христово и его значение в истории человечества рассматривается по Вл. Соловьеву, из писем которого даны довольно обширные выписки. Все рассуждение завершается словами св. Иоанна Златоуста: “Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь воцарилась!”

Прекрасный заключительный аккорд представляет собою эпилог, кончающийся молитвенным обращением:

“Дай же и нам, Божественный Учитель, силу их веры, несокрушимость их надежды и огонь их любви к Тебе. Сквозь рев и грохот технического века — столь могущественного и одновременно столь бессильного и нищего — дай нам услышать тишину Вечности.

Когда на темной жизненной дороге заблудившиеся, усталые и растерянные, мы остановимся, не зная куда идти, ошупью отыскивая опору, дай нам увидеть среди бури Твой ясный Лик и услышать Твой ободряющий Голос, говорящий нам. “Я с вами во все дни до скончания века”.

\*\*

Мы позволим себе отметить отдельно некоторые частности:

Останавливает наше внимание истолкование мотивов предательства Иуды, восходящее к толкованию блаженного Феофилакта. Причиной предательства оказывается, было не одно сребролюбие. Точнее сказать, корыстолюбие Иуды глубже и опаснее простого воровства, хотя, как известно, он и этим не брезговал. Его корыстолюбие, неразрывно связано со властолюбием и коренится в одном из самых страшных для человеческой души соблазнов: в соблазне подмены небесного идеала земным. Так, Иуда, вместе со множеством своих современников, представлял себе будущее Царство Мессии в виде земного царства Израиля. А в таком царстве он, казначей в общине воцарившегося Учителя, мог рассчитывать и на почет и на богатство... Когда же “Иисус прямо объявил ученикам, что Его смерть близка...” ему представилось, что Учитель обманул его надежды. “Иуда... окончательно разочарованный, принял предложение священников и книжников предать своего Учителя” (стр. 169). “Быть может он до конца тайно надеялся, что восстание или чудо освободит Иисуса, если Он действительно Мессия”, и когда эта надежда не оправдалась, он наложил на себя руки.

Такая трактовка не только интересна, как психологическое раскрытие внутренних мотивов действий Иуды, она дает также объяснение факту, который иначе остается необъяснимым: почему Иуда согласился на столь ничтожную плату? Если б он был простым вором, в его интересах было бы как можно дольше сохранять свое место при общей кассе, и, уж во всяком случае, он потребовал бы высокую плату за предательство.

Из литературных примеров А. Боголюбова следует отметить прием остранения изложения некоторых евангельских событий. Вот несколько примеров: “В Вифлееме... распространился слух”, “местные пастухи первые

видели Его и говорили о чудесном видении... (стр. 38), “рассказывали еще, что когда “Мать ходила в Иерусалим...” (стр. 39). “О его /Иуды/ смерти еще долго ходили страшные слухи” (стр. 184). “По городу поползли зловещие слухи: говорили, что землетрясение повредило брусья, на которых держалась завеса в храме; завеса разорвалась сверху донизу...” (стр. 199). Такое преломление событий через чьи-то рассказы или слухи создает атмосферу зыбкой таинственности и вызывает у читателя желание убедиться в реальности этих событий, оно как бы провоцирует активное отношение читателя к прочитанному.

К сказанному о литературных достоинствах книги мы добавим несколько слов о ее языке. Он поражает легкостью, свежестью и простотой. Это та простота, которая кажется людям двадцатого века безнадежно утраченной и так же давно забытой, как забыта нами простота детского восприятия мира. Стиль А. Боголюбова соприкасается в этой простоте с лучшими традициями прозы XIX века, оставаясь в то же время вполне современным. Современность его — прежде всего в лаконизме, в некотором однообразии эпитетов, в обилии кратких, а местами и нарочито укороченных фраз.

Повидимому все эти качества языка не случайны и не столько характеризуют манеру мышления автора, сколько сознательно избраны им, как наиболее соответствующие содержанию книги. Действительно, большее богатство лексики могло бы увести в сторону воображение читателя и тем самым лишь ослабило бы впечатление, лишь обеднило бы смысл евангельского рассказа. Автор удачно миновал Сциллу риторической красоты и Харибду скучной подробности изложения. Местами автор прибегает к модернизации отдельных слов и выражений. Очевидно, эта модернизация также проводится как сознательный прием и восходит к совету св. Иоанна Златоуста приближать события к современному читателю настолько, чтобы он мог почувствовать себя как бы свидетелем или участником их. Например, говорится не “воин”, а “солдат”, не “тысячачальник”, а “полководец”, не “взятие под стражу”, а “арест” и т. п. Не везде, впрочем, такая модернизация удалась. Например, фраза: “Христос отверг их грубые материалистические представления” (стр. 163) лишь выиграла бы без надоевшего слова “материалистические”. К сожалению, в книге немало подобных шероховатостей.

К недостаткам книги следует отнести слишком краткий и потому не оставляющий следа в душе читателя рассказ об искушениях Господа в пустыне. Нам думается, что после Достоевского уже нельзя так легко обращаться с этим текстом. Не убеждает нас также фраза: “И Будда и Сократ и Исайя и Сенека учили той же морали”. Внимательный читатель может догадаться, что автором здесь руководило желание подчеркнуть, в противовес учению Л. Толстого, мысль, что свидетельство Самого Иисуса “о Себе и Своем учении отнюдь не похоже на простую нравоучительную проповедь” (стр. 134). Однако, в таком случае следовало сказать, что дохристианские учителя человечества так же учили **возвышенной** морали, но они никак не могли учить **той же морали**, что Иисус, так как его моральное учение неразрывно связано с Его Личностью. Очевидно, здесь допущено простое стилистическое недоразумение.

Есть в книге и бросающиеся в глаза опечатки. Например, легко догадаться, что Петром владел порыв **веры**, а не **ветра** (стр. 119), что имеется

в виду война **внутри** государства (стр. 118), и т. п. В общем же книга оформлена очень приятно, снабжена многими иллюстрациями и ценными приложениями. Среди них особенно выделяется обширный очерк "Миф или действительность?".

В этом очерке подробно разобраны и весьма убедительно, а местами и очень остроумно, опровергнуты попытки мифологической школы объяснить происхождение христианства. Очерк этот далеко не устарел, так как в русской популярной литературе, к сожалению, мифологическая теория продолжает свое существование и по сей день. Нам представляется весьма желательным издание его отдельной брошюрой. Эту брошюру прочли бы те читатели, которые настолько предубеждены против христианства, что не решаются взять в руки книгу под названием "Сын Человеческий". А в то же время ее с интересом прочтут многие верующие христиане, страдающие от недостатка исторических познаний.



В заключение необходимо сказать, что А. Боголюбову удалось самое трудное и самое главное: живой облик Спасителя пронизал Собою повествование. И оттого, когда мы закрываем книгу, в душе остается ощущение ясности, неуловимое дуновение той лучезарной духовности, которое заставило ап. Петра воскликнуть "Хорошо нам здесь".

Свет Христов просвещает всех, но каждый видит его очами **своей, личной** веры. И хочется благодарить автора за то, что он не утаил под спудом свое глубоко-личное видение Света — Лица Христова, а потрудился передать его всем, ищущим Истину.

Большая благодарность издателям, выпустившим нужную книгу и вложившим много любви и труда в ее оформление.

**Борис Петровский.**

Прот. Николай Афанасьев, **Церковь Духа Святого**. Париж 1971, YMCA-PRESS, 332 стр.

Вышла, наконец, в свет книга о. Николая Афанасьева: **Церковь Духа Святого**. Это его большая работа, известная до сих пор лишь по некоторым, более или менее случайным отрывкам. Написать настоящую рецензию на этот многолетний и многосторонний труд покойного учителя означало бы написать новое, довольно объемистое исследование. Столько здесь затрагивается важнейших богословских вопросов. Надо, однако, прежде всего остановиться перед тем живым образом большого православного богослова, который снова перед нами встает со страниц этой книги.

Можно сказать, что богословское творчество о. Николая зиждется преимущественно на двух основах. Это — постоянное обращение к первоисточникам и живая богословская интуиция тайны Церкви — Тела Христова. О. Николай никогда не поддавался искушениям богословствовать "просто" — от своего ума. Начинал он писать свои работы, как он сам признавался своей жене, "слезами и кровью своего сердца". Об этом мы узнаем из очень ценной вводной статьи М. Афанасьевой: "Как сложилась **Церковь Духа Святого**". Но его взор при этом всегда был

обращен к Божественному Откровению, к истокам церковного Предания, к глубинам сознания самой Церкви.

О. Николай чувствовал себя больше всего историком ранней Церкви. Он всегда искал встречи с той истиной, которая неизгладимо засвидетельствована в первоисточниках нашего знания о начальных годах и десятилетиях жизни Церкви — несмотря на всю сложность задачи для нас теперь расшифровать со всей возможной точностью их свидетельство. Надо видеть и понимать творчество о. Николая прежде всего в свете его связи с традицией церковно-исторической "школы" внутри русского богословия 19-го и начала 20-го века. С этой традицией связывает его уже имя его учителя историка Церкви А. П. Доброяклона. Значение этой традиции — может быть, самой ценной — в истории русской богословской науки, к сожалению, в наши дни недостаточно создается. И поэтому редко кто из читателей о. Николая правильно разгадывает его богословскую генеалогию. Но именно его историческое чутье, утонченное непрестанным углублением в источники, солидность его исторической аргументации и связанная с этим способность его богословствовать на основании Писания поражали многих слушателей о. Николая и составляли его славу в богословских кругах внутри и вне ограды Православной Церкви. В своих трудах он находится в постоянной беседе с священными авторами новозаветных Писаний, преимущественно с апостолом Павлом. Мы находим его всегда в оживленном диалоге с Отцами — особенно раннего, доникейского периода и с авторами канонических правил. Непременное обращение к источникам у о. Николая не только обычный прием его научной работы. Оно имеет силу личного свидетельства для нас, его читателей и учеников, о том, где нам искать основы настоящего богословского ведения: в живом общении с Словом Божиим и с Преданием Церкви.

У о. Николая был несомненный дар ясно видеть перед собой основные идеи своего богословствования. Главная его тема, конечно, — тайна Церкви осуществляющаяся в евхаристическом собрании. Помню, как в беседе с одним протестантским богословом о. Николай на вопрос, что такое Церковь, прямо ответил указанием: Тайная Вечера. Книга "Церковь Духа Святого" является ответом о. Николая всем тем, которые — начиная с Тертуллиана и до либеральных богословов наших дней — соблазнились перед исторической плотью Церкви. Напрасно ищут эти соблазненные помимо того Тела Церкви, который создается Духом через евхаристическую Тайну, еще какой-нибудь иной "церкви", якобы "духовной", "харизматической" или же "невидимой". Все харизмы благодати даются в той Церкви, которая основана на апостолах и которая строится Духом по образцу Тайной Вечери. И всю структуру Церкви надо видеть в свете того порядка, который предначертан собранием Христа с учениками на этой Вечери. Это, в частности, относится к самому высшему служению в Церкви — епископскому. Епископ не есть "князь церкви", а прежде всего — предстоятель евхаристического собрания, продолжающий то служение, которое исполнял Христос на Тайной Вечере. Как "предстоятель братьев" (по выражению Иустина мученика) епископ — или заменяющий его пресвитер — в собрании Церкви занимает то место, которое занял Христос на Вечери среди учеников, и исполняет Его служение: возносит благодарение над Хлебом и над Чашею. Мифу о том, что в начале церковной истории якобы царил

какая-то "благодатная анархия", о. Николай противопоставляет тот строй, который с необходимостью вытекает из Трапезы Господней и заключается в самом существе Церкви как Тела Христова. Для о. Николая этот строй Церкви первоначально носил характер не правовой, а только лишь благодатный. Благодать Духа есть начало жизни, но жить может не анархическое сочетание отдельных атомов, а только тело как стройный организм.

Отстаивая органическую структуру Церкви, о. Николай не закрывал глаза перед трагическими явлениями на путях церковной истории. Здесь у него встает вопрос о недожном вторжении правового начала в благодатную жизнь Церкви. Этим вопросом томился он всю свою жизнь. Занимая сам кафедру церковного права, он — как это ни странно — отрицал за юридическим началом "право жительства" в Церкви. Можно, конечно, здесь спорить относительно терминов. И разве о. Николай не сам признавал, по крайней мере в ранние годы, за церковными правилами некий правовой характер "sui generis"? Дело не в терминах, а в принципиальной разнице между властью в Церкви, властью любви и истины, и мирской, земной властью. "Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются; а вы не так..." (Лук. 22,25). И нельзя уподоблять структуру Церкви какому бы ни было государственному строю. Отсюда предостережение о. Николая перед смещением понятия о Церкви как "народе Божиим" с государственными формами парламентаризма. Принципы государственного строя, как они сами по себе ни ценны и необходимы в области государства, в конечном итоге никогда не поддаются отождествлению с началами жизни благодатного организма Церкви.

Наряду с выражением его живой богословской интуиции мы находим в трудах о. Николая и смелые личные умозаключения. В частности, о. Николай не боялся прибегать к построению своих личных научных гипотез. И он настойчиво защищает право научной гипотезы в исторической работе (см. "Церковь Духа Святого", стр. 208). Нельзя не согласиться в принципе с этим. Но вместе с тем иногда трудно не спорить с той или иной конкретной гипотезой о. Николая, с тем или иным выводом, сделанным им из его основной, всегда верной интуиции. — Это, напр., относится к его предположениям относительно ранней истории чина епископского поставления. — А с другой стороны, научная дискуссия с о. Николаем всегда не легкое дело, требующее от его собеседников хоть малую долю причастности к той же интуиции и к тому же вдохновению. Кроме того, надо помнить, что о. Николай касается многих вопросов, которые в богословской науке наших дней еще не нашли разрешения, а иногда обходятся молчанием. Уже поэтому появление его книги должно иметь значение некоего события в истории этой науки. И можно надеяться, что оно вызовет оживленные дискуссии среди ученых друзей о. Николая и приобретет ему много новых друзей.

Самая глубокая сила книги о. Николая в том, что она снова ярко свидетельствует о его личном опыте тайны Церкви — Тела Христова. Вижу перед собою ранние воскресные службы на Сергиевском Подворье двадцать лет тому назад: на клиросе поют несколько студентов и друзей — среди них нынешний священник о. Георгий Дробот, нарисовавший теперь изображение собрания Церкви на обложке книги; а в алтаре малого придела, за старинными царскими вратами, носящими

образы святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста, стоит о. Николай Афанасьев и возносит Евхаристическую Молитву Церкви. И слышу я, как он произносит на литургии Василия Великого слова благодарения за то, что Христос стяжал нас себе "люди избранны, царское священство, язык свят"...

Епископ Георгий (Вагнер)

## ОБ ОДНОЙ РУССКОЙ СЕМЬЕ \*)

Наиболее чуткая, духовно взволнованная часть молодежи в Сов. России ищет соприкосновения с русской духовной культурой, насильственно подавленной после Октябрьского переворота. В этом соприкосновении — надежда на возрождение, на победу света, на новый расцвет русской культуры. Там, в России, переписываются и читаются произведения свободных русских мыслителей, Н. А. Бердяева и других.

Однако, недостаточно приобщиться к идеям, к духовной проблематике "на высшем уровне". Для восстановления "связи времен" необходимо почувствовать все единственное своеобразие жизни дореволюционной России, почувствовать особый воздух ее, когда, при всех несовершенствах строя, была особая внутренняя свобода в отношениях между людьми. Знаменательно было обилие оригинальных людей, своеобразных характеров — не было наложенного сверху штампа. Сильная, творческая личность могла очень много, даже во времена Николая I-го, а в 20-м веке общественная инициатива творчески преобразовывала страну.

Молодежи, особенно в России, совершенно необходимо глубоко почувствовать все качественное своеобразие этой России, которая и создала свою единственную культуру. Книга, о которой я пишу, как раз дает такую возможность.

Хроника рода Зерновых — не только рассказ, но и ряд образов, часто художественных и всегда убедительных — образов людей трех поколений семьи Зерновых и семей, связанных с ней родством. Служение церковное у прот. Стефана Зернова и широко общественное в следующем поколении и не только общественное служение, но и личное влияние, непосредственное и животворное.

Не могу даже перечислить всех, о ком рассказывается в воспоминаниях доктора Михаила Степановича Зернова, широко известного в бывшей России и столь памятного русской эмиграции; в воспоминаниях жены его, Софьи Александровны и детей их, Николая, Софьи, Марии и Владимира, а также жены Николая Михайловича, Милицы Владимировны, урожд. Лавровой. У родителей — воспоминания начиная со времени их детства, яркие, часто мастерские. Воспоминания их детей перекрещиваются и дают увлекательную картину жизни и событий, отраженных у каждого по своему. Встает проблема судьбы общей и личной, в особенности в христианском их аспекте.

"На Переломе". Три поколения одной московской семьи YMCA-Press, Париж, 1970, 478 стр.

Высокая вера, строгая, взыскательная духовность и чудесная доброта прот. Стефана, совершенно исключительного пастыря, наложили светлую печать на душевный строй и всю деятельность Зерновых.

Общественные достижения Михаила Степановича (санатория для малоимущих на Кавказских Минеральных Водах, детские приюты, библиотеки и многое другое) — живое доказательство возможности преодолеть все препятствия и добиться успеха в общественной работе в дореволюционные годы, если бескорыстно вложить всю душу в свое дело, со всей волей и даром инициативы.

В ряде увлекательных страниц рассказывается о дружеском общении семьи Зерновых с элитой тогдашней России. При чтении этих страниц, читатель почувствует, что всяческое общение в те времена происходило без всякой опаски и оглядки — и мысль об этом не могла бы прийти в голову.

Жена Михаила Степановича, Софья Александровна, урожд. Кеслер, была выдающимся педагогом и неизменной помощницей М. С. Я имел счастье быть хорошо знакомым с нею, и мне запали в душу слова ее духовного отца, о. Сергия Булгакова, на первой панихиде о ней, в день ее кончины: "Моя встреча с Софьей Александровной была большим событием в моей духовной жизни".

Несколько глав книги посвящены воспоминаниям о первых годах революции. В противовес созданной несколькими сов. писателями своеобразной "романтике" гражданской войны, читатель познакомится с "романтикой" белого движения.

Однако, политические суждения о времени революции, в особенности революции Февральской, кажутся мне неоправданными в этой книге.

Немало русских родов хорошо послужили России и ее культуре. Зерновых отличает их глубокая религиозность. Их личное и общественное служение одушевлено Православной Верой и им нечужд, в знаменательные минуты жизни, некоторый мистический опыт.

Скажу в заключение, что об этой книге невозможно рассказать, но можно дать понять, что прочитать ее — необходимо.

**Сергей Жаба**

P.S. Вскоре выйдет второй том (тоже под редакцией Ник. Мих. Зернова) о деятельности Зерновых в эмиграции.

## ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

### 25-ЛЕТИЕ СВЯЩЕНСТВА ДЕКАНА СВ.-ВЛАДИМИРСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОТОПРЕСВИТЕРА АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА.

Во вторник, 30-го ноября, в Нью Йорке праздновали 25-летие священства Протопресвитера Александра Шмемана, Декана Духовной Академии.

Юбиляр отслужил раннюю Литургию в академическом храме в том же облачении, в котором его рукоположил митрополит Владимир в Александро-Невском Соборе в Париже, 25 лет назад. Вечером в академическом храме проф. прот. И. Мейендорф отслужил благодарственный молебен с провозглашением многолетий. В храме присутствовали Его Блаженство, Митрополит Иреней, со своим викарием Преосвященным Епископом Вашингтонским Димитрием, профессора и студенты академии.



После молебна о. И. Мейендорф огласил благодарственный адрес от почитателей, профессоров и студентов академии, а также приветственные телеграммы.

Редакция Вестника шлет своему члену и активному сотруднику свои поздравления в связи с исполненным 25-летием священства.

Чествование юбиляра в кругу ближайших академических сотрудников и членов церковного управления, явилось неожиданным для самого юбиляра. Вечером, на торжественном ужине в академической аудитории проф. С. С. Верховской приветствовал юбиляра кратким словом, в котором отметил достижения о. Александра в осуществлении в Америке высшего богословского образования, с получением для студентов ученых степеней. Чувствовалось в речах, что юбиляр пользуется искренним уважением, любовью и благодарностью за его неутомимую деятельность, духовное руководство и преданность Св. Церкви.

Митрополит Ириней благословил о. Александра обновленным образом Успения Божией Матери, полученным им из Харбина в благодарность за то, что он оттуда выписал 240 семейств русских беженцев. Протопресвитер А. Шмеман в своем ответе подчеркнул свою благодарность Господу Богу за Его милости в течение 25-ти лет, сказав, что если бы ему пришлось начать снова жизненный путь, то он без сомнения пошел бы по тому же пути.

От этого празднества осталось светлое и радостное чувство.

## II-ой ВСЕАМЕРИКАНСКИЙ СОБОР АВТОКЕФАЛЬНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

По приглашению Митрополичьего Совета, я имел счастье присутствовать, в качестве официального гостя, на II-ом Соборе американской Православной Церкви, имевшем место с 19-го по 21-ое октября в Свято-Тихоновской Семинарии (Пенсильвания).

Я поехал на Собор не из любопытства, а чтобы проверить на месте свое убеждение в правильности пути, избранном бывшей русской Митрополией в Америке. Читатели «Вестника» помнят, как безоговорочно вся редакция поддержала решение Митрополии стать автокефальной Церковью и, не дожидаясь общего согласия всех Церквей, получить эту автокефалию на каноническом основании из рук Московского Патриархата.

Все мои наблюдения на трехдневном съезде лишь подтвердили мое двойное убеждение в том, что 1) Митрополия доросла до автокефалии и в том, что 2) получение из рук Московского Патриархата этой автокефалии не нанесло ни малейшего ущерба новой Церкви.

I. — Размеры новой автокефальной Церкви внушительны. 300 делегатов от духовенства и мирян поровну представляли около 200 приходов. Среди делегатов русских эмигрантов совсем мало: огромное большинство — американцы уже во втором поколении. Средний возраст священников примерно 45 лет. Особо выделяются священники — воспитанники Свято-Владимирской семинарии, богословски образованные, целеустремленные и одухотворенные. Есть и прекрасные воспитанники Тихоновской семинарии (напр. священник Харрис, миссионер на Аляске).

Собор носил деловой характер: ему надлежало обсудить и принять Устав. Компетентная комиссия (под председательством епископа Дмитрия Ройстера, природного американца) составила прекрасный проект в духе постановлений Собора 1917 года с применениями к американской ситуации. Многие пункты вызвали горячие, длинные споры. Еще совсем недавно во многих приходах, в противовес авторитаризму бывших «униатских» священников, миряне относились к священнику, как к наемному пастору. Этот «конгрегационизм» постепенно изживается и в Уставе было определено сказано что «приход возглавляется священником». Во время прений некоторые священники старой формации, как и противостоящие им либеральные миряне высказывали крайние взгляды. Однако при голосовании торжествовала всегда правильная, средняя точка зрения, сохраняющая возглавление священником при большой ответственности мирян. Только в одном, незначительном пункте, сказался консерватизм делегатов: огромным большинством было отказано женщинам быть делегатами на Соборах.

Но в основном Собор показал, что бывшая Митрополия доросла до автокефалии не только по своему количеству, не только по степени своей американизации, но также в силу своей церковной зрелости.

2. — Однако обыкновенно автокефалию оспаривают (Р. Гуль, о. А. Киселев и другие) не по церковным мотивам, а по политическим. Мол, получить автокефалию от Москвы значило — подчиниться Москве. Собор показал **полную несостоятельность** этой точки зрения. Достаточно сказать, что на Соборе не было даже наблюдателя или гостя от Московского Патриархата. А обращение к христианам, принятое Собором по предложению епископата, свидетельствует что Американская автокефальная Церковь не перестает бороться за свободу совести и вероисповедания всюду где эта свобода поправа, и, в первую очередь, в России (см. Вестник № 100, стр. 324).

Итак Собор меня окончательно убедил в правильности выбранного пути. Но на нем я почувствовал сколько еще потребуется времени и усилий для распространения автокефалии на другие православные группировки в Америке. Пока, помимо американской русской Митрополии, в Автокефальной церкви состоят Румынская епархия и, с 14-го октября 1971 года, албанская. Предстоятели этих двух Церквей являются полноправными членами епископского Собора. Но за пределами автокефалии остаются арабы (правда, последние склоняются к тому, чтобы присоединиться), сербы, болгары, украинцы, и, главное, греки. Последние даже не послали на Собор наблюдателей...

Но Американская Православная Церковь, возглавляемая митр. Иринеем, проложила путь и показала пример. Рано или поздно, быть может через одно поколение, все православные соединятся в одну поместную Православную Церковь в Америке.

**Никита Струве**

## **НЕКРОЛОГИ**

### **ПИСАТЕЛЬ - ПРАВЕДНИК**

29-I-1881—28-I-1972

**Памяти Б. К. Зайцева**

Ушел последний видный участник блестящего русского ренессанса, последнее крупное имя доживающей русской эмиграции, всеми признанная ее литературная слава, а, главное, совесть. Всегда казалось, что редкое долголетие, при неущербленном здравьи, было дано Борису Константиновичу свыше не просто, не только как личный дар, а в утешение эмиграции. Пока с ней Борис Константинович, ей есть чем гордиться, есть к кому прибегнуть, кем защититься. И вот дожил Борис Константинович до того времени, когда эмиграция не только подошла к последней черте, но и потеряла в каком-то смысле свою обособленную *raison d'être*. Писатели живущие в России стали печататься за границей, как у себя, и среди них А. Солженицын стал совестью и славой не только русского народа, но и всего мира.

Голос Б. К. Зайцева был негромкий, но чистый. Когда-то в один из его юбилеев П. К. Паскаль назвал его «тишайшим». Прогреть на весь мир Борис Константинович не мог. Но воплотить в себе лучшие качества русского человека и писателя, стать символом для русской эмиграции, это более скромное, но не малое призвание, было Борисом Константиновичем выполнено.

Он был примером честности и правдивости: за всю свою полувековую эмигрантскую жизнь, Борис Константинович никогда ни на какие общественные компромиссы не пошел. Но при всей твердости убеждений, он был бесстрастен и не запятнал себя никакими, столь характерными для эмиграций, ненужными выпадами или партийными ссорами. Бесстрастие было в его характере, но коренилось оно глубже в его постоянной устремленности к духовным ценностям. Религиозен Борис Константинович был без надрыва и пафоса, коренно, истово, и эта спокойная религиозность придавала его тихим речам вкус и вес.

Благословенная старость... (если не считать долгой и мучительной болезни жены, которую Борис Константинович перенес как подвижник, без малейшего ропота): и седина его почти не коснулась и память не сдала и талант не угас. Восемидесяти лет он написал прекрасную, едва ли не лучшую свою повесть, **Река времен**, достойную стать среди десяти самых удачных русских по-

вестей XX-го века. Еще недавно, он читал наизусть поразившее его предсмертное стихотворение Н. Гумилева (напечатанное в **Вестнике** № 98), о котором написал последнюю свою статью, несколько недель тому назад он справлял Рождество в движенческом Введенском храме, и уже совсем близко к роковому дню, возглавил (до двенадцати ночи) чествование Ф. Достоевского... Для большой речи у него уже не было сил. Он сказал несколько слов в простоте, но, как написал мне в письме, «преклоньше колени». Так у ног «гиганта» закончился литературный путь писателя-праведника, верно и честно служившего русскому слову ни больше ни меньше как семь десятков лет. (\*)

Никита Струве

Епископ АЛЕКСАНДР (Семенов Тянь-Шанский)

## СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ Б. К. ЗАЙЦЕВА

Что такое траурный марш? Это шествие, торжественное, это торжество. Но неужели это торжество смерти? Конечно, нет. Это шествие к свету, а смерть это — мрак. По разному люди понимают этот свет, к которому шествуют. Для одних это Пантеон долгой, но конечно эфемерной памяти человеческой, для других, более зрячих, этот свет это — бессмертие души, для иных уже прозревших, это шествие навстречу светлого воскресения.

Много есть похоронных маршей. Все они начинаются с медленного тяжелого торжествующего шага, в котором чувствуется и шаг смерти. В музыке слышится их звук, их ход. Далее, нередко, как, например, в траурном марше 3-ей симфонии Бетховена, идут рыдания — фугальные всхлипывания, потом нередко болезненно-сладкое воспоминание о жизни любимого умершего человека, а иногда все это заканчивается апофеозом, прославлением, ликованием. Это не всегда удается даже Бетховену, например, финал Егмонта слишком бравурный (хотя Егмонт и не траурный марш).

Ликовать, славить это прямое дело ангелов, их занятие, они к этому призваны; это они подлинны музыканты, а нам дано подслушивать эти небесные звуки. Недаром один четырнадцатилетний мальчик вдруг написал: «По небу полуночи...». Такое подслушивание лучше удается уже не в траурных маршах, а в реквиемах — это уже богослужбная музыка. Мне, только любителю,

(\*) Первый рассказ появился в 1901 г. в газете «Курьер».

а не знатоку музыки, сдается, что это ликование удалось Брамсу в его реквиеме. Там уже по-нашему, по православному просвечивает торжество воскресения. А у него в церковной музыке эта радость, пожалуй, бывает иногда слишком прикрытой. Она есть в аллилуйа, после «надгробное рыдание», но «вечная память» не звучит ли слишком минорно? Не потому ли многие понимают это как призыв нам, людям, не забыть усопшего, а не как утверждение его в вечной памяти Бога, которая и есть вечная жизнь?



К. Паустовский и Б. Зайцев (Париж, декабрь 1962 г.)

Пасхальные панихиды, где все заканчивается пением «Христос Воскресе», полнее выражают то, что должна воплощать погребальная музыка. Эти службы бывают редко, но Церковь, конечно, права, что на долгое время берегает полноту пасхальной радости.

Но музыка траурных маршей звучит иногда в так называемых прозаических произведениях искусства. Если искусство подлинно, то ему без музыки не обойтись. Звучат, поют не только стихи и проза, но и картины и скульптура и архитектура. Музыка — основа, душа всякого искусства. Она в какой-то степени, конечно, абстрактна, но ее нельзя отделить, вылущить ни из одного произведения искусства, которое всегда есть и воплощение. Поэтому так скучны и бессильны современные попытки все в искусстве превратить в одну абстракцию.

Среди недавних литературных произведений музыка особенно слышится в двух повестях: Б. К. Зайцева и А. И. Солженицына.

Это повесть первого «Авдотья-смерть» и «Матренин двор» второго. В этих повестях русская старая литература и новая — пореволюционная как бы подают друг другу руку. Происходит рукопожатие и как бы передача наследства.

В сущности, каждая человеческая жизнь это траурный марш, но не всегда музыка его слышится. А вот обе повести, о которых идет речь — так похожи на похоронные марши.

Бедная Авдотья вся предназначена изжить себя в неустанных заботах, в метании туда-сюда, чтобы наконец, этого не сознавая, измученной пасть и вознестись туда, где для мучеников готовы их венцы. Но она не праведница, как Матрена Солженицына, она только мученица. В Матрене есть жестокость, грубоватость, но есть и свет. Подлинный свет в этой повести просвечивает в русской барышне Лизе, одной из последних духовных наследниц Тургеневских девушек.

У Солженицына Матрена также мечется все время, но жертвенно, бескорыстно. Она праведница и мученица. Как и у Зайцева, повесть эта не идиллия; корысть и жестокость окружают Матрену. В этом несхожесть двух повестей. У Зайцева добра больше вне и около его героини, у Солженицына, наоборот, зло находится вне и около нее. И все же у обеих есть и сходство. Обе — Авдотья и Матрена схожи тем, что живут каждая своей собственной жизнью, такой, которую ни революции, ни войны и ничто внешнее не могут существо их изменить. Поэтому оба образа как бы дополняют друг друга. Да, обе живут той своей подлинной жизнью, которая была бы примерно той же при любом режиме.

Поэтому так нетрудно представить, что Авдотья Зайцева и Матрена Солженицына — это образ России, той, которую можно калечить, замучить, но нельзя убить духовно. Эта Россия, порою жестокая, порою самозабвенная, всегда жива в своих заботах, то чисто жертвенных, то исполненных героической, но скрытой борьбой за свое существование. Как все живое, так и Россия обречена на смерть, но за смертью ее видится Воскресение.

У Зайцева — душу измученной хотя бы и не бескорыстной Авдотьи подхватывают, чтобы ввести в светлый мир (во сне Лизы) частично умученные ею, но не брошенные ею, ее сынок Миша и старуха мать. У Солженицына подвиг Матрены венчается скорбью ее воспитанницы Киры и вещим молчанием сидящей на печи безымянной, древней старухи (образ какой-то надмирной мудрости) и, наконец, словами ее жильца — повествователя — Игнатича.

Если было сказано выше, что каждая человеческая жизнь есть в сущности похоронный марш, то обе повести — Зайцева и Солженицына, — нельзя этого не почувствовать, описывают жизнь своих героев в форме очень похожей на траурный марш.

С первых слов этих повестей слышится шаг смерти; У Зайцева, например, в угрозах холода и зимы, в повести «Матренин двор» в мышинной возне. Эти лейтмотивы все повторяются и усиливаются к концу.

Воспоминательная часть о прежней жизни Авдотьи почти отсутствует, но у Солженицына она очень развита. Потом идут у него притворные и искренние заплачки и слезы. Это настоящая fuga. У Зайцева все это только намечено, а наличие некоторого апофеоза, тихого, не бравурного, имеется и у того и у другого. О чем подробнее уже сказано выше.

Когда читаешь обе повести, невольно вспоминается предание о святом отшельнике, который поддался минутному искушению, вообразив, что выше его никого нет. Но ангел, или глас Божий, указал ему на двух женщин в Александрии, которые в глазах Божиих выше его. Это были две женщины, которые изо дня в день были погружены в свои хозяйственные заботы, принимая их просто, как посланную им Богом участь. Смирением своим и они угодили Богу. Похожи на них Матрена — Солженицына и даже Зайцевская Авдотья-смерть.

Похожа на них, в некоей сокровенной своей сущности и Россия, которую не могли одолеть ни княжеские междоусобицы, ни злая татарщина, ни крепостное право, ни войны, ни бунты, ни революция, которая все еще силится свирепо придушить ее.

Похожи на этих александрийских праведниц и многие наши писатели, особенно Борис Константинович Зайцев и Александр Исаевич Солженицын. Они оба так же — один предавался, а другой еще предается своему писательскому делу, без притязания быть пророками и учителями, а просто зная, что труд их задан им Богом. Поэтому в трудах их так чисто и ясно отражается образ России и забываются (как это отметил в отношении Солженицына о. А. Шмеман) различные русские мессианизмы, что были не на пользу русской душе.

Теперь, когда Господь призвал к Себе Бориса Константиновича, особенно всем знавшим его стал понятнее характер его творений. Светом Христовым светятся его литературные труды.

## В. Ф. МАРЦИНКОВСКИЙ

1884 - 1971

С большим опозданием пришло известие из Израиля, что там 9 сентября 1971 года скончался, в возрасте 87 лет, Владимир Филимонович Марцинковский. Для нынешнего поколения членов Русского Студенческого Движения это имя ничего не говорит, но оно хорошо известно людям более старших поколений, как принадлежащее видному деятелю Движения в дореволюционной России.

Будучи студентом Петербургского университета, покойный участвовал в собраниях студенческого кружка под руководством П. Н. Николаи, основателя Русского Движения. Не легко было студенту-филологу прийти к живой вере во Христа, но под влиянием Павла Николаевича он преодолел свои сомнения, как интеллектуальные, так и волевые. Но это было уже в конце университетского курса, после которого В. Ф. уехал в г. Гродно на место преподавателя словесности.

В своей педагогической работе В. Ф. не скрывал своих религиозных убеждений, в особенности при преподавании русской литературы. Кроме уроков, он проводил вводные лекции на утренних спектаклях для учащейся молодежи, подчеркивая христианский и идейный смысл произведений русских классиков. Результатом таких докладов явился сборник «Утренники», изданный в 1910 г. Помимо этого, В. Ф. вступил в «Общество по распространению Священного Писания» и в летнее время ходил по городам и селам в качестве книгоноши.

Тем временем, П. Н. Николаи, стремясь укрепить Русское Движение более молодыми силами, предложил В. Ф. перейти полностью на работу среди студенчества. Хотя такой переход и ухудшал его материальное и общественное положение, но В. Ф. согласился и с 1913 г. стал секретарем Студенческого Христианского Кружка в Москве. Там он целиком отдался духовной работе: читал доклады, выступал с публичными лекциями, вел группы для изучения Евангелия и живо интересовался религиозными течениями предреволюционного периода.

После революции 1917 г. деятельность В. Ф. принимает более широкий размах. Оживление религиозной и политической жизни давало ему возможность чаще выступать публично. Хотя он всегда говорил от имени Русского Христ. Студенч. Союза, его выступления затрагивали широкие общественные темы. С приходом к власти большевиков В. Ф. начал чтение лекций апологетического

характера и принимал вызовы атеистических лекторов на публичные диспуты. Эти выступления привлекали не только студенчество, но и многочисленные аудитории интеллигенции и рабочих, как напр. при его диспуте с Луначарским, тогдашним комиссаром народного просвещения. Одновременно В. Ф. разъезжал с лекциями по другим городам и университетам, как это интересно описано им в его книге «Записки верующего», изданной в Праге в 1929 г.

Такая интенсивная деятельность В. Ф. привела к тому, что он в 1921 г. был арестован Чрезвычайной Комиссией и пробыл 6 мес. в Таганской тюрьме. В те годы советская власть еще не преследовала «всякую» религиозную деятельность, а поэтому, убедившись, что В. Ф. не связан ни с какой политической группой, он был освобожден. Но так как он и в дальнейшем продолжал свои выступления, то правительство решило его выслать за границу. В начале 1923 г. он уехал в Чехословакию.

Заграничный период жизни В. Ф. только частично был связан с Русским Движением за рубежом. Главная его деятельность состояла из лекций и публикаций общехристианского характера. Он много путешествовал по Европе, принимал участие в различных религиозных организациях, но нигде не занимал какого-либо официального положения. Его давно занимал вопрос проповеди Христа среди евреев, еще в России он выступал в общинах евреев-христиан. В 1930 г. он переехал в Палестину, где и провел остальные 40 лет.

Изучив в короткое время древне-еврейский и арабский языки, В. Ф. постепенно включился в работу проповеди Евангелия среди местного населения и принимал участие в небольших свободных христианских общинах, состоящих из евреев и арабов. Там же он женился на дочери Германо-Американского археолога, производившего долгие раскопки в Палестине. После образования государства Израиль, В. Ф. принял его подданство и продолжал свою проповедническую деятельность, проживая в г. Хайфе, но разъезжая по всей стране. В последние годы он даже принимал участие в передачах на русском языке на радио-станции в Монте-Карло, обращая со своей проповедью к русскому народу. Особенно В. Ф. был удовлетворен тем, что несмотря на арабо-израильскую войну 1967 г., христианские общины, состоящие из арабов и евреев, продолжали свою работу, осуществляя мирное сожительство этих двух народностей.

9-го сентября 1971 г., после непродолжительной болезни,

В. Ф. скончался. Погребен он на христианском кладбище у подножия горы Кармил. Надо надеяться, что его друзья и почитатели в СССР тоже узнают о его мирной кончине.

Протоиерей С. Щукин.

### С. М. ЗЕРНОВА

«Как странно подумать, что меня когда-то не будет на этой земле, что я пишу эти строки и их, может быть, будет кто-то читать и этим прикасаться к моей жизни, а меня не будет...



...И теперь этот мой неизменный путь скоро окончится, и я скоро буду стоять перед вратами таинственной и неведомой вечности...» (\*)

Эта обращенность Софии Михайловны на вечность так характерна для всей ее жизни, и первое, что она находит сказать о себе, первое, что она вспоминает о своем раннем детстве, это память о молитве «которая проникала в наши детские души и тянулась за нами через всю нашу жизнь» (\*\*).

(\*) Воспоминания С. М. Зерновой из книги «На переломе», Париж, 1970, стр. 167.

(\*\*) там же, стр. 169.

Когда оглядываешься назад через всю эту жизнь, наполненную служением любви, в кружках Р.С.Х.Д. в Белграде и Париже, или в Содружестве свв. Албания и Сергия, или в помощи русским безработным, или, конечно, в неустанной заботе о детях — неизменно выступает духовный облик женщины возлюбившей Бога, искавшей и находившей Его в одиночестве, в людях, среди обездоленных, конечно в чаше страданий, которую ей суждено было испытать в последние годы своей жизни.

Из личного общения с Софьей Михайловной, мне остается в памяти, может быть больше всего, ее вопрошание, иногда молчаливое, иногда выраженное, вопрошание о главном, о смысле жизни, о вере, о Православии, о России, о людях: ее светлое и горящее сердце вызывает ответ, укрепляет веру, вдохновляет на жертвенность.

В этой вере безусловной в лучшее, что подчас дремлет в сердцах — тайна того вдохновения и подъема, которые образовались вокруг Софьи Михайловны и которые сделали возможным дело воспитания стольких бездомных детей.

Вся жизнь ее теперь сосредоточивается в молитвенном горении перед престолом Агнца, и вспоминаются слова Тайновидца: «Отныне блаженны умирающие в Господе; да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14,13).

Прот. Борис Бобринский

## ПРОЩАЯСЬ С Г. В. АДАМОВИЧЕМ

Встретился я с ним лично поздно, только в последние годы его жизни. Но знал о нем всегда, буквально — с детства. Еще школьником, в Париже, ждал четверга и двух «подвалов» в двух русских газетах: фельетонов Адамовича и Ходасевича. Ждал с нетерпением и радостью, как чего-то самого насущного. Однако, казался он мне недостижимым, живущим на каком-то недоступном Олимпе.

Только совсем незадолго до отъезда в Америку встретился я с ним на перижской «мансарде» И. В. Чиннова. Настоящая же встреча произошла позднее и виделся я с ним всего лишь несколько раз, но как-то сразу, несмотря на разницу поколений и, по всей вероятности, «мироощущений», отношения стали близкими, скажу с благодарностью — дружескими. И не было в нем совсем ничего «олимпийского», генеральского; он ничего не вешал, не проповедывал. И разговор совсем не всегда был о важном и глубоком. Но было с ним так хорошо, как редко с кем.

...Несколько встреч. Несколько разговоров, один — самый памятный — у него, под крышей, в самые последние часы семидесятого года. И вот, совсем недавно, всего несколько недель тому назад, здесь, в Нью Йорке, у меня.

А теперь больше не будет встреч. Еще одним собеседником, именно собеседником, а не сотрудником, единомышленником, знакомым, стало меньше, а какой это великий поистине Божий дар...

За эти годы много раз писали, что вот с уходом такого-то «кончилась целая эпоха». Но, думается, ни о ком сейчас слова эти не верны так, как о Г. В. Адамовиче. Не мое дело объяснять роль, которая принадлежала ему в эмигрантской литературе. Об этом еще много будут писать и, как полагается, расценивать эту роль по-разному. Ибо был он в центре многих литературных, да и не только литературных, бурь, был деятельным участником эмигрантской литературной «политики».

Все это — вне поля моей личной памяти. Да и с самим Г. В. я познакомился, когда считал он эмиграцию, так сказать, «завершенной» и подводил итоги. Для меня главное, однако, в том, что был он — в некоем, очень высоком, плане, не политическом, конечно, и не злободневном — одним и носителем совести, как последнего мерил и оправдания литературы. Без отнесенности к

совести, литература казалась ему ненужной, не заслуживающей — каков бы ни был ее блеск, ее удача — внимания...

(Напоминал он — русский писатель и критик — о невозможности для русской литературы, не изменив себе, не перестав быть собой, отказаться от этого высшего нравственного мерил.)

Можно по-разному относиться к пресловутой «парижской ноте», можно любить или не любить порожденные ею произведения, но поскольку существовала она, как некий замысел, как внутреннее требование, обращенное к творчеству, поскольку, наконец, она связана с именем Адамовича, суть ее была именно в этом и ни в чем другом. Как критик, как «литератор», Г. В. не всегда мог быть последовательным. Наверное, часто ошибался. Был пристрастным, одних любил, других — недолюбливал. Другим и единомышленникам, возможно, «потакал», недругов «недооценивал». Делал и, кажется, любил делать литературную «политику». А все же в главном был и тверд и верен себе и только это главное было для него важным.

Помню, в тот памятный новогодний вечер заговорили мы случайно о наделавшей много шума книге одного французского журналиста, в которой он описывал свое религиозное обращение, описывал, как он видел Бога... «Но как же он может, — сказал Адамович, — если он действительно видел Бога, писать о пустяках...» Журналист этот пишет ежедневную сатирическую заметку в большой парижской газете.

Трудно, да наверное, и не нужно говорить о религиозной тайне другого человека. Из одного лишь написанного Адамовичем на эту тему видно, что вопрос этот для него был мучительным, неясным, трудным. Чего то в христианстве, в православии, он не видел, не слышал, последние решения и выборы как бы отстранял от себя, иногда как-то ненужно, почти поверхностно, «полемизировал» с Евангелием. Но, вот, была в нем какая-то постоянная и высокая «печаль по Богу», то, чего так часто не чувствуется в благополучных, уверенных, что они всей истиной обладают, верующих, не сомневающих в своей близости к святине и с легкой совестью раздающим кругом себя аттестаты в правоверии и благочестии.

Можно любить или не любить стихи Адамовича, можно, сравнивая его с другими поэтами его эпохи, не признавать его большим, из ряда выходящим, поэтом. Но мне думается, что то, о чем он сам мечтал, сам требовал от поэта — чтобы тот договорился,

наконец, до пяти-шести «как бы случайных строк... И чтобы музыкой глухой они прошли — по странам и морям тоскующей земли» — что эти пять-шесть строк он написал и что их звук, их «глухая музыка» не умрет в русской поэзии.

О том же, что останется навсегда в русской литературе его критика, его «комментарии» и «черновые записи», вряд ли можно спорить. Останутся не как «догма» — ибо, наверное, всегда люди будут спорить обо всем. А останутся как пример того, как приближение к тому, чем должна быть подлинная критика и чем она так очевидно перестает быть в наш век «литературоведения», холодного, научного, объективного, но неспособного на последнее проникновение в последнюю тайну творчества.

Каждому поколению суждено, конечно, провожать своих отцов и предшественников в «путь вся земля». Но горестная, трагическая особенность и судьба моего поколения в том, что расставаясь с нашими предшественниками, мы, каждый раз, со все более острой болью сознаем, что приходит, пришла к концу некая, чудесная «русская эпоха». Адамович был не только одним из последних ее свидетелей. Он сам еще светился ее светом, сам еще был ее присутствием среди нас.

Когда-то Адамович написал о Мережковском и эти слова его, расставаясь с ним, и вспоминая все то, чем Адамович был и что он значил для нас, я обращаюсь к нему. За что наша к нему благодарность?

«За пример органического и музыкального восприятия литературы и жизни. За стойкость в защите музыки. За постоянный безмолвный упрек обыденщине и обывательщине... За внимание к тому, что одно только и достойно внимания, за интерес к тому, чем только и стоит интересоваться. За рассеянность к пустякам... За грусть, наконец, которая чище и прекраснее веселья и все собой облагораживает».

**Прот. А. Шмеман**

## Письма читателей:

### **О ВОЗНИКНОВЕНИИ ДВИЖЕНИЯ**

(дополнения и уточнения)\*)

...Зарождение Движения нужно считать даже и не Пшеров, а Конференцию Всемирной Христианской Студенческой Федерации, бывшей в Лекине в 1922 году в апреле месяце. На ту конференцию собралось около 1 000 делегатов со всего мира. Китайцев было около 400, американцев 70, индусов человек 15, нас русских 11 и т. д. Там встретились мой профессор и друг Л. А. Зандер и я из Владивостока, Лев Ник. Липеровский из Шанхая, А. И. Никитин из Софии (он представлял тогда болгарских студентов), одна делегатка даже была из Москвы, были и из Харбина. Наша группа, особенно названные четыре, собирались каждый день и обсуждали возможность зарождения русского движения или вернее возобновления, т. к. Липеровский и Никитин были старыми членами движения в Москве и в Петербурге под водительством Николаи.

Мы решили прежде всего обратить внимание конференции на трагическое положение русской церкви, а затем обратиться за помощью к председателю конференции д-ру Мотту.

Был составлен краткий насыщенный доклад, т. к. давали нам всего 4 минуты, и Лев Александрович его буквально выпалил на английском языке. Этот доклад произвел потрясающее впечатление. К нам, дотоле неизвестной группе, подходили группами разные люди, жали руки, задавали дополнительные вопросы, бесконечно щелкали «кодаки» и вообще этот, кстати сказать, последний день конференции сделался каким то русским днем.

После обеда была общая поездка на Великую Китайскую Стену, во время которой состоялось обращение к д-ру Мотту. Он благосклонно отнесся к нашим проектам и выразил желание поискать средства на переезд в Европу Л. Н. Липеровского и содержания его с женой в течение некоторого времени для работы на

\*) Сходные уточнения к статье прот. А. Князева нами получены от А. Ф. Шумкиной (Париж) и от В. Липеровского (Аргентина). Прим. Ред.

пользу возможного движения. В том же 1922 году осенью Липеровский переехал в Прагу. Мы с Зандером еще оставались во Владивостоке, хотя уже готовились последовать туда же, что и выполнили в 1923 г. в сентябре. Но еще до отъезда через Ивана Робертовича Мож-Бдакет, секретаря УМСА, нам стало известно, что миссия Липеровского прекрасно удастся, почва благоприятна и развивается и готовится съезд. К 1-му Пшерову, имевшему место в 1923 году, мы приехали, но попал на него только один Зандер. Вот истоки «Движения».

В. Крылатов

#### РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Русское Студенческое Христианское Движение за Рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом.

Р.С.Х.Д. утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принадлежность к русскому народу и к Русской Православной Церкви налагает на нас духовные обязательства, независимо от того, мыслим ли мы себя временными изгнанниками-эмигрантами или решили связать свою жизнь с другой страной. Подлинная русская культура неотделима от Православия: поэтому в хранении и продолжении ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа.

## « РУССКАЯ МЫСЛЬ »

« LA PENSÉE RUSSE »

Главный Редактор: Зинаида ШАХОВСКАЯ

«Русская Мысль» — самая большая русская еженедельная газета на Западе. Она выходит в Париже, каждый четверг на 12-ти страницах большого формата и предлагает своим читателям широкий обзор международных событий, статьи о вопросах религии и философии, о науке, литературе и искусстве, интересные архивные материалы, документы о жизни в СССР.

Все, кто интересуется русским вопросом, читают  
«РУССКУЮ МЫСЛЬ»

Адрес РЕДАКЦИИ и КОНТОРЫ :

LA « PENSÉE RUSSE », 91, rue du Faubourg-Saint-Denis, Paris 10<sup>e</sup>  
Tél. : 824-83-16 C.C.P. 5883-44 Paris

Прием по делам редакции и конторы ежедневно от 10 ч.  
до 18 ч., кроме суббот и воскресений.

В экстренных случаях звонить в типографию: 636-01-29

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА :           3 мес. — 28 фр.  
  6 мес. — 52 фр.  
  12 мес. — 98 фр.

ДЛЯ ЗАГРАНИЦЫ :           3 мес. — 6,50 долл.  
  6 мес. — 11,50 долл.  
  12 мес. — 22,50 долл.

Цена отдельного номера 2,50 фр.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
К столетию со дня рождения прот. С. Булгакова — Н. Струве . . . . .	3
Хронологическая канва жизни о. Сергия Булгакова . . . . .	5
Три образа — прот. А. Шмеман . . . . .	9
Учение об апокатастасисе — прот. Г. Сериков . . . . .	25
<i>Relatio Religiae</i> — Архим. Евфимий . . . . .	36
“Ревность по дому Твоем” — К. Я. Андроников . . . . .	45
<b>СВИДЕТЕЛЬСТВА</b>	
Памяти о. Сергия Булгакова — прот. А. Князев . . . . .	56
<i>In memoriam</i> — Бер-Сижель . . . . .	58
— В. Вейдле . . . . .	61
— Н. Арсеньев . . . . .	61
— В. Ильин . . . . .	62
Р.С.Х.Д. и о. С. Булгаков — прот. Г. Сериков . . . . .	64
<b>МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ</b>	
Первые шаги в жизни — (письма М. О. Гершензона брату) . . . . .	69
Из переписки о. Сергия Булгакова с В. А. и Л. А. Зандер . . . . .	73
О последних днях о. Сергия (запись очевидца) . . . . .	85
<b>ИЗ НЕИЗДАННОГО</b>	
<b>Философ</b>	
Трагедия философии — прот. С. Булгаков . . . . .	87
<b>Богослов</b>	
Центральная проблема софиологии — прот. С. Булгаков . . . . .	104
Мариология в четвертом Евангелии — прот. С. Булгаков . . . . .	109
<b>Проповедник</b>	
В преддверии Великого Поста . . . . .	113
Вечеря Агнца . . . . .	117
У Гроба Господня . . . . .	119
О подвиге радости . . . . .	124
Свящ. о. Павел Флоренский — прот. С. Булгаков . . . . .	126

## БОГОСЛОВИЕ, ВОПРОСЫ ЦЕРКВИ

На путях к Вселенскому Собору — прот. И. Мейендорф . . . . .	138
О единстве христиан во Христе и об Евхаристии — прот. Г. Сериков . . . . .	142
Призвание Движения — еп. Александр Семенов Тянь-Шанский . . . . .	148

## СУДЬБЫ РОССИИ

Невежество на службе произвола . . . . .	153
Система атеистического воспитания в СССР — Я. П. Поздеева . . . . .	176
Операция БАНЯ — Эксзека . . . . .	201
Обращение заключенных . . . . .	222

## ЛИТЕРАТУРА и ЖИЗНЬ

На смерть Твардовского — А. Солженицын . . . . .	229
Стихи — А. Ахматова . . . . .	230
Венок сонетов — А. Радыгин . . . . .	231
Чевенгур — А. Платонов . . . . .	239
Воспоминания детства — П. Флоренский . . . . .	247
После “Двенадцати” — В. Вейдле . . . . .	275

## БИБЛИОГРАФИЯ

А. Боголюбов. “Сын человеческий” — Б. Петровский . . . . .	301
Прот. Н. Афанасьев. Церковь Духа Святого — еп. Георгий Вагнер . . . . .	308
Об одной русской семье — С. Жаба . . . . .	311

## Хроника церковной жизни

25-летие священства прот. Александра Шмемана . . . . .	313
Всеамериканский собор автокефальной церкви — Н. Струве . . . . .	314

## Некрологи

Писатель праведник — памяти Б. К. Зайцева — Н. Струве . . . . .	317
Светлой памяти Б. К. Зайцева — еп. А. Семенов Тянь-Шанский . . . . .	318
В. Ф. Марцинковский — прот. С. Шукун . . . . .	322
С. М. Зернова — прот. Б. Бобринской . . . . .	324
Прощаясь с Г. В. Адамовичем — прот. А. Шмеман . . . . .	326

## Письма читателей

О возникновении Движения — В. Крылатов . . . . .	329
--	-----

## SOMMAIRE

	Pages
<b>Au centenaire de la naissance de l'Archiprêtre S. Boulgakoff — N. Struve</b> .....	3
<b>Chronologie des étapes principales de la vie du P. Serge Boulgakoff</b> .....	5
<b>ETUDES</b>	
<b>Trois visions — Archipr. A. Schmemann</b> .....	9
<b>Doctrine de l'apocatastasis chez le Père S. Boulgakoff — P. G. Serikoff</b> .....	25
<b>Relatio Religiae — Archim. Euthyme</b> .....	36
<b>« Le zèle de Ta maison » — C.J. Andronikov</b> .....	45
<b>TEMOIGNAGES</b>	
<b>In memoriam — Archipr. A. Kniazeff</b> .....	56
V. Weidle .....	61
N. Arseniev .....	61
V. Iljine .....	62
<b>A.C.E.R. et le P.S. Boulgakoff</b> .....	64
<b>DONNEES BIOGRAPHIQUES</b>	
<b>Premiers pas dans la vie (lettres de M.O. Gerschenson à son frère)</b> .....	69
<b>Extraits de la correspondance du P.S. Boulgakoff avec L.A. et V.A. Zander</b> .....	73
<b>Les derniers jours du P.S. Boulgakoff (récits d'un témoin)</b> ..	85
<b>INEDITS</b>	
<b>Le philosophe</b>	
<b>La tragédie de la philosophie — Archiprêtre S. Boulgakoff</b> ..	87
<b>Le théologien</b>	
<b>Le problème central de la sophiologie — Archipr. S. Boulgakoff</b> .....	104
<b>La Mariologie dans le 4<sup>e</sup> évangile — Archipr. S. Boulgakoff</b> ..	109
<b>Le prédicateur</b>	
<b>Au seuil du Grand Carême</b> .....	113
<b>La Cène de l'Agneau</b> .....	117
<b>Devant le sépulcre du Seigneur</b> .....	119
<b>La montée vers la joie</b> .....	124
<b>Le Père Paul Florensky — Archiprêtre S. Boulgakoff</b> .....	126

## THEOLOGIE ET PROBLEMES ECCLESIAUX

<b>Réflexions sur le futur Concile panorthodoxe — Arch. J. Meyendorff</b> .....	138
<b>L'unité des chrétiens dans le Christ et l'Eucharistie — Archipr. G. Serikoff</b> .....	142
<b>La mission de l'A.C.E.R. — Evêque Alexandre Semenov</b> ....	148

## LES DESTINEES DE LA RUSSIE

<b>L'ignorance au service de l'arbitraire</b> .....	153
<b>Le système de l'éducation athée en U.R.S.S. — Pozdeev</b> ....	176
<b>Opération « bains » — Exzéka</b> .....	201
<b>Lettre des détenus</b> .....	222

## LITTERATURE ET VIE

<b>In memoriam de Tvardovsky — A. Soljenitsyne</b> .....	229
<b>Les quatrains de A. Akhmatova</b> .....	230
<b>Une couronne de sonnets — A. Radyguine</b> .....	231
<b>Tchevengour (extraits de) — A. Platonov</b> .....	239
<b>Souvenirs de l'enfance — Père P. Florensky (suite)</b> .....	247
<b>« Le monde terrible » — V. Weidlé</b> .....	275

## BIBLIOGRAPHIE

<b>A. Bogolioubov : « Le Fils de l'Homme » — B. Petrovsky</b> ..	301
<b>Archipr. N. Afanassieff : « L'Eglise de St Esprit » — Evêque Georges Wagner</b> .....	308
<b>« Histoire d'une famille russe » — S. Jaba</b> .....	311

## CHRONIQUE DE LA VIE DE L'EGLISE

<b>Pour le jubilé sacerdotal de l'Archiprêtre A. Schmemann</b> ..	313
<b>Le Concile de l'Eglise autocéphale américaine — N. Struve</b> ..	314

## IN MEMORIAM

<b>Un écrivain — un juste — N. Struve</b> .....	317
<b>B.K. Zaïtzeff — Evêque Alexandre Semenov</b> .....	318
<b>V.F. Martsinkovski — P.S. Tschoukine</b> .....	322
<b>S. M. Zernoff — Archipr. B. Bobrinskoi</b> .....	324
<b>L'Adieu à G.V. Adamovitch — Archipr. A. Schmemann</b> .....	326
<b>Lettres des lecteurs — V. Krylatov</b> .....	329

# LES ÉDITEURS RÉUNIS

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris (5<sup>e</sup>)  
Téléphone : ODE. 7446 et ODE. 43-81  
Compte Chèques Postaux : Paris 13313-73

- Прот. С. Булгаков** — Автобиографические заметки . 15,—  
« « — Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования) 20,—  
« « — Купина Неопалимая О православном почитании Божьей Матери . . . . . 20,—  
« « — Лествица Иаковля (Об ангелах) 25,—  
« « — От марксизма к идеализму (Сборник статей 1896-1903) 45,—  
« « — Православие (Очерки учения православной церкви) . . . 25,—  
« « — Святые Петр и Иоанн . . . 18,—  
« « — Философия имени . . . . . 30,—
- Прот. Н. Афанасьев** — Церковь Духа Святого  
« « — Трапеза Господня . . . . . 15,—  
« « — Служение мирян в Церкви . 15,—  
« « — Экклесиология (Курс лекций) 10,—
- Шестов Лев** — Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше . . . . . 15,—  
« « — Достоевский и Нитше. Философия трагедии . . . . . 15,—  
« « — Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления . . . . . 18,—
- о. Ельчанинов А.** — Записи . . . . . 18,—
- Зандер Л.** — Бог и мир (Миросозерцание о. Сергия Булгакова) т. I и II . . . . . 30,—
- архим. Киприан (Керн)** — Евхаристия (Историч. и богословское истолкование) . 35,—
- НА ПЕРЕЛОМЕ** — Хроника семьи Зерновых . . . . . 25,—
- прот. С. Четвериков** — Великим постом . . . . . 7,50

-- Каталоги высылаются бесплатно --

# ВЕСТНИК

Русского Студенческого Христианского Движения  
XXXV-й год издания

## ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕСТНИКА

- Во Франции:** Подписную плату просим вносить либо на почтовый счет А.С.Е.Р. Paris. С.С.Р. 2441-04; либо банковским чеком на имя А.С.Е.Р.  
Подписная плата на 1972 год: 35 фр., с целью поддержки — 60 фр.
- В Америке:** Mrs Ludmila Toman, 85, Tobey Road, Belmont, Mass. 02178, U.S.A.  
San Francisco: Mrs Olga Raevsky-Hughes, 1418, 24th Ave. San Francisco, Calif., 94122, U.S.A.  
В Америке подписная плата на 1972 год: 8 долларов, с целью поддержки — 15 долларов. Воздушной почтой — 10 долларов.
- В Канаде:** Подписная плата на 1972 год: 8 долл., с целью поддержки — 15 долларов. Воздушной почтой: 10 дол.
- В виду задержки происшедшей на почте с 99-м номером Вестника, убедительно просим подписчиков в Америке перейти на подписку воздушной почтой.
- В Англии:** The Centre for the study of religion and communism. 15 Red Hill, Chislehurst, Kent BR 76 DB.  
Подписная плата на 1972 год: 2,5 фунта ст., с целью поддержки — 5 фунтов ст.
- В Бельгии:** Подписная плата на 1972 год: 350 бельг. фр., с целью поддержки — 600 бельг. фр.  
Просим подписчиков вносить плату прямо на почтовый счет А.С.Е.Р. Paris С.С.Р. 2441-04, либо банковским чеком на имя А.С.Е.Р.
- В Германии:** Плату за 1972 год посылать непосредственно во Францию банковским переводом.  
Подписная плата на 1972 год: 30 герм. м., с целью поддержки — 50 герм. м.
- В Швеции:** Prost S. Timtchenko. — Box. 19027, Stockholm, 19, Suède.  
Подписная плата на 1972 год: 35 шведских крон, с целью поддержки — 60 шв. кр.

Tous droits de traduction réservés.